



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 1/2011

- *Бахыт Кенжеев*
Посвящение мальчику Теодору
Стихи
- *Сухбат Афлатуни*
Год Барана
Макамы
- *Ольга Трифонова*
Запятнанная биография
Повесть
- *Александр Мелихов*
Дрейфующие кумиры
- Литературные «нулевые»
Новые тренды, события, имена

1'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

1'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Посвящение мальчику Теодору. <i>Стихи</i>	3
Ольга ТРИФОНОВА. Запятнанная биография. <i>Повесть</i>	5
Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Москва — Будапешт — Рим. <i>Стихи</i>	35
Сухбат АФЛАТУНИ. Год Барана. <i>Макамы</i>	40
Людмила БАКИРОВА. Такой переплет. <i>Стихи</i>	97
Роман СЕНЧИН. Пусть этот вечер не останется... <i>Рассказ</i>	100
Михаил КАГАНОВИЧ. Жертвоприношение речи. <i>Стихи</i>	109
Владимир ШПАКОВ. Два рассказа	113
Даниил ЧКОНИЯ. Бахва. <i>Рассказ</i>	129

Публицистика

СТРАНА РОССИЯ	
В поисках новых ценностей. <i>Куда идет российская культура?</i>	144
Василий ГОЛОВАНОВ. Бикапо. <i>Встреча в аэропорту</i>	169

Нация и мир

Алишер ФАЙЗ. Человеческие нюансы восточного города	176
--	------------

Критика

Литературные «нулевые»: место жительства и работы. *Круглый стол. Главные тенденции, события, книги и имена первого десятилетия нового века*

Александр МЕЛИХОВ. Дрейфующие кумиры

185
209

Эхо

Цавэт танем. *Рубрику ведет Лев Аннинский*

217

Summary

224

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНДИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Бахыт Кенжеев

Посвящение мальчику Теодору

* * *

один как перст неявно мне осталось
птиц тешить корки хлебные кроша
опять на пятки наступает старость
но верую обучится душа

лиловая звенеть и удивляться
в пивном das Leben винной ли la vie
без працы не бывает кололацы
и уголек не тлеет без любви

светают облачные арки
дождем умытый дышит парк
почтовым клеем пахнут марки
и беззащитный аардварк

как бы гроза в начале мая
могуч и тверд но не жесток

спешит по полю, воздымая
тапировидный хоботок

и обращаясь взором к высям
небесным чествует творца
как голос крови независим
как тайна женского лица

а я простейший папарацци
люблю и свет и пережной
чтоб воссиявши затеряться
в земле эстонии родной

ах отойти б от этой темы
не размыкать бы устных губ
но я мыслитель как и все мы
а значит тоже трубказуб

* * *

Ты помнишь светлый сад для живности, где на свободе слон бродил
и стаи разной чудной дивности, и муравьед, и крокодил,

где тигра пленного не гробили решетками, и свет зари
струился лишь на автомобили с детьми невинными внутри?

Да, тесно спать в проулке, раненном распадом, но бывает миг,
когда не просто марсианином, начитанным журнальных книг,

а императором над хаосом быстроживущих рыб и неб
ты пробуждаешься, и страусом хватаешь вечной жизни хлеб

из рук заезжего хозяина. Пускай он только сонный газ,
из дерева не вырезаемый, парящий, словно твой пегас —

Кенжеев Бахыт — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1950 г. в Казахстане, в г. Чимкенте. В 1973-м окончил химфак МГУ. Дебютировал в 1977-м как поэт в сб. «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ». Автор более 10 книг стихов и прозы «Золото гоблинов» (2000) и др. Лауреат нескольких литературных премий, в т.ч. «Антибукер» (2004), «Anthologia» (2005) и «Русская премия» (2009). Стипендиат Канадского совета по делам искусств (2009). Живет в Канаде, США и в Москве.

с его поддержкой смертный силится поймать свой голос, как ежа,
ржаную оторопь кириллицы в сердечной сумочке держа.

Любовь моя, нет, в сентябре меня не трогай — скуден мой итог,
ведь всякий свет есть слепок времени. Пространства крепкого глоток.

* * *

Вот и осень наступила
увядают все цветы
и безмолвствуют уныло
придорожные кусты

лишь цепная псина лаает
посреди пожухших трав
лишь рябины кисть пылает
как бы смертью смерть задрав

пусть весною мир воскреснет,
а отдельный человек

если сердце страшно треснет
не срастись ему вовек.

но зато от скорби страстной
сократясь от страха сам
станешь тенью неподвластной
обнаженным небесам

кто понятием проникся,
знает осень есть покой
перекур журчанье стикса,
карамелька за щекой

* * *

Вот рифмы хаос-страус
Чернил-уныл-винил
Их добрый доктор Хаус
Навряд ли б оценил

Он гений медицины
Хотя чуть-чуть маньяк
Он знает все вакцины
Озон и аммиак

Он славен трудной дружбой
С красоткой-медсестрой
Но он искусству чуждый
Лечебный наш герой

Ему поэзия пофиг
Как кислый русский квас
Yet nobody's perfect
Зато он лечит нас

Вот так и Бог могучий
Свой дивный спрятал лик
За темно-серой тучей
Бесплотен и велик

И в каждом хвором чресле
Он побеждает тьму
В веселье детском если
Доверишься ему

* * *

вот вечер пятницы студенты нетрезвы
на мертвых улицах красавицы-москвы

читают вслух рождественского или
портвейном из увесистой бутылки

по очереди тешатся подруг
игриво обнимают но из рук

портфельчиков своих не выпускают
когда невинных барышень ласкают

в сиих влагищах клееночных лежат
конспекты ценные преступный самиздат

а у запасливых прекрасной водки
с закуской сладкой лука и селедки

зачеты и экзамены сданы
все чудно лишь бы не было войны

с какими-нибудь подлыми китайцами
а может не дай бог американцами

но ведают: и день и ночь в кремле
заботятся о мире на земле

Ольга Трифонова

Запятнанная биография

Повесть

Находился ли на территории, временно оккупированной немцами в период Отечественной войны (где, когда и работа в это время)?

п. 23 анкеты.

С утра болели ноги и как-то всего ломало, но за Катей приехала бричка, и он выбежал за калитку посмотреть на новых сельсоветовских лошадей.

Эти были справные, с блестящими крупами и глазом косили на него с нешуточной злобой. Промелькнула мысль: хорошо бы их позлить по-настоящему, полаять, пометаться перед ними, забегая то с одной стороны, то с другой.

Про коней он знал все. Знал их глупую пугливость и склонность к диким необдуманным поступкам.

Но отчего-то было лень заводиться с конями, а, кроме того, услышал, что у Кати с Бабушкой происходит ссора. Ссорились они часто, но сейчас Бабушка была особенно раздражена и даже сердита. Она не разрешала Кате уезжать на бричке, и, как всегда, повторялось слово, обозначающее причину Катиных отъездов, — ПРЫПЫГАНДА.

Эта Прыпыганда жила где-то далеко, куда надо было ехать на бричке, а иногда даже на поезде.

Он тихонько вошел и лег в сених, — привилегия возраста то ли его, то ли Бабушки. С годами она стала добрее.

В открытую дверь он видел, как Катя мажет губы красным. Это она всегда делала, идя на встречу с Прыпыгандой, и всегда это вызывало особенный гнев Бабушки.

— Собаке собачья.., — сказала Бабушка. Последнего слова Гапон не разобрал, но приподнял уши. Это было интересно: речь шла о каких-то собаках (это слово Гапон знал хорошо, ведь и его называли СОБАКОЙ). Значит, Катя едет к собаке, очень интересно, но при чем тогда Прыпыганда? Кроме того, Катя чрезвычайно взволнована, она никогда не была такой взволнованной перед встречей с Прыпыгандой, значит, все дело в собаке.

Он должен увидеть эту собаку и, если Катя задумала привести ее сюда, помешать этому. Он еще не так стар, — всего тринадцать, чтобы при его жизни заводил новую собаку. Да и где это такое видано. У них в селе это было возможно только с сукой, которой оставляли одного из нескольких щенков, да и то, — в редчайших случаях.

Наконец Катя вышла, как всегда, шурша почти новой одеждой и, как всегда, издавая запах, похожий на цветочный (вроде сирени), но при этом такой противный,

Трифопова Ольга — прозаик, киносценарист. Окончила Московский энергетический институт по специальности «Радиотехника» и Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино.

Созданные ею произведения были удостоены премии журнала «Дружба народов» и включены в шорт-лист номинантов премий «Большая книга», «Букер». По ним поставлены кинофильмы и телесериалы.

Живет в Москве, публикуется в журнале «Дружба народов».

что каждый раз приходило в голову одно и то же: «Отбивает свой дух, чтобы не нашли, куда поехала».

Это Гапон понимал, — сам не раз валялся в сухих коровьих лепешках, направляясь к клубу или за Катей в сельсовет, так, — на случай погони.

Но теперь, когда нет Дяди Вани, его зарыли два лета назад, зарыли очень глубоко, кого она боится?

Пожалуй, действительно стоит проконтролировать и увязаться за брочкой: во-первых, чтоб не вздумала брать другую собаку, во-вторых, — узнать, кого теперь боится, и в случае чего защитить.

В конце улицы брочка повернула направо и поехала вдоль выемки.

«Похоже взяли направление на сахзавод, на Сталинскую. Это не то чтоб далеко, но и не близко».

Иногда они с покойным Мальчиком бегали туда похлевать *барды*.

О том, что *барду* вылили в ямы, свидетельствовала сладкая вонь, доносящаяся со стороны Сталинской. И пока она была свежей, ради нее стоило пробежать несколько километров.

Наконец Катя заметила его и, перегнувшись через задний бортик брочки, крикнула: «А ну иди до дому!»

Как же она все-таки плохо его знает, прожив рядом тринадцать лет: он никогда не отказывался от намеченного. В голове уже был план: если они действительно едут в Сталинскую, а похоже, что это именно так, он после поворота отстанет и побежит по железнодорожному пути, так короче, а на Сталинской уж по запаху-то точно ее найдет, тем более что и искать наверняка не придется, она, конечно, будет находиться где всегда, — в белом доме на площади, рядом с заводом, — в *РАЙКОМЕ*.

На развилке они повернули к Сталинской, и он сделал вид, что возвращается домой, а сам резко — в заросли бурьяна; по насыпи вверх и там по коричневым шпалам вперед.

Если соблюдать ритм, то лапы всегда попадают на пахучие гладкие шпалы, а не на колючую мелкую гальку между ними.

Это не так далеко. Молодым бегал и подальше, если кто-то приносил весть, что там сука в подходящем состоянии. Если надо, и в Кут бегал вдоль железной дороги, да что Кут! Один раз по молодости аж до Бодаквы добегал. Он был большой любитель и мастер этого дела. У него никогда не случалась жалкая и позорная ситуация, когда не могли расцепиться и мучились при всем честном народе. Хотя народ-то, прямо сказать, нельзя было назвать честным: собирались вокруг, глазели, улюлюкали, бросались палками и камнями.

Наконец прилачился, и лапы точно попадали на очередную шпалу. Найти ритм при его маленьком росте и коротких лапах было не так-то просто, но он нашел и теперь можно было спокойно поразмыслить над тем, что произошло и почему Катя ссорилась с Бабушкой.

Гапон не любил ссор между людьми, это мешало воспринимать их мысли. В этом случае мысли были искажены каким-то шумом навреде того, что издавали паровозы, принимая сверху воду и выпуская белый пар.

Вот и сегодня, лежа на холодном глиняном полу в сенях, он не смог как следует разобрать мысли Бабушки и Кати.

Какие-то обрывки приходили сквозь шум:

«Дурка, настоящая дурка, уже под пятьдесят, а все такая же активистка...»

«Да почему я должна всю жизнь жить с нею! Нас же шестеро, а живет только со мной и всю жизнь командует...»

«Конечно, лебеды и крапивы не ела, как мы...»

«Не понимает и никогда не понимала, что не из-за денег, какие деньги! Смешно!..»

«Гриша и Ганнуся — двойняшки тогда и померли в тридцать втором. Я пошла в сельсовет, чтоб помогли похоронить, они сказали: "Подожди до завтра", я вернулась домой, легла рядом с ними на кровать, так и спала до утра. Сколько же у меня было детей?..»

«И чего так вскинулась?! Какой-никакой, а вождь помер...»

«Всю жизнь за палочки работала и все одна и одна...»

«А москвичам и в голову не приходит посылать хотя бы по пять рублей, двадцать пять в месяц — хорошие деньги...»

«Когда же он ушел?..»

«Ну да Бог с ними, с москвичами, обойдемся, обходились ведь, а были времена, хоть вой...»

«После того, как с Овчаренчихой связался...»

«Нет, помада сегодня нужна бледная, скромнее, скромнее...»

«Зачем едет? Как будто без нее там не обойдутся, а Милка вот-вот начнет рожать...»

— Мама, ты же веришь в Бога, как же ты так можешь говорить о мертвом!

— А сказано: «Пусть мертвые хоронят мертвых».

«И чего они так завелись, как будто первый раз Катя уезжала. Вот здесь, на этом мосту, Мальчик один раз сильно порезал лапу. Бегали в голодуху на эту тухлую речку жрать головастиков... Даже трудно поверить, что он будет так скучать без Мальчика. Ведь Мальчик был хитрым двуличным, плохим другом, жадным и довольно тупым. А вот помер два лета назад и все вспоминается по несколько раз на дню. И помер глупо, — от жадности, а мог бы еще жить, ведь они были ровесники. На станции возле длинного барака Заготзерна лежали замечательно пахнущие сухари. Он сразу насто-рожился: только очень опасное могло пахнуть так хорошо. Все прекрасное должно чуть-чуть подванивать.»

Он отговаривал Мальчика есть ЭТО, но Мальчик погрыз сухариков, и вечером его не стало.

Умирать он ушел на нефтебазу, где было тихо и пустынно, потому что в серебри-стых высоких огромных банках никогда не было нефти.

Он просил Мальчика пойти на Билля Нова и попить там воды из бочажка на болоте, но Мальчик идти уже не мог.

Перед самой смертью, когда боль отошла, он вспоминал своего первого Хозяи-на, медлительного Миколу Левадного, и как тот учил его подавать лапку.

Мальчик научился быстро, но чтоб Миколу было приятно, делал вид, что нетвер-до усвоил урок и путает лапы.

Он был очень лукавым, этот большой с пушистым хвостом пес.

Московских девочек он не любил, делал им мелкие гадости, но смотрел всегда умильно и лапку подавал даже без просьбы, а они в нем души не чаяли.

Иногда ему было лень трусить вместе с детьми к реке, он делал вид, что спит в тенечке, но Гапон прекрасно видел притворство и наскакивал с веселым лаем.

— Да отстань ты! Неохота тащиться по жаре, — отрывался Мальчик.

А Гапону было всегда в охоту, — он очень любил приезжих девочек, особенно одну, по кличке Леся.

Надо полежать в теньке под мостом, а то ноги какие-то плохие, мягкие. Поле-жать и вспомнить московских девочек. Он любил их вспоминать. Интересно, помнят ли они его?

В воде дергались, меняя направление, красивые маленькие рыбки с красными плавниками. Вдруг забыл, кто появился раньше, — девочки или Вилли. Важно было вспомнить.

Да вроде бы девочки, только тогда они были совсем маленькими, ну просто человечьими щенками. И он был щенком, и весь его мир включал двор с вечно болтающимися под ногами цыплятами, погреб, колодец, тропинку, обсаженную смо-родиной, сарай, огромный грецкий орех и такую же огромную грушу возле старой нежилой **хаты**.

Тропинка вела в сад, а за садом было то кукурузное, то пшеничное поле, а за полем, — нефтебаза, а за нефтебазой... Да он тогда дальше сада не бывал, это уж потом, с Вилли... Вот и выходит, что дети появились раньше Вилли.

Лето перед войной и много сестер с детьми. Одна с круглой головой, большими голубыми глазами, вся в складках.

В саду под райской яблоней расстилали стеганое одеяло с прекрасным запа-хом детской мочи. Райские яблочки — золотые с красным.

Эта, с голубыми глазами, в складках ковыляла по одеялу и плюхалась. Была еще одна, поменьше, кудрявая, всегда на руках у губастой женщины, другая, постарше, с черной головкой сидела всегда тихо на углу одеяла и переключивала деревянные и железные крышки. У нее уже был *голос*.

Как и полагается, клички дети носили разные: черная — Гуля, кудрявая — Тамара, а та, со складками на лапках, — Леся.

Откуда он сам взялся, не помнил, кажется, его принес Дядя Ваня.

От прошлого остались полутьма, запах сырой земли и материнский незабываемый. Чудесный, пьянящий вкус ее молока, тепло от пушистых комочков рядом. Потом что-то ужасное, — яркий свет, лапы проваливаются между каких-то прутьев, застревают, причиняя боль, сверху наваливаются братья и сестры, чье-то мохнатое брюшко прямо на голове, невозможно дышать, гибельное чувство удушья.

Потом снова темнота и глухой ровный стук, не слышимый, а ощущаемый всей кожей, всеми внутренностями. Такой же стук исходил от матери, только стучало чаще и отчетливее.

А этот, — был звук Дяди Вани, он снова слышал его позже, когда Дядя Ваня брал его на руки.

Дядя Ваня всегда наливал ему в мисочку молока и брал на руки. Бабушка тоже наливала молока, но на руки не брала.

Самой красивой и нарядной из сестер была Катя, но она редко сидела на одеяле. Она уходила рано утром, вся шуршала и пахла довольно противно, слишком душистыми цветами. Возвращалась вечером вместе с Дядей Ваней, ели вместе со всеми, а потом ложились рядом. Другие ложились рядом со своими детьми в другой комнате, а Бабушка ложилась одна на лежанку на кухне.

Но сначала они заводили ручкой музыку, спрятанную на черном блестящем круге, и пели вместе.

Одна песня была про дядю Ваню, они так и повторяли хором: «Дядя Ваня *хороший*».

Ну прямо как сам Дядя Ваня говорил ему, — *кушай, хороший песик, хороший Букет...*

Довольно скоро стало понятно, что его имя Букет, как у Дяди Вани — Дядя Ваня, у черноголовой — Гуля, у той, с толстыми ножками, — Леся....

А то время, когда все сидели вместе на ватном одеяле, как оказалось, и было самым счастливым.

Сначала он никуда не уходил со двора и ночью старался пробраться в сени, но Бабушка выгоняла с противным криком: «А ну геть!»

Она была незлой, но строгой. При ней в дом заходить было *нельзя*.

Нельзя было и гулять по цветнику, кусать корову за ноги, лаять на поросенка, сидящего за загородкой, а самое главное — гонять кур.

За это так сильно досталось хворостинной, что он больше даже не смотрел в их сторону.

К следующему лету он бегал к выемке — заросшей бурьяном глубокой впадине в конце улицы. За впадиной иногда что-то лязгало, стучало и гудело. Там проходила железная дорога.

Потом он увидел, как огромные паровозы набирают себе воду из высокой колонки.

Вода лилась сверху, а паровоз от удовольствия время от времени выпускал сбоку пар.

На другой конец улицы ходить было не так интересно: за домом соседа — Гусаря начиналось поле, в котором в очень голодные времена он мышковал, и выгон, а дальше между землей и небом стояла гора, она называлась Гадячской, и по склону ее два раза в день, утром и на закате, проходил поезд. Он полз в неведомый Гадяч.

Конечно, интересно было бы побывать в этом самом Гадяче, хотя название — так себе, довольно противное, не обещало ничего интересного.

Сначала двор был полон тайн, это потом был изучен до самых сливовых деревь-

ев по краю кукурузного поля и зарослей калины на границе с соседями — Олефирами.

На другой границе — с Гусарем — росли вишни. Они почти не падали, а если и лежали иногда на земле, есть их было не большое удовольствие.

Не то что яблочки с огромной яблони под названием «Белый налив». Они были сладкими, мучнистыми. Почти такими же вкусными, как примерно половина пирожка, найденная как-то прямо возле дверей станции.

Станция была желтой с большими окнами почти что от самой земли, из дверей доносился замечательный запах чего-то жареного и напитка под названием «Ситро». Но станцию он изучил только на следующий год, когда с весны Катя разрешила провозжать себя в сельсовет.

Так вот пирожок, вернее, часть его.

Сверху он был золотистым, а под золотистым, — белым, сладким, вязким, как перезревший Белый налив, светящийся изнутри, как свечка у Бабушки на кухне, и так же таял, даже жевать не надо.

А Белый налив прилипал к небу кожурой.

Подбирать его следовало сразу же, как раздавался еле слышный (а для других и вовсе не различимый) стук яблока о землю.

Тогда он мчался за погреб к огромной яблоне, хватал с черной земли, заросшей травой-муравой, светящийся матовый шарик и, давясь, роняя, съедал его.

Это очень веселило Вилли, он хлопал себя по бедрам и хохотал до слез.

Интересно, как бы хохотал, узнав, что потом, когда припекло, ел лягушек. Да, да, когда подпирало до икоты, — ел, но это было последнее дело. Мальчик, тот вообще жрал жаб, болел, мучился животом. Блевал, а все равно ел. Правда, регулярно чистился особой травой, что росла у Билля Нова.

А в хорошие времена Бабушка обычно давала похлебки и молока после вечерней дойки, но в первый год после войны коровы не было, и Бабушка сама рвала лебеду за огородом.

Как началась война? Пришел Вилли. Нет, сначала москвички с детьми стали плакать и собираться. Они были бабушкиными дочерьми, а их отец появился совсем ненадолго перед самой войной.

Появление отца было странным: никто ему не был рад, а мать Леси стала внутри вся звенящая от ненависти и страха.

Вот тогда он впервые понял, что у людей есть тайны — то, что они скрывают от других, как косточку, зарытую в саду. Но от собак — не скроешь. И он один раз видел, как отец в кухне подошел к матери Леси, подошел и обнял, а она вырвалась, подняла с конфорки огромную сковородку, замахнулась с белым лицом:

— Сначала изувечу, потом скажу Тарасу.

— Да ты шо, Нюрочка, я же по-отцовски.

Он это запомнил крепко, потому что в этот день, судя по всему, началась война. Бабушка даже забыла налить ему похлебки или хотя бы молока. Но к вечерней дойке опомнилась, взяла ведра, полотенце и пошла в хлев.

Он, конечно, присел у порога, и тогда она сказала что-то вроде: «Ну вот, «Букет», остаемся одни, а как все повернется, одному Богу известно».

Слово Бог она произносила часто и Букет знал, что Бог — это тот невидимый, кто живет в углу на кухне, и Бабушка утром и вечером становится перед ним на колени.

Вечером все пошли на станцию: все-все и Бабушка, и Катя. Отец к тому времени снова исчез куда-то.

Со станции вернулись Бабушка, Катя и Дядя Ваня. Остальные сели в вагон. Он крутился под ногами, напоминал, чтоб не забыли попрощаться, предчувствие говорило, что расстаются надолго, может, навсегда, но попрощалась только Лесья. Подковыляла на толстеньких ножках, очень больно потянула за ухо, он стерпел, потому что знал — не нарочно, а от неумения. Нагнулась и поцеловала прямо в нос, за что получила шлепка, а его довольно чувствительно отстранили ногой или, попросту говоря, пнули.

Потом грузили узлы и корзины, плакали, обнимались. И кругом все тоже грузи-

лись, обнимались и плакали. Это мало походило на обычное ежевечернее гуляние «вдоль Кременчукского».

И был еще один сюрприз: вторая дочь Нюры, почти взрослая, — Ганна сказала: «Дай лапу, Букет, никто не знает, кому ты будешь подавать ее без нас», он дал и почему-то подумал, что замечание очень неглупое.

И действительно через месяц он подавал лапу Вилли и носил новое имя Обеликс.

Вилли поразил сразу своей красотой, своей замечательной чистой одеждой и неизменным вроде бы хорошим настроением.

Он все время что-то насвистывал и часто смеялся.

Но Букет чувствовал, как от него пахнет страхом, обычным страхом мальчишки, поэтому держался с ним панибратски и лаял на него, ярясь понарошку.

Бабушка тоже не боялась Вилли, а Катя и Дядя Ваня исчезли на следующий день после отъезда *москвичей*.

Нет, вернее, было так: сначала Бабушка очень боялась, и они вдвоем спрятались на сеновале в сарае. Но там их нашел слуга Вилли и согнал вниз.

Во дворе Вилли, ослепивший своей красотой и нарядностью, торжественно зачитал по маленькой книжке какие-то благоприятные слова, но среди них было и противное слово *наказать*.

Бабушка кивала и все шептала ему: «*Геть, Букет*», но Букет видел, что нравится молодому красавцу и не уходил.

Ощущение не обмануло. После речи красавца Бабушка осторожно вошла в дом. За ней слуга. Букет было рванулся в сени, но дорогу преградил блестящий сапог.

Красавец говорил строго, но глаза его смеялись. Из его речи Букет понял, что зовут его теперь Обеликс, что гадить можно в саду, но не во дворе, а он во дворе никогда и не гадил, что в дом входить нельзя, а он и не имел такой привычки. В общем, банальности, но именно в первый же день новоиспеченный Обеликс услышал две насмешливые фразы. Звучали они так: «У тебя блохи, милейший!» и «А кто здесь самый красивый?»

Букет почувствовал в этих словах обидное и довольно злобно залаял на Вилли. Бабушка тотчас крикнула: «Молчи, Букет», и он понял, что она боится за него, а значит, любит.

Но Вилли лай очень развеселил: «О ты умная зобака, это хорошо!» — хохотал он, и вот тогда Обеликс окончательно понял, что он мальчишка, — почти такой же, как старший Катин сын Петро.

Бабушка тоже довольно скоро поняла, что постоялец, несмотря на наличие слуги, кобуры на поясе и удивительно красивых блестящих сапог, — совсем нестрашен и, пожалуй, боится ее и всего вокруг не меньше чем она. Их догадка подтвердилась в одну морозную зимнюю ночь.

«Но об этом потом, что-то долго он сегодня тащится до этой Сталинской. Да, да Обеликс. Всплыло прежнее имя. Как же давно это было! Вилли пришел на вторую осень...»

Зиму прожили очень хорошо. Слуга Вилли помогал Бабушке по хозяйству, колот дрова и таскал воду, а Обеликс каждое утро провожал Вилли в сельсовет, так же как провожал Катю, но теперь знакомое здание называлось по-другому, — Комендатура.

Впрочем, выгон возле Комендатуры по-прежнему был местом встречи собак. Но только Обеликсу разрешалось, как и в прежние времена, заходить вовнутрь.

Вилли там заведовал разными проводами, телефонными трубками и аппаратами. Он ходил по комнатам, а Обеликс лежал под столом в их комнате и дремал.

Да, в ту зиму он не высыпался, хотя Бабушка по ходатайству Вилли стала пускать его на ночь в сени.

Но сон был тревожным. Иногда ему чудился запах, и он не знал, как себя вести: залаять или промолчать. Обеликс должен был залаять, Букет обязан был молчать.

Но он ел хлеб Вилли, и иногда Вилли давал ему немислимо вкусные консервы.

Но сначала спрашивал: «А кто здесь самый красивый?», и когда Обеликс подбегал, давал доесть на дне банки.

Обеликс знал, что Вилли насмешничает над ним, но не обижался.

Да, ноги у него невероятно коротки, вместо усов какая-то щетка, хвост в конце длинного тела загнут крючком, но зато какой нюх, а какой слух: он слышал, как ночью машина отъезжала от комендатуры и направлялась в их сторону за Вилли, и тотчас начинал царапаться в дверь хаты. Вилли это всякий раз поражало, и он, наклонившись, трепал легонько по шее, перед тем как сесть в машину.

«О Обеликс, ты бы мог сделать блестящую карьеру! Но, увы, ты живешь в глухом украинском селе как Алкивиад среди спартанцев».

Возможно, что та вторая зима была лучшей в его жизни. Иногда, проводив Вилли до комендатуры, он быстренько возвращался домой. Обычно это случалось, когда Бабушка просила слугу Вилли — вонючего Отто отрубить курице голову.

Пока туда и обратно, Бабушка успевала общипать курицу и можно было рассчитывать на эту самую голову и плюс лапы. Кроме того, немного ребрухи, а главное — поэзия кухни.

Он тихонько пробирался под стол и оттуда смотрел как Бабушка ловко орудует хватом.

Отто приносил с мороза и со стуком бросал перед челом печи замерзшие дрова, снимал сапоги и садился на низенькую скамеечку, что была приспособлена для дойки, и у них с бабушкой начинался длинный странный разговор.

Они произносили какие-то непонятные слова и показывали друг другу что-то руками — например, как будто качают ребенка или косят траву, Обеликсу было неинтересно и, кроме того, от ног Отто ужасно воняло. Но Обеликс помнил, что Бабушка терпеть не может, когда он ложится в тот угол, где наверху всегда горит лампада, поэтому, превозмогая отвращение, оставался под столом, лишь тихонько отодвигался ближе к окну. Но и здесь вонь Отто настигала; Бабушка наливала Отто в миску душистого, он пересаживался на лавку под окно и, постанывая от удовольствия, ел варево.

Иногда он оставлял немного Обеликсу, но Обеликс после него есть не мог. Странное дело — воняло от ног, а есть брезговал. Бабушка, заметив это, поступала очень деликатно: выливала остатки поросенку, а Обеликсу плескала чего-нибудь похуже, но свежего.

Она теперь не называла его Букетом, а Фиксом. Вилли хохотал и поначалу поправлял ее, потом ему надоело.

Однажды ночью пришел дядя Ваня.

Весь день было слышно, как к комендатуре то подъезжали, то отъезжали машины. Вилли пришел вечером мрачный и вместо песенки, которую любил напевать, когда был в хорошем настроении: «Белла миа ... кляйне остерия», повторял плохое слово «Шайзе».

Конечно, плохое, разве солдаты станут повторять хорошее слово? Свои повторяли «мать», а чужие «шайзе».

Да, так вот ночью приходил дядя Ваня. Сначала Бабушка вышла на двор, но не присела, как обычно, за погребом дома, а пошла к сараю.

Обеликс тихонько вышел из сеней. Показалось, какая-то тень мелькнула в лунном свете в саду, хотел залаять, но что-то остановило, даже объяснить невозможно что. То ли Бабушку не хотелось пугать, то ли поразило небо. Звезды висели так низко, так таинственно мерцала серебристая пыль, протянувшаяся через весь небосклон, так блестяли листья в саду и медленно, оставляя быстротечный след, падали и падали, словно перезрелые яблоки, светящиеся шарики.

Он не сразу услышал голоса за погребом. Бабушка шепталась с Дядей Ваней.

— Куда ж ты пойдешь? — понял знакомые слова Обеликс.

Потом что-то неразборчивое и неясное.

Обеликс не знал, как поступить: тихонько уйти в сени и притвориться спящим или подойти и молча ткнуться в ногу Дяди Вани — пусть погладит на прощанье.

То, что Дядя Ваня пришел проститься, Обеликс чувствовал тем странным ознобом, который всегда ощущал в момент узнавания будущего.

Но самым правильным было стоять на пороге, на случай если вонючий Отто

захочет выйти из хаты. Вот тогда и разразиться пронзительным лаем, рискуя получить пинок в бок.

Снова скользнула тень среди металлического блеска листьев в саду.

«Хорош же этот Фантик, дрыхнет без задних ног», — с презрением отметил удачную нерадивость соседского пса и тихонько юркнул в сени. Бабушка вернулась следом, и сквозь дремоту он слышал, как она ворочалась и вздыхала у себя на печи.

А утром вообще произошло невероятное. Решил, как обычно, проводить Вилли до комендатуры, а тот вдруг начал орать «Вэк, вэк! Назад зобака!» и даже бросил палкой, когда, чуть поотстав, все же продолжал тащиться следом.

Пришлось изобразить, что возвращается домой, но любопытство разбирало жуткое, поэтому как только Вилли спустился в выемку, завернул во двор Левадних и позвал Мальчика сбегать на выгон, мол, там назревает что-то интересное и особенное, иначе чего бы незлой Вилли так ярился.

Мальчик вообще-то собирался со стариком Левадним на сахзавод за жмыхом, но старик был жадным и неделикатным, так что навряд ли за сопровождение ждало угощение все тем же жмыхом, — в общем, колебался он недолго.

Странно, но каким-то образом многие собаки знали о том, что на выгоне что-то готовится.

Их обогнал кривоногий, вечно непонятно чем озабоченный Жук, что жил возле ставка, откуда-то сбоку выскочила с дурацкой улыбкой Пуля, а на выгоне, казалось, собрались все, даже из Кута прибежали, а это ни много ни мало — почти час трусцой. Кто-то уже знал, что произойдет на выгоне и для чего построены деревянные ворота.

Вилли, конечно, был среди начальства, стоял на крыльце и разговаривал с каким-то неизвестным, а у ног неизвестного стояла блестящая стройная темнокоричневая сука. Такой красоты Обеликс не видел никогда и даже не предполагал, что такие красавицы живут на белом свете.

Мальчик в ответ на его восторги сказал, что эта «лупоглазая» не в его вкусе и что у нее глаза красные. Глаза, правда, были чуть навывкате и белки красные, но узкая морда, но стройные ноги....

Пока разглядывал красавицу, не заметил, как вывели троих в белых рубахах, одного узнал сразу, он приходил к Дяде Ване раньше, до появления в селе немцев.

Тот, что привел красавицу, начал говорить, Вилли переводил, и Обеликс вдруг понял, что все это — с немногочисленными хмурыми односельчанами, с мотоциклистами в каких-то особых, низко нахлобученных касках, со сборищем собак добром не кончится: а он терпеть не мог плохие концы.

— Пошли домой, — предложил он Мальчику, но тот помотал башкой.

— Нет, хочу посмотреть, как они станут мертвыми. Вон тот, он работал в Заготзерне, жил возле Гребли. А второй — директор школы, третьего не знаю.

— С чего это они станут мертвыми?

— Когда приезжают эти на мотоциклах, обязательно бывают мертвые. Смотри, смотри!

Обеликс не стал смотреть, подошел поближе к крыльцу, чтобы Вилли увидел, что он все-таки пришел, и Вилли, увидев его, дернул углом рта.

Перед уходом Обеликс решил взглянуть на красавицу, но ее на крыльце уже не было, он обернулся, ища ее, и увидел рядом с хозяином около ворот, увидел и троих в белых рубахах, болтающихся на перекладине.

У школы его перехватил старик Туз. Туз считался старостой собачьего сообщества. Это было признано всеми. Во-первых, он был старше всех, но еще крепок, во-вторых он охранял школу и был уважаем самим директором школы, который теперь висел на воротах.

Туз сказал, что ночью надо прийти на выгон, чтобы повыть.

— Зачем?

— Так полагается, — коротко ответил Туз.

Вилли, видать, только что вернулся домой и сделал непонятное: сбросил с себя совершенно чистые белье и рубашку.

Отто уже таскал воду из колодца, а Бабушка разводила очень опасный каустик для стирки.

Вилли в длинной холщовой рубашке вышел на двор с бутылкой, сел под грецким орехом, подозвал Обеликса.

— Иди сюда, глупая любопытная зобака. Запомни меня, потому что я как Эпаминонд. Великий полководец, но, когда его плащ был в починке, он не выходил из дома.— Я пью за Эпаминонда, но вообще-то, глупая зобака, я мечтал стать таким, как Агесилай, и что из этого вышло? Отвечай. Молчишь? Тогда я отвечу за тебя,— шай-зе...

Вилли любил употреблять незнакомые имена и слова.

— ...Агесилай был царем спартанцев. Историк о нем пишет, что он был худым, хромым, но ходил очень быстро. Со своими был приветлив, с иноземцами насмешлив. Как я с тобой... Ты знаешь, мы прошли примерно столько же, сколько десять тысяч воинов в походе на Вавилон. Смешно, но поговорить я могу только с тобой. Скоро мы расстанемся, друг мой, и, если бы ты был египетским царем Амасисом, а я твоим другом — греческим царем Поликратом, ты бы разорвал со мной отношения, чтобы не видеть моих будущих бед, будучи бессильным помочь мне. Говорят, один из сегодняшних был учителем, я тоже был учителем... истории... жаль, что ты не пьешь...

Обеликс сидел перед ним и делал вид, что внимательно слушает всю эту белиберду, на самом деле он пристально изучал Вилли.

И вот каким был вывод: Вилли стал взрослым. За эти две зимы, минувшие со времени его прихода сюда, он стал другим: доверял Бабушке и перестал бояться. Но эти два состояния не были связаны одно с другим. Он перестал бояться, потому что ему стало безразлично. Он пришел молодым и страстно любил жизнь, а теперь был старым, конечно, не как Бабушка, но почти как сосед Гусарь. У него появился запах старости — равнодушие и усталость.

Последний раз он был молодым на Новый год, но вспоминать эти дни было больно из-за Васи.

Вася жил в маленьком глинобитном сарайчике на границе с соседями.

Он был очень хорошеньким, чистеньким, похожим на человека, поросенком. А главное, он был умным и проницательным. Понимал все буквально на ходу. Когда Обеликс пробегал мимо него, он по походке, по позиции хвоста мгновенно угадывал его настроение.

Летом его выводили на двор, привязывали возле старой хаты, и он часами внимательно изучал жизнь вокруг, вглядываясь в нее своими умненькими глазками с белыми ресницами.

Иногда он пытался рассказать что-то, говорил длинно, путано и так возбужденно, что сбивался с дыхания.

Что-то из его речей Обеликс понимал, например, доклад о событиях прошедшего дня: что делала Бабушка, когда вернулись Генрих и Вилли, кто из собак пробегал мимо двора.

Но, к сожалению, Вася любил и пофилософствовать, порассуждать о смысле жизни, о странностях людей... Это было уже труднодоступно пониманию. Обеликс из вежливости слушал, чуть помахивая хвостом в знак присутствия внимания, но скоро зевота судорогой сводила челюсти, и он длинно визгливо зевал.

Кончилось наихудшим образом.

И с тех пор Новый год навсегда стал праздником, вызывающим двойственное чувство: с одной стороны — праздник, люди добрее и щедрее, но всегда вспоминался и Вася.

Вилли очень красиво нарядил елку, она стояла в горнице, украшенная золотыми цепями, орехами и стеклянными блестящими игрушками, был даже стеклянный танк.

Вечером на ней зажгли маленькие свечи, и Отто очень красиво играл на губной гармонике, а Вилли ОСОБЫМ голосом читал вслух какую-то толстую книгу.

А вот Вася, накануне, вел себя очень странно. Он без конца звал Обеликса подойти, и когда тот подходил, начинал очень нервно, почти визгливо, что-то расска-

зывать. На губах у него вздувались и лопались пузыри. Временами он всхлипывал, но Обеликс никак не мог понять что так сильно взволновало его.

Но вот когда Вася начал метаться в своем тесном закутке, вскрикивать и даже вставать на задние лапы так, что поверх загородки виднелась его белесая мордочка с розовым, разинутым в крике ртом, а Отто, как-то неприятно сгорбившись, над кухонным столом начал с отвратительным дзиньканьем водить ножом по серому камню, — Обеликс понял, что ожидает бедного Васю.

Такое же дзиньканье доносилось осенью со двора старого Гусаря, потом была какая-то возня в хлеву, душераздирающий визг и больше никто не хрюкал, и Гусарша не носила чавун с варевом через двор.

Вася звал Обеликса, но Обеликс делал вид, что не слышит, а потом и вовсе ушел до вечера со двора. Наверное, действовал вроде того египетского царя, о котором говорил Вилли.

Ах Вилли, Вилли! Милый Вилли, ты ушел навсегда в конце июля, когда на черной земле цветника среди тигровых лилий и табаков засветились оранжевые шарики опавших абрикосов. А ведь ты так любил абрикосы!

Он уходил на рассвете.

Обеликс и Бабушка вышли к калитке проводить его. Бабушка его перекрестила, а Вилли, как-то странно хрюкнув, шмыгнул носом. Потом наклонился к Обеликсу и сказал: «Ну что ж, редкое животное, я ухожу, оставляя тебя в этой глуши, где ты кончишь свои дни как Велизарий или Помпей, а я — неизвестно где. Не забывай меня!»

И разве мог знать Обеликс, ставший уже очень скоро Фиксом, потом Габони, потом Гапоном, что Генрих понадобился здесь же, совсем рядом, генерал-фельдмаршалам Клюге и Манштейну, что попал в плен на Курской дуге и был отдан в работники двум женщинам, жившим в землянке, что, вернувшись в Германию, написал об этом роман, потому что стал писателем и литературным начальником в Германской Демократической Республике и постарался навсегда забыть, что его портрет (как самого красивого офицера вермахта) был помещен на обложку иллюстрированного журнала.

И разве мог предположить Обеликс, что девочка, ковылявшая по одеялу, растеленному под яблоней, на толстых ножках, а потом приезжавшая к Бабушке вместе со своими сестрами на лето подкормиться, что этой девочке пьяный и несчастный Вилли скажет по телефону: «Я целую твои ночные губы».

Теперь о женщине по имени Леся. Но назвать ее женщиной было трудно, хотя ко времени описываемых событий ей стукнуло тридцать пять.

Дело в том, что была она не то чтобы глупа, хотя и глупа тоже, но инфантильна. И вот в этой инфантильности крылась ее притягательная сила. И еще в красоте. Где-нибудь в Калифорнии или в нынешние наши времена быть ей киноактрисой, а тогда красота в СССР считалась не Бог весть каким капиталом, и волевая сестрица при равнодушии мамы и папы затолкнула ее в какой-то дико трудный технический вуз, потому что «инженер — это всегда кусок хлеба». Дальше этого пресловутого куска хлеба мечты простого советского обывателя не простирались.

И сидеть бы ей всю жизнь за ненавистным осциллографом, рассчитывая какой-нибудь блок системы самонаведения, если бы в середине шестидесятых судьба не послала ей представителя иных времен, иных палестин.

Он был старше ее, но она, не колеблясь, оставила какого-то там мужа, и уже очень скоро сидела в знаменитом ресторане ЦДЛ, и сам Михаил Аркадьевич Светлов, пьяненький, называл ее санитарочкой. Дело в том, что по бедности в качестве украшения она туго стягивала гладкий лоб белой лентой.

Но бедность была скоро забыта, потому что закоренелый холостяк баловал свою молодую жену и жили они, вот уж действительно, душа в душу.

Происходило это по двум причинам: несмотря на зрелый возраст и значительные посты в писательской организации, Роман Осинин (назовем его так) был челове-

ком инфантильным, доверчивым, романтичным и глуповатым. То есть хорошим человеком.

Кроме того, была в его характере редчайшая черта: нежелание и неумение держать человека за горло, так он называл свою безграничную терпимость.

Возможно, терпимость эта выковалась, так сказать, в официальном браке втором, который был организован одной умной, волевой и жесткой актрисой еще немого кино.

Она как-то давно и сразу поняла, что два мужа лучше, чем один, и что именно Осинин с его романтическими законами бл-а-а-родства — идеальный кандидат на второго мужа.

Первый, законный, открыто жил с женой знаменитого драматурга, Осинин тоже не чурался манекенщиц.

Короче, прожили жизнь, как в старой детской считалке: «Все они переженились... Якцидрак на Ципе-Дрипе...», хотя жизнь им досталась совсем недетская, — войны, аресты близких и страх, страх, спастись от которого можно было в забытьи пьянства и блуда.

Но вернемся к Лесе и терпимости ее мужа.

Она часто ездила в командировки в один маленький город на Украине, и там ее тяжело и безнадежно любил главный инженер завода, где ее студенты проходили практику. Она разрешала катать себя по Карпатам и дома очень живо рассказывала о жизни глухих местечек Закарпатья и привозила себе оттуда экзотические, расшитые яркими цветами и бисером кофточки.

А мужу из коммиссионки Львова она привозила разные экзотические штотки: дубленки, которые тогда видели только в кино, туфли чудесной английской фирмы «Кларк» и голубые полотняные рубашки, но не «Штатские», что презиралось московской фарцией и знатоками, а изготовления «Общего рынка».

Мужское сообщество сильно завидовало Осинину и, как ни странно, женское — его жене, ведь у нее всегда был такой счастливый и благополучный вид.

А супруга самого главного редактора журнала «Стремя» завидовала ее сапогам с ботфортами, таких сапог не было ни у кого во всей Москве. Правда, никто не знал, что сапоги были велики Осинке (так называли ее за глаза) на три размера, но у фарцовщицы Музки товар был только в одном экземпляре.

Зато у Кирилла всего было много. Бывший крымский партизан, татарин или караим и отличный сапожник, он попутно торговал отличными штотками. Жил в древнем, может, описанном Пастернаком в «Докторе Живаго» доме у Белорусского вокзала.

Но настоящий пир наступал для писательских жен в Дубултах.

В этой прекрасной местности Рижского взморья располагался Дом творчества писателей (так назывались для приличия все писательские санатории), а рядом, всего в полчаса езды на электричке, была Рига, а в Риге — посыльные Дзидры, Велты, Скайдрите.... Они получали посылки от родственников со всего мира, на это и жили.

Но это малоинтересная история, а другая история произошла в середине семидесятых прошлого столетия, когда на отдых в Дубулты приехал с женой и сыном немецкий писатель и функционер Вилли.

Они решили убежать от тошнотворной гэдээровской скуки, но не только.

Жена Вилли надеялась попасть в закрытую для иностранцев зону — город Калининград, бывший Кенигсберг, где она родилась и где прошло ее детство.

Вилли же, испытывая нечто наподобие ностальгии, и убедил себя, что для нового романа, где будет присутствовать потрясший его на всю жизнь опыт войны и плена, ему необходимо снова побывать в Советском Союзе.

Он был неплохим писателем. Конечно, слабее Белля, но неплохим. И жена его тоже писала книги.

В этой местности все писали. Литературные начальники — о войне или политические романы, дамы — о любви или, на худой конец, что-нибудь жалостливое.

Жизнь в Доме творчества текла радостно и благополучно. Вечерами гуляли по берегу залива, ходили в уютные латышские кафе, играли в теннис.

Даже организовали турнир и продавали билеты, а потом на вырученные деньги устроили очень милую вечеринку с танцами. За тапера был главный редактор главной газеты по искусству.

На вечеринку пригласили приезжих иностранцев — Вилли с женой, похожей на Валькирию; такими они представлялись Лесе. Большими, красивыми, белозубыми и со странной тягой в зеленых глазах. Звали ее Габриэла. Вот там Леся и познакомилась с ними и по пьяному делу обещала тайком свозить Габриэлу на ее родину, — в закрытый для иностранцев город Калининград.

Когда протрезвела, об обещании пожалела, но отступить не собиралась и после обеда подошла к ним в баре, чтобы обсудить детали поездки.

Бывалый воин Вилли предложил пойти пить кофе и обсуждать поездку в другое кафе, где не было своих и столики не стояли так тесно.

Там под шум юрмальских сосен они поблагодарили Лесю и сказали, что все же от затеи лучше отказаться. Опасно.

Леся для порядка чуть-чуть понастаивала, на глазах Габриэлы появились слезы благодарности, а Вилли предложил выпить коньяк за дружбу.

И самое интересное и странное — дружба состоялась. Длинная, длинная дружба, почти на сорок лет.

И когда Леся приехала к ним в гости, они говорили на жутком пиджин-инглиш, помогали жестами, мимикой и даже присваивали предметам кухонной утвари имена, чтобы было понятней, кто от кого ушел и к кому пришел.

А уходили они все трое в разное время от бывших возлюбленных и приходили к новым. И им было весело, хотя Леся начинала новую жизнь с новым мужем, а у тех, наоборот, что-то незаметно и бесшумно разрушалось: Габриэла снова стала подолгу задерживаться у своей подруги Кристель, которая жила в загородном доме «Без воды» — как-то сказала Валькирия. «И без мужчин», — добавил Вилли. Валькирия вспыхнула. Они все были в подпитии, поэтому Леся вдруг, думая о своем, спросила: «Как долго длится любовь?»

— По-твоему как долго? — переспросил жену Вилли.

Валькирия не ответила.

— Семь лет, — сказал Вилли. — Семь лет.

Их сыну только-только исполнилось восемь.

Если бы Леся не была так глупа, так влюблена и так по-пионерски добропорядочна, она заметила бы, что сильно нравится Вилли. В ней для него соединились все женщины русской литературы: и Наташа Ростова, и Татьяна Ларина, и Настасья Филипповна, а, кроме того, он был талантлив и понимал ее, видел, что у нее все еще впереди: и любовь, и разлука, и мудрость, и одиночество, и страдание.

Их соединение было бы шансом и для него, и для нее, но она была инфантильна и была еще слепа, поэтому они остались друзьями на всю жизнь, а Валькирия вернулась к своей подруге Кристель, которую она покинула на восемь лет ради Вилли, и Вилли написал роман, где русская женщина носила имя Леси и была похожа на нее внешне.

Промелькнул в романе и маленький пес по имени Обеликс, но действие происходило не на Украине, а в Сталинградских степях, где пленный Вилли был в рабстве и жил в землянке вместе с хозяевами.

Роман носил след неизжитой любви к Новалису и Гельдерлину, но, несмотря на это, был удостоен Национальной премии Германской Демократической Республики.

Женщины переписывались, повествуя о всякой чуши, так как помнили, что письма подвергаются цензуре, а Вилли напивался почти каждый вечер, потому что чувствовал — грядут большие перемены. Один раз пьяный он позвонил Лесе и после печального разговора, прощаясь, сказал: «Я целую твои ночные губы», но она сделала вид, что не слышала.

Однажды Вилли приснился сон; он — кузнечик и скачет огромными прыжками по шоссе, а мать (уже давно почившая) уговаривает его прекратить это опасное занятие, и тогда он подпрыгивает высоко-высоко и опускается на руку матери.

На следующий день он попал в аварию на автострате Берлин—Лейпциг, перелетел через кювет с переворотом, чтобы опуститься на четыре колеса.

Но это случилось позже, когда накануне объединения двух Германий они с Валькирией переехали из унылого Лейпцига в столь же унылый Восточный Берлин, в район Кепеник.

А Леся приезжала к ним еще в Лейпциг, где они жили в особняке фабриканта Зингера, и, поднимаясь по лестнице, блестящей от воска, узнавала эту лестницу: да-да она уже ходила по такой лестнице вместе с героем романа Германа Гессе.

И вообще, — в Германии все было из литературы. Все. И пшеничное поле с васильками и кирхой на другой стороне его, вдоль этого поля они гуляли с Валькирией, и Леся услышала рассказ о романе с русским офицером Васей, у которого глаза были того же цвета, что васильки на этом поле, и как потом ее поймали вечером, когда она возвращалась со станции, и обрили. Все истории порознь — походили на правду жизни, а вместе — на литературный вымысел.

Но однажды на Унтер ден Линден в магазине «Эксквизит», где на валюту торговали товарами из-за стены, Валькирия вдруг побледнела так, что полинял кварцевый загар и зрачки зеленых глаз расширились невообразимо:

— Смотри, смотри туда! Вон, видишь, стоит разговаривает с продавщицей! Это он меня стриг, он теперь живет в Западном Берлине! Живет себе поживает, а ведь он сотрудничал с гестапо!

Она говорила громко, на них начали оборачиваться. Элегантный, загорелый, тот, что разговаривал с продавщицей, быстро вышел.

Так в длинном, пахнущем духами, сумрачном от винно-красных маркиз, защищающих зеркальные витрины от зноя, зале магазина литература обернулась правдой.

Они оказались настоящими друзьями. После смерти мужа позвали ее с сыном отдохнуть у них на даче. Туда, где вдоль поля с васильками Валькирия гуляла с русским офицером.

Их совместная жизнь иссякла, но Леся так была оглушена своим горем, что не очень вникала в обстоятельства друзей.

Вилли жил отдельно в маленьком домике в глубине участка и по вечерам играл Зорю на горне, очень красиво играл.

Странно, но они никогда не говорили об Украине, иначе им стало бы известно, что он знал ее бабушку и жил в хате, которую она помнила до мельчайших подробностей: до травы-муравы во дворе, до цвета неба в сумерках, — с бледными звездами и удивительно тонко очерченным месяцем.

Только один раз они говорили о войне, и он сказал, что войну невозможно понять по судьбе одного человека, как невозможно по пламени свечи понять природу огромного пожара.

Красиво. Но она не поняла, что имелось в виду. А вот то, что в офицерском разговорнике были слова: «Девушка, вы очень красивая. Дайте, пожалуйста, напиток воды», запомнилось.

Последний раз она увидела его лежащим в постели после инфаркта в запущенной квартире в Кепенике.

Две Германии объединились, и западные с чисто немецкой педантичностью стали донимать восточных, тех, кто хорошо жил при гэдэровской власти.

Не всех. Были такие, что сумели вовремя «выйти из магазина», вроде гестаповца, что остриг Валькирию, но Вилли был не из их числа. Он мужественно перенес позор изгнания со всех должностей, потом изгнания из квартиры, куда-то на жуткие пролетарские выселки, типа московского Бирюлева, предательство друзей, охлаждение сына и мужественно скончался, оплакиваемый только разлюбленной и разлюбившей Валькирией.

В последний путь его пришел проводить смешной пес — уродец на кривых лапах, со щеточкой бровей над умными черными глазками.

Пес уселся на задние лапки очень удобно и прочно, и Вилли понял, что он ждет, когда душа отправится в последний путь.

Он вспомнил, что пса зовут Обеликс, что он дал умнику это имя и, значит, полагается позвать его по имени за собой, когда будет готов.

Пса по имени Обеликс уже давно не существовало, но после ухода Вилли из села он прожил длинную собачью жизнь сначала под прежним именем Букет, а потом под странным именем Гапон.

Осенью исчезли все немцы, ушли сами, подпалив несколько хат. Но до Застанции руки не дошли, торопились очень.

В комендатуре снова была школа, и по селу больше никто не ездил на вонючих мотоциклах, а в их саду по-прежнему падал Белый налив и будто изморозью покрывались спелые сливы, а за садом дичало поле.

Там хорошо было мышковать, потому что наступил голод, и, пока не вернулась Катя с мальчишками, они с Бабушкой голодовали страшно.

Букет (к нему вернулось его прежнее имя) спасался хоть мышами, а Бабушка варила крапиву и лебеду. Правда, у нее были припрятаны несколько банок чудесных консервов, которые оставил ей Вилли, но она их не трогала — Катю ждала.

А Катя, когда приехала на подводе с узлами и повзрослевшими сыновьями и поела картошки с этими консервами, подняла вдруг такой ор и прибежала за погреб, где он, постанывая вылизывал банки, выхватила банки и потащила их куда-то, трясясь и чертыхаясь.

Они с Мальчиком обшарили все кусты, но банок не нашли, и Мальчик пошел на Билля Нова ловить жаб, а он до сумерек прочесывал территорию, почти прикинув носом к земле. И был вознагражден.

В одном месте, в самом дальнем закоулке сада, из-под земли едва уловимо пахло Вилли. Пришлось разрыть и ...о радость! там были банки. Торопясь долизать то, что не успел, он забыл об осторожности и порезал язык.

На следующий день он увидел, как Катя крадется по саду с лопатой, а за ней тянется улавливаемый ВЕРХНИМ чутьем чудесный запах консервов.

Значит, поорала-поорала и снова ела консервы врага.

У него хватило ума не побежать за ней следом, а наблюдать из лопухов, как она, шипя как гусыня, закапывает банку в ямку.

Но раскопать эту ямку было плевым делом, рыли вместе с Мальчиком так, что чернозем вылетал между задних лап, будто дым из паровозной трубы. Мальчик, склонный к грубым шуткам, заметил, что со стороны, наверное, выглядит будто дрищут черным.

Он сам от своих жаб часто дристал черным.

Один раз Илько выбросил банку прямо в цветник на саржины, и Катя гонялась за ним с ремнем сначала по хате, потом по двору. Было непонятно, в чем преступление: в том, что не зарыл банку (и чего Катя так боялась с этими консервами?), или в том, что украл из Бабушкиного тайника.

Бабушка тоже гонялась за Ильком и, когда удавалось, дергала его за чуб, а когда Катя маневром приближалась на результативное расстояние — заслоняла Илька от ремня с пряжкой.

Илько и Фомка за время отсутствия сильно повзрослели, и Букет уже в день их приезда почуял, что мальчишки так себе, — дрянцо, внутри гнилые.

Фомка еще ничего, а Илько — совсем негодящий.

Так и оказалось.

Он затевал драки после кино возле клуба, а сам прятался потом в сельсовете. На досвитках грубо обращался с девушками, и один пес из-за Гребли сказал Букету, что их хлопцы хотят подловить Илька и переломать ему ноги, но пока что жалеют Катю, потому что она была у них учительницей.

Букет не любил ходить на досвитки, но Мальчика туда тянуло как на веревке.

Мальчик появился в голод, и откуда взялся, было неизвестно. Скрывал. Скорее всего где-то беспризорничал.

Ценой бесконечных унижений и терпения он прибил к Левадним, через три дома на этой же улице, ну и, конечно, подружился.

А как было не подружиться — ровесник, живут на одной улице, а Фантик у Гусаря сидел на цепи, Дина у Овчаренок — тоже.

У Мальчика была одна особенность — огромное любопытство ко всему плохому.

Ему нравилось наблюдать драки парней в парке после Досвиток, он даже повизгивал от удовольствия, нравилось подглядывать за девочками, когда они бегали в кусты. Рассказывал, что они подтираются лопухами.

И вечно увязывался за Ильком, как будто чуял исходящий от него запах обещания беды и непотребства. Илько все время затевал что-то плохое и поначалу Букет вместе с Ильком и его компанией часами сидел в засаде, сторожа хлопцев из Кута, после Досвиток и свадеб.

Дрался Илько гадко со свинчаткой, но первый убежал с поля битвы, если к противникам приходила подмога.

Один раз Мальчик сказал, что Илька поджидают в выемке хлопцы из Кута.

Надо было предупредить, и он побежал впереди, лая и наскакывая на Илька, но тот пнул его сапогом: «Пошел вон, гедота!», он и пошел и потом в темноте слышал, как Илько говорил козлиным от страха голосом: «Хлопцы, та вы шо, сказались?!», как упала в пыль выброшенная свинчатка, как гоготали хлопцы и пихали Илька в разные стороны, а потом по очереди давали ему пинков под жопу.

Вернувшись домой, Илько жутко наорал на Бабушку за то, что она оставила для него кисляка в сенях и уговаривала съесть на ночь.

— Чего пристала со своим кисляком!

«Если бы меня так уговаривали,— подумал голодный Букет, сидя под окном хаты, — я бы не огрызался, я бы лизнул ей руку». Больше он не подждал Илька после Досвиток и не ходил с ним за Греблю.

А ведь он любил Илька поначалу. Тот был высокий, красивый, и Букет гордился им. И когда Илько уехал учиться, он скучал по нему, хотя уже давно разочаровался в нем.

Из разговоров Букет понял, что Илько служит в Германии, там, откуда пришел Вилли. Об Ильке Катя говорила с восторгом, а о дяде Ване — никогда. Это было странно.

А освободившееся для любви место в сердце Букета занял Фомка.

Фомка был совсем другой. Рыжий, веселый, мастер на всякие выдумки, плут, бездельник и вун. Катя больше любила младшего сына, да и Бабушка не могла долго сердиться на Фомку, хотя он мучил и пугал ее ужасно.

Он очень любил лакомства — например, свежую сметану и варенец, но Бабушка была справедливой и всем выдавала поровну, ну разве Фомке чуть-чуть больше. Но ему все равно было мало, и тогда он приказывал голосом, кстати, очень похожим на голос Вилли:

— Подайте мне мой фрюштик битте, Федора Степановна!

Бабушка почему-то пугалась и давала ему внеочередное снаданье.

Откуда Фомка прознал про Вилли, было загадкой, но он знал и иногда затевал уж совсем гадкую игру.

Случалось это, когда в отсутствие Кати Фомка забегал к Олефирам, и Олефириха наливала ему маленький стаканчик мутноватого самогона.

Тогда, придя домой, Фомка требовал копченого праздничного сала и сливок, а если Бабушка не давала, начиналась ее мука.

Фомка зажигал керосиновую лампу на весь фитиль, почти до копоти, велел Бабушке строгим голосом сесть напротив него за стол, чтоб руки на столе, и строго приказывал:

— Выдайте Ваши явки, Федора Степановна! Расскажите о Вашем сотрудничестве с оккупантами. А что Вы будете делать, когда здесь появится Ваш любимчик Вилли, кстати, его фамилия Брандт и он большая шишка в Федеративной, подчеркиваю в Федеративной, а не в Демократической Республике Германии, так вот войдет во двор Ваш Вилли, что называл Вас «мутер», как Вы изволили признаться в одной беседе, а Вы вкусно кормили и обстирывали его — офицера СС.

— Та ни! Он не был СС,— тихо и испуганно, как ночью курица в сенах, вскрикивала Бабушка.

— Неважно! Кормили и обстирывали. И теперь этот Ваш Вилли войдет во двор, поклонится Вам и скажет...

— Та чего он войдет, Фомочка! — вдруг смелела Бабушка.

— Войдет во двор,— возвышал голос Фомка,— поклонится Вам в ноги и скажет: «Здравствуйте, Федора Степановна! Спасибо, что были мне как родная мать, я никогда не забуду вашей доброты и заботы».

— Да что ты говоришь, Фомочка! Яка я ему маты? — растерянно лепетала Бабушка.

— ...а рядом «сопровождающие лица» и начальство из Киева, из Полтавы, и как выглядит при всем при этом Ваша дочь — член партии и председатель сельсовета Екатерина Яковлевна Галаган, кстати, что это за фамилия? Не из тех ли Галаганов — эксплуататоров и землевладельцев? Ламсдорф— Галаганов, между прочим. Может, отсюда такая любовь к немцам?

— Та яка любовь! Вин же молодой был, дытына еще, совсем дытына той офицер... Я пойду, Фомочка? Мне корову встречать треба, а ты покушай сметанки, покушай...

Иногда Фомка говорил так: «Хочу яйки и млеко!»

— Так ты уж ел.

— Немцам было не жалко, а внуку жалко?!

В такие минуты Бабушка боялась Фомку и разговаривала умильно.

Москвичи приехали на второе лето после возвращения Кати, и жизнь волшебю изменилась. А началось это так.

Однажды Катя и Фомка встали непривычно рано и отправились на станцию к *Бахмачскому*.

Букет конечно же потрусил рядом. Фомка был зол из-за раннего пробуждения и все время противным голосом повторял новое слово *нахлебники*.

И вот то утро запомнилось на всю жизнь. Прекрасное утро. Даже для прекрасной поры полета зеленых жуков — чудное, и только лишь потом понял, что утро это было знаком, предчувствием большой любви.

Они вышли из вагона совсем другие, но он сразу узнал их и вспомнил имена. Вот та, самая старшая, высокая с длинными косами — Ганна, худенькая чернявая — Гуля, губастая с пышными волосами — ее сестра Тамара и самая прекрасная — с чудными лучистыми глазами, та самая, что на толстеньких ножках с перевязками жира, ковыляла по одеялу, теперь стала настоящей красавицей. Вроде той шоколадной, что стояла на крыльце. Задние ноги длинные прямые с тонкими щиколотками. Передние лапки тоже с тонкими запястьями, лобик выпуклый, шейка длинная, правда, ушики, к сожалению, не висят красиво по бокам мордочки, а прилеплены двумя варениками, но это тоже неплохо смотрелось.

Звали ее Леся.

Уже к вечеру разобрался: строгая Ганна была старшей сестрой Леси, добрая Гуля и вредная Тамара тоже были сестрами друг другу и, в свою очередь, не родными, но все же сестрами Ганне, Лесе, Фомке и отсутствующему Илько. В общем, все были братьями и сестрами, разной степени близости. Общей была Бабушка.

И характерами отличались сильно. Ганна была властной и любила командовать Лесей. Один раз даже стегала сестру ивовым прутом, но тут он так впился ей в лодыжку, что она, завопив, бросила прут и побежала в дом. Там она орала и повторяла Габони! Габони!

Да! Он опять получил новое имя: дети называли его Габони. Произошло это после того, как в клубе показывали несколько раз кино под названием «Тарзан». В этом кино бегали маленькие кривоногие люди по прозвищу Габони, имя дала Ганна, что было бестактно: указать на маленький рост и кривые ноги.

В селе его переименовали в Гапона, так что Габони было «летним» именем.

Девочки. Гуля и Тамара были близки друг другу, хотя были совсем разными

людьми. Гуля — задумчивая, тихая. Жила в придуманном мире, который она вычитала в книгах. Она читала с утра и до сумерек, пока Ганна не отнимала у нее книгу.

Тамара, наоборот, была очень деятельной и живой.

Но Тамара немного завидовала Лесе. Ей хотелось первенства, но на первенство претендовала и Леся, и ей это удавалось лучше. Мальчишки подчинялись охотнее. О, Габони умел отличать зависть по запаху сразу, так же как опасность и жадность.

Да, мальчишки! Они появлялись сразу же. Чуть ли не на следующий день уже сидели в сумерках на стволе огромного явора, что лежал вдоль стены хаты под выходящими на улицу окнами маленькой комнаты.

Сколько историй было рассказано про Москву, сколько книг пересказано на этом яворе! Играли и в модные московские игры «Ручеек» и «Штандер», а самой сладостной была игра в «Садовника», но это уже когда наступали сумерки и в палисаднике ярко желтели тигровые лилии и падалица абрикосов, лежащих на черной земле.

Любимое дерево Вилли, уходя, он обнял его.

«Я садовником родился...», они повторяли эти слова по многу-многу раз какими-то особыми голосами.

Звезды падали и падали, пахли Метиола и Резеда, глаза слипались, а он не мог заставить себя уйти и лечь в сенях на рядне.

Не было сил оторваться от этих теплых, пахнущих солнцем и рекой ног, от этого чуть хрипловатого голоса... И, кроме того, существовала легенда, придуманная мальчишками, будто какие-то неведомые хлопцы то ли из Кута, то ли из Сенчи собираются прийти на их тихую Застанцию и учинить здесь какое-то хулиганство.

В общем, мальчишкам нужен был предлог торчать возле хаты в любое время суток.

А дни... Дни тоже были прекрасны. Медовый запах душицы на топких берегах маленького болотца, носящего непонятное название Билля Нова — там они отсиживались в самую жару, играя в подкидного, или камышовые заросли Сулы, раздвигающиеся с тихим посвистом перед лодкой. Габони немного нервничал, сидя на носу, не был уверен, сумеет ли доплыть до тверди в случае чего, девчонки опасно кренили лодку, дотягиваясь до нежно-сливочных водяных лилий. Лилии вытаскивались с трудом, у них до дна тянулся длинный крепко приросший стебель. Лодка почти зачерпывала бортом воду и, когда стебель поддавался усилию, тотчас резко отваливалась, кренясь на другой борт. Тяжелое испытание, но даже оно не отбивало охоты увязываться за компанией.

Или блеск воды, визги и брызги на Гребле...

Если бы девочки читали вслух Гоголя, то Габони узнал бы все это роскошество украинского лета, но Ганна и Гуля читали толстую книгу под названием «Война и мир» и когда, по велению Бабушки, оставались дома, то затевали игру под тем же названием. Девчонки были мастерицы придумывать всякие игры, и наблюдать за их играми было безумно интересно. Играл с ними и Фомка, хотя и презирал их немного, как старший.

Но самой главной и многознающей была, конечно, Ганна. Она всеми и командовала.

«Война и мир» заключалась в том, что девочки сидели в горнице, вышивали и разговаривали неестественными голосами, называя друг друга новыми именами.

Ганна становилась Наташей, Тамара — Эллен, Гуля — Мари, а Леся — Соней, что ужасно Лесе не нравилось, Габони это чувствовал сильно.

Они вышивали и говорили про какого-то князя Андрея, который должен *вернуться с фронта*.

Эти слова были хорошо знакомы Габони. Год и два года назад их часто повторяли и Бабушка, и Катя, и люди в селе.

Были знакомы и те, кто *Вернулся с фронта*.

Вечно пьяные, они ползали на гремящих тележках на базаре под ногами, отталкиваясь от земли колодками, похожими на сапожные щетки.

С собаками у них были сложные отношения. Например, Мальчик не любил их и старался сделать кому-нибудь из них мелкую пакость: подкинуть под тележку большую добела обгрызенную кость, чтоб тележка перевернулась, или мимоходом клацнуть зубами возле их грязных рож.

Они все — и собаки, и *Вернувшиеся* обитали на одном уровне, и у них там шла своя жизнь.

Габони жалел *Вернувшихся*, но старался держаться от них подальше: не выносил запаха сивухи.

Старый Жук, наоборот, самогонку любил и даже иногда выпивал с *Вернувшимися*, они гоготали, наливая ему на дно треснутой макитры.

Жук немного лакал потом, подволакивая задние ноги, уходил в тень и там засыпал с храпом.

Габони старался в таком случае находиться где-нибудь поблизости, чтобы Жука случаем не побили или не сделали с ним чего-нибудь гадкого.

И вот один раз девочки сидели и разговаривали протяжно неестественными голосами, изображая «войну и мир». Для него роли не было, один раз Тамара попробовала его таскать на руках, называя Бижу, но ей это быстро надоело, и его вернули на место — в сени. Там он обычно и сидел, наблюдая за происходящим и во дворе и в горнице.

И один раз мимо него прополз на заднице Фомка, отталкиваясь сапожными щетками, совсем как те, на рынке.

В горнице возмутились: «Ты что! Сошел с ума? Разве так вернулся с фронта князь Андрей?»

Леся хохотала: «Ой! Не могу!»

— Дуры! Откуда я знаю, как он вернулся?! Может, ему ноги оторвало.

— Вот что значит нелюбовь к чтению,— назидательно сказала Ганна.

Фомка вообще часто портил им игру. Другой раз, изображая какого-то Печорина, он заявился со своим любимчиком, котенком Зайцем, на руках. Это тоже не годилось, и Зайца было велено отпустить.

Заяц обрадовался и побежал заниматься своим любимым делом: целыми днями он сидел сгорбившись и сосал свою крошечную пиписку. Такая гедота!

Но Фомка не сердился на него, называл ласково Онанистик, хотя Бабушка каждый раз, проходя мимо Зайчика, плевалась в сторону, а девчонки старались не смотреть.

Габони с ним не общался подчеркнuto: публичность и бесстыдство разврата вызывали отвращение.

Что-то делали с пиписками и мальчишки из компании Фомки, но они это делали в зарослях осоки на берегу Сулы.

Вообще Фомка редко бывал дома. Целыми днями вместе с мальчишками он пропадал на маленьком песчаном пляже в камышах.

Там они с гиканьем прыгали в воду с мостков, курили и иногда выпивали.

Фомка рано полюбил выпивать, и у Габони было предчувствие, что это погубит его веселый смешливый нрав, его юмор и, в конце концов, его жизнь.

Пока не было москвичей, Габони увязывался за ним, но это было неинтересно, не то, что с приезжими; те всегда придумывали какую-нибудь игру, и иногда и Габони находилось в этой игре место.

Обычно место придумывала Леся, и это заставляло сердце замирать от сладостной мысли, что и она хочет быть рядом с ним.

Например, в жуткой многодневной игре в партизаны она сразу сказала, что Габони всегда будет на ее стороне.

— Это почему еще... — начала, как всегда, Тамара, но Леся ответила очень достойно.

— По кочану,— сказала она и добавила: — По кислой капусте.

Правильно отрезала: не объяснять же всем подряд, что у них особые отношения.

Он любил Лесю. А еще ее любили почти все мальчишки с улицы Застанция и даже один, приходивший из Кута.

Тамара была тоже красивая— с толстыми косами и большими губами, но любил ее преданно только Митя Левадный — хозяин Мальчика, мечтавший стать моряком.

Особенно сильно, ах как чувствовал это Габони, любил Лесю Сережа, который жил у ставка в землянке. Жил с младшим братом, а отца и матери у них не было.

Вообще с отцами была какая-то неясность. Почти ни у кого не было отцов: у Коли из Кута — не было, у Фомки с Ильком — не было, только у Левадного был, да у Леси с Ганной, но потом и у них не стало.

Когда девочки приехали на второе лето и он с Фомкой золотистым утром пошел встречать бахмачский поезд, Габони сразу понял, что у Леси и Ганы теперь тоже нет отца.

Что-то трудно объяснимое присутствовало в детях, у которых не было отцов. В этом необъяснимом были и тайная печаль, и униженность, и страх, и беззащитность, и некоторая развязность.

Девочки храбрились, рассказывали что-то веселое, пока Фомка, тащивший их легкий чемодан, не остановился и не спросил:

— А сколько Тарасу Андреевичу дали?

Девчонки замолчали, потом Ганна ответила коротко: «Десять».

— Никому здесь не говорите.

— Конечно. Мы понимаем.

И самым ужасным было то чувство, которое ощутил Габони в Фомке: Фомка был доволен, что у них теперь тоже нет отца!

Но, несмотря на то, что теперь у Леси и Ганны тоже не было отца (он исчез загадочно, как все отцы, потому что о нем больше никогда не вспоминали), так вот, несмотря на это, снова праздником потекло лето. Дома девчонки только завтракали и ужинали, а так — все время на улице.

Обязанностей было мало. Одну очень любили — пасти «в очередь» стадо улицы Застанция.

С вечера Бабушка готовила холщовую торбу со всякими яствами: большими ржаными пирогами с вишней, нежным бруском сала, бутылкой молока, двумя бутылками восхитительного «Ситро» и даже круглыми конфетами с начинкой из патоки в газетном кулечке.

Вообще-то пас Габони, он бдительно следил за дисциплиной коров, покусывая их за ноги, чтоб не разбредались, пока вся компания (мальчишки конечно же увязывались тоже) играла в подкидного дурака.

Они, конечно, были беспечны и иногда могли пропустить самое главное— довольно отвратительную сцену, когда бык взбирался на одну из коров, а в их обязанности входило доложить вечером об этом факте хозяевам коровы.

Но они только сначала испытывали интерес к событиям подобного рода. А потом просто не обращали внимания, и если бы не Сережа со ставка, не избежать больших скандалов. Сережа, понимая, как важно *Покрытие* для хозяев, следил и сообщал вечером. А хозяйева записывали.

Но самой противной обязанностью был сбор смородины.

Этой смородины, посаженной вдоль дорожки, ведущей в сад, росло несметное множество, и собирать ее на солнцепеке было истинной казнью.

Мальчишки не помогали. Их самих запрягали в этот *рабский труд*.

Сестрицам выдавали скамеечки и тазики, и они, сидя у кустов, обрывали черные ягоды. Но тазики наполнялись слишком медленно, а жара не спадала почти до самого вечера, и Бабушка была непреклонна и требовала работы почти до сумерек. Смородина могла начать осыпаться, а ей она нужна была для того, чтобы насыпать ее в большие бутылки, нацепить на горлышки соски, поставить эти бутылки на подоконники и все время наблюдать за ними. Это была ее любимая игра — каждый день подходить, колдовать над бутылками и разглядывать их.

Габони очень переживал: он ничем не мог помочь Лесе.

И вот однажды, когда жизнь уже казалась невыносимой, неожиданно пришла не то чтобы свобода, но возможность устроить перерыв и сбежать на реку.

А произошло это вот как. Один раз Гуля сказала Ганне: «Сестра, передай мне тазик». Казалось бы, ничего особенного, но рядом была Бабушка, она напряглась и насторожилась.

Дело в том, что, будучи необычайно набожной, она, ну просто, можно сказать, ненавидела соседей Овчаренок.

За что ненавидела — непонятно. Те жили тихо, не пили не скандалили, правда, в храм не ходили, а по воскресеньям пели в хате вместе с гостями. Гости называли друг друга брат и сестра.

Бабушка шипела: «Штундисты!»

И вот Ганна сказала так Гуле: «Сестра, передай мне тазик», а та, покосившись на Бабушку, ответила нежно и протяжно: «Возьми, сестра». И так они стали переговариваться, без конца передавая друг другу тазик, и Леся с Тамарой стали так переговариваться, и Фомка тоже стал называть девочек не по имени, а «Сестра».

Габони просто кожей чувствовал, как нарастал гнев Бабушки, он просто кипел внутри нее, не находя выхода. Она терпела, терпела, потом крикнула: «А ну геть, витциля!»

А им только того и нужно было; они как сумасшедшие понеслись к реке и там орали от радости и валялись, корчась от хохота, на песке.

И все-таки они не стали злоупотреблять и до полудня честно трудились над кустами. Только потом начинали мяукать «Брат, сестра...», и Бабушка от невыносимости прогоняла их.

Но сбор смородины был ничто по сравнению со сбором колосков на уже скошенном колхозном поле.

Катя была против этих опасных мероприятий, кричала на Бабушку, повторяя слово «статья» и «я председатель сельсовета», но Бабушка делала вид, что не замечает, как они собираются «по колоски».

Колоски собирали для Сережи и его братика, и была в этой затее какая-то опасная тайна. Валяющиеся на земле колоски почему-то нельзя было собирать, и как только в поле зрения появлялась брочка председателя колхоза или бригадира, а еще хуже — верховой, нужно было бросать торбу, набитую колосками, и бежать.

Такое случалось редко, и все же Габони бдительно следил за дорогой. Но однажды наскочили верховые, догнали самого высокого и худого Сережу и очень сильно исхлестали его плетками.

Бабушка выхаживала его несколько дней, носила в их землянку возле ставка еду или посылала кого-нибудь, а вечером обязательно приходила сама и чем-то мазала длинные красные рубцы.

Она вообще любила Сережу, и Лесе однажды досталось из-за него.

Бабушка всегда сажала Сережу с братом *вечерять*, и как-то все побежали в кино, а Леся замешкалась, и Сережа, конечно, тоже возле нее. А Габони это кино вообще даром было не нужно, он ждал Лесю, чтобы проводить.

Леся покрутилась возле зеркала и — на двор. Бабушка за ней: «А вечерять?»

— Ну, баб, нам некогда, — заныла Леся. — Мы в кино опаздываем!

— Успеете. Хлопчики, идите сидайте за стол!

И, когда мальчики ушли в хату, хлестнула Лесю хворостинной по ногам.

— Дурка!

Какие мелочи помнятся! Какие давние времена!

Девчонки бывали иногда без трусов. И тут надо было ловить момент. Кое-что можно было увидеть, если повалиться на спину. Девчонки, думая, что он играет, садились около него на корточки и трепали его по животу, а он в это время разглядывал их пахнущие чем-то прекрасным писки в золотистом пушке.

Много чего происходило за лето.

Мальчики разгрузили на станции платформу с суперфосфатом и на заработан-

ные деньги вечером устроили девочкам угощение — купили в станционном буфете «Ситро» и пирожки с печенью.

А через несколько дней у них на ногах образовались от суперфосфата жуткие язвы. Первый заметил язвы Габони и начал их лизать — лечить. Правда, Митьке Леваднему не стал лизать: у него есть свой пес для этого — Мальчик, но Мальчик не лизал, сказал, что противно. А Габони было не противно.

Печаль потихоньку подступала после Яблочного Спаса, потому что близился день ее отъезда.

Когда же все кончилось? В то последнее ужасное лето. Когда вернулся Илько. А за ним Дядя Ваня.

Но вернулся он не дядей Ваней, а Иваном. Он тогда еще размышлял, отчего люди так сильно меняются. У них, собак, никто не менялся до самой старости; ослабевали, дряхлели, но характер оставался прежним.

Например, Мальчик. Он всегда был шkodливый и, по сути, недобрый к людям.

Однажды он устроил пожар. Тамара сдуру разожгла маленький костер около скирды сена, что-то там вроде варила. Край скирды уже занимался, но Мальчик, вместо того чтобы позвать кого-нибудь из взрослых — Бабушку или Ганну, ну Фомку в крайнем случае, позвал Лесю, а в скирде была нора, которую вырыли девочки, это была пещера для игры.

Как уж этот мерзавец заманил Лесю в пещеру, неизвестно, но скирду потушили с помощью ненавистных штундистов — соседей Гусарей и Овчаренко, и мало того, что Леся чуть не сгорела, ее еще и выпороли розгами: хитрая Тамара сумела все свалить на нее.

Леся долго плакала в дальнем углу сада под калиной, и он слизывал ее слезы.

Мальчику тогда здорово досталось. Даром что он был меньше лохматого пса, но драться умел, так вцепился ему в морду, что чуть не порвал глаз, да и порвал немного веко, честно говоря.

Они не общались после этого долго, и Мальчик вылаивал из-за забора, что он презирает его за любовь к зассанке: «Беги, беги выслуживайся, урод!»

Габони не отвечал, а потом, когда москвичи уехали, они помирились.

Но печаль все-таки потихоньку подступала после Яблочного Спаса, хотя впереди еще был любимый им праздник — мазали хату.

А на Спас он провожал Бабушку в храм. Она шла торжественная, нарядная, в белоснежной хусточке с белым узелком в руках, а в узелке яблоки.

У храма собиралось много собак со всех концов округа: из Кута, из Сталинской, где в храме был склад Заготзерна; один приходил даже из Бабушкиной родины — из Бодаквы.

Обменивались новостями, полушутливо грызлись, старшие расспрашивали малолеток, откуда пришли да у кого во дворе обитают.

Да, мазали хату... Обычно в конце лета. Помочь приходили друзья, весь день кипела работа, а вечером садились во дворе за длинный стол, организованный из досок, и почти до рассвета пили, ели, пели.

Хата светилась под луной белой *крейдой*, стекла окошек поблескивали слюдяно, тихо шумели под слабым ночным ветерком листья груши и старого ореха, росших у колодца, а песням, казалось, не было конца.

Пели и веселые «Ой, дивчина шумить гай» и грустные «Стоит гора высокая», но самую грустную всегда пела Катя, песня называлась «Потеряла я свою кубанку», мотив был до того жалостливый, что хотелось скулить и подвывать. Он один раз попробовал и получил под столом пинка.

Но пинки — ерунда по сравнению с добычей, которая перепадала под столом. К середине ночи напивались так, что иногда даже кусок курицы роняли на землю, и тут только успевай перехватить, потому что Мальчик тоже внаглую пробирался под стол.

Что еще...

Уже перед самым отъездом затевали такую игру: вырезали внутренности тыквы,

изнутри же прорезали «глаза и рот», вставляли свечу и прятались с этими тыквами в бурьяне Выемки.

Девчата, возвращающиеся через Выемку с гулянья у вечернего поезда, визжали и шарахались.

Один раз затеяли и вовсе что-то несурзное. Насмотрелись в кино — и несколько дней одни прятались, другие искали. Называлось «немцы и партизаны».

Знали бы они, как на самом деле это все выглядело. А, оказывается, знали, в кино видели.

Те, что были «партизанами», здорово прятались, «немцы» под руководством Фомки искали их два дня и не догадывались, что те вырыли себе землянку за садом на кукурузном поле и там дулись в карты до сумерек. В сумерках все собирались возле кино.

Он тоже пробирался в землянку, потому что Леся показала ему, где они *ховают*ся, он, конечно, и без нее нашел бы в два счета по нижнему запаху, но то, что она показала, было приятно. Больше, чем приятно, — сделало счастливым.

Он сидел в землянке тихонько, не лаял, не скулил, даже писать не просился лаем, а просто садился с печальным видом возле ведущих наверх земляных ступенек, покрытых досками. Землянку очень ловко соорудил Сережа, но ведь они с братом тоже обитали в землянке.

Все это закончилось очень плохо, и могло закончиться еще хуже. Если бы не вмешался он, Габони.

Гуля закончила читать какую-то книгу и решила пойти в дом за новой, она без книг не могла жить.

Ганна запрещала, но Гуля сказала, что в такую жару «немцы» наверняка ушли купаться. Жара действительно была как в печи, а в землянке было хорошо — прохладно.

В общем, Гуля пошла, а оказалось, что Фомка устроил возле дома засаду, на случай если кто прибежит подкормиться, вот и взяли Гулю в плен.

Когда в землянке поняли, что с Гулей что-то приключилось, Леся сказала: «Габончик, иди посмотри, где она».

Гуля стояла под грушей в окружении «немцев», и Фомка что-то говорил очень строго, повторяя понятное слово *наказать*, как если бы Гулю уличили в погоне за курицей.

Гуля стояла, гордо подняв голову, и молчала. И тут он увидел, что с ветки груши свисает петля. Значит, они решили сделать с Гулей то же, что комендант сделал с теми в белых рубашках. Но те вовсе не задирали головы, а, наоборот, стояли будто со сломанными шеями. Это он запомнил очень хорошо.

От Фомки, как всегда, исходил запах запрещенных действий, а вот от других — страх. И вот этот запах страха очень не понравился Габони.

Он твякнул на Фомку коротким предупредительным твяком, но Фомка даже не взглянул на него.

Продолжая говорить, он накинул на шею Гули петлю и ногой придвинул табурет.

А вот это уже совсем никуда не годилось, он вспомнил, как болтались ночью те в белых рубашках, представил, как сбегутся со всей округи его товарищи повить в его дворе, и решил действовать.

Он вбежал в хату и начал облаивать Бабушку, как всегда, возящуюся у печи.

— Да ты шо, сказывся? А ну геть витсиля, Гапон, бо я хворостыну визьму.

Но он продолжал орать во всю глотку и даже чуть-чуть наускакивал на Бабушку. Потом выбежал в сени и обернулся, приглашая следовать за ним.

Бабушка поняла, она вообще была очень умная. Поняла и пошла за ним. И тут увидела Гулю с петлей. Что началось! Фомка еле успел удрать со двора, Габони немного пробежал за ним по улице и даже сумел раза два ухватить за пятки. Почему не ухватить, раз уж такой переполох.

Кстати, Фомка оказался злопамятным и на следующий день больно пнул и сказал: «Иди отсюда, Гедота хитрая!»

Вот это слово «Гедота» было очень обидным, но насрать он хотел на Фомку, потому что вечером говорили только о нем, о его уме, и Леся взяла его на руки, а он

затих, и только одна мысль портила счастье — что к Лесе переберутся его блохи и она больше никогда не станет брать его на руки.

Зачем сейчас, лежа под пропахшим дегтем и железом мостом и глядя, как снуют в воде рыбки с красными плавниками, он вспоминает всю эту чепуху — выемку, тыквы, старую грушу со свисающей петлей, очередь за хлебом у сельпо? А чтоб не вспоминать плохое, потому что то было их последнее счастливое лето.

Осенью вернулся Илько, а зимой — Иван.

Первым увидел Илька он и сразу понял, что идет большая беда. Илько шел огородами. В военной форме, но гимнастерка навывпуск, как у бабы, и не подпоясана. И в руках ничего нет, будто не после долгого отсутствия издалека возвращается, а так — *ходил до витру* за огороды.

Что-то в его высокой плечистой фигуре в военной форме было неуместное среди оранжевых гарбузов и зеленых кавунов, лежащих среди уже ненужных, засохших плетей.

Теплое осеннее солнце светило ему в спину, и он гляделся черным-пречерным.

Гапон не стал лаять и звать Бабушку (Катя, как всегда, была в сельсовете), а тихонько отошел за колодец.

Илько подошел к колодцу, попил прямо из ведра, что вообще-то строжайше запрещалось Бабушкой, — считалось очень плохой приметой.

Гапон хорошо разглядел его пустые глаза и запекшийся рот.

«Неужели опять война», — подумал Гапон, но не испугался, а обрадовался тому, что в таком случае возможно возвращение Вилли.

И действительно было похоже, что снова началась война. Сначала Илько вошел в дом, и там была тишина. Потом из хаты вышла Бабушка, постояла на пороге и побрела к сараю.

Что она там забыла? Милка еще не вернулась из стада. Гапон тихонечко пошел следом. Бабушка вела себя странно, уселась на скамеечку для дойки, закачалась и замычала.

Гапону все это ужасно не понравилось, он подошел к скамеечке, осторожно тронул носом Бабушкину свисающую руку, потом подsunул под кисть голову и помотал головой вверх-вниз, чуть подбрасывая безвольную кисть, это означало: «я здесь, я с тобой, погладь меня». Нежности у них не были приняты — гладить там и все такое, но вообще-то они уже были, наверное, ровесники и столько их связывало! Вся жизнь, так что можно и погладить. И она погладила. Чуть-чуть, но он ощутил.

Она сказала что-то очень грустное про Катю, но и так было ясно без слов, что такое возвращение сына Кате будет совсем не в радость.

Пришел как вор, как те, что старались прокрасться незаметно, потому что от них прятались. Они *подписывали на лавриатов*, Бабушка их просто ненавидела, потому что они забирали деньги, а деньги Бабушка очень берегла. Вот и Илько пришел, будто решил *подписать их на лавриатов*.

Вечером Катя плакала, а потом послала Фомку за жившим неподалеку милиционером Шпаком. Гапон тоже сбежал до Шпака, во-первых, из любопытства, во-вторых, Шпака он уважал. Шпак был всегда спокоен, говорил негромко, собак не обижал и всегда что-то мастерил, если был во дворе.

Бабушка накрыла хороший стол, поставила *сулею* с мутной водой, которую все любили пить.

Катя и Шпак тихо разговаривали, а Илько все наливал себе и наливал, пока Бабушка не унесла *сулею*.

На следующий день Илько долго спал, потом чистил сапоги во дворе, прямо как Отто, — плевал, водил тряпочкой туда-сюда, пока сапоги не заблестели.

Бабушка что-то говорила сердито, не хотела, чтоб он уходил, велела дожидаться матери, но он Катю ждать не стал, а пошел из дома, уже при ремне и в военной форме. Ремень, значит, дружок принес, он приходил, и они с Ильком шептались за сараем и пили из бутылки.

Гапон, конечно, следом. Маршрут обычный — через Выемку к станции, потом через выгон к клубу. У клуба его ждали хлопцы, и они все вместе отошли в парк и там опять попили из бутылки.

Но в кино не пошли, а двинулись по шпалам к Куту. Маршрут знакомый. До армии Илько туда ходил часто, там жила его зазноба.

Гапон бежал низом по тропке и чувствовал, как тошнота подступает к горлу. Бегать на коротких лапах в его возрасте за такими здоровыми парнями уже было трудно, прихватывала одышка.

Но тошнота была еще и от предчувствия плохого. Очень плохого, на что был способен Илько.

В Куте, как всегда, было безлюдно и красиво. Несколько хаток среди садочков, маленький ставок с огромными ветлами на берегу, сосновый лесок, очень чистенький, будто его подмели и посыпали песком.

В бледном небе уже стоял тонкий месяц цвета осоки, что росла по берегам Сулы. Было тихо, видимо, Жук и его компания ушли в село к Клубу. Там всегда хоть что-нибудь перепадало: то огрызок пирожка, которыми угощали друг друга девчата, то кусок макухи, ее приносили со Сталинской. Пахло резедой, табаками и метиолой.

В одной хате в окне дрожал неверный свет керосиновой лампы, один из хлопцев постучал в дверь этой хаты. Другие вместе с Илько отошли за клуню. Это очень не понравилось Гапону, и он было решил *определить* их лаем. Но почему-то испугался. Много раз он вспоминал ночами в бессонницу этот миг, вспоминал со стыдом и отвращением.

На порог вышел Грицко — тихий возница председателя колхоза. Грицко на войну не ходил, видимо, потому, что иногда падал на землю и начинал выгибаться и хрипеть. Изо рта у него шла пена и кто-нибудь держал его язык. Странно, почему он жил теперь в хате, где жила и зазноба Илько, веселая учетчица Заготзерна. Но он жил как хозяин. Потому что стоял на пороге в исподнем, держа в руке керосиновую лампу.

Хлопец о чем-то тихо попросил.

Грицко повернулся в хату, протянул кому-то лампу, и сразу же раздался пронзительный женский крик, и зазноба Илька выскочила, закрыла собой Грицка.

Она кричала и отталкивала хлопца, но хлопец одним движением кинул ее назад в хату, отстранил Грицка и захлопнул дверь.

И тут из-за клуни вышел Илько и другие хлопцы.

Хлопцы окружили Грицка, а Илько вошел в хату.

Страшный крик раздался там, и в ответ на этот крик рванулся Грицко. Но хлопцы сдвинулись и держали его, видно, крепко.

Грицко бился в их руках, как курица, пойманная Бабушкой для борща, и вдруг вскрикнул жутко и стал обмякать. И таким же последним криком ответила ему женщина из хаты. Наступила тишина.

Кто-то из хлопцев выругался и попросил тряпку. Грицко выгибался на земле. Его исподнее то проявлялось белым пятном, то растворялось в темноте.

Хлопцы возились над ним, засовывая в рот тряпку.

Кто-то тихо вышел на двор соседней хаты, подошел к плетню и сразу же отошел в черную тень, но не ушел, Гапон чувствовал его присутствие.

— Обмочился, — сказал кто-то. — Херовина получилась, надо тикать.

И хлопцы вдруг как-то разом метнулись вбок и исчезли в темноте, их дыхание и запах махорки удалялись быстро.

Гапон осторожно подошел к Грицку. Тот лежал неподвижно, и от него сильно пахло мочой. Гапон хотел твякнуть. Подозвать того, притаившегося в темноте, но из хаты вышел Илько, и из раскрытой двери донеслись рыдания. Так горько плакали женщины давно — у сельсовета, когда дядя Ваня и другие уходили на войну.

Но в ту ночь он услышал еще раз такой же плач. Плакала Катя.

Гапон не стал провожать Илька, остался во дворе за клуней. Он видел, как после ухода Илька к Грицку подошел сосед, Гапон его узнал смутно: кажется, счетовод из сепараторного пункта. Ездит на вонючей тарыхтелке, оставшейся от немцев. У него жил тихий и доброжелательный Пушок.

Правильно угадал. Счетовод отнес Грицка в хату, оставался там долго, рыдания стихли, потом завел свою тарыхтелку и поехал по направлению к селу.

А Гапон постоял, послушал какую-то плохую тишину и пошел до дому.

Он ругал себя за то, что увязался за Ильком, не так уж молод, чтоб бегать ночью в Кут и обратно. Но на самом деле сердце жало предчувствие, что все еще не закончилось, что будет продолжение.

Илька дома не было, Бабушка с Катей ужинали, Фомка, видно, был в кино. Потом он вдруг прибежал, что-то слишком рано, — вряд ли кино кончилось, даже Бахмачский вечерний не приходил, а до Кременчукского и вовсе было долго.

Фомка пробежал через двор, обдав запахом большой тревоги и большой беды. Потом из хаты выбежала Катя и побежала по улице, за ней Бабушка, Бабушка кричала, звала Катю, потом села прямо в пыль, Катя повернулась и подбежала к ней. Потом Катя вела Бабушку в дом, а Фомка опять куда-то убежал.

Гапон чувствовал, что эта суматоха как-то связана с тем, что произошло в Куту, и ему было очень жалко Катю: ее душа металась, как у поросенка Васи перед гибелью. Бабушкина душа съежилась и корчилась от боли, про Фомкину не понял — так быстро тот убежал.

Вдруг опять пришел Шпак — очень строгий, очень чужой. Они не сели за стол, хотя ужин стоял почти нетронутый. Катя хватала Шпака за руки, потом вдруг упала перед ним на колени. Бабушка стала ее поднимать и снова, охнув, села на лавку.

Гапон подсматривал из сеней и был совершенно поглощен, поэтому не сразу услышал, что во дворе вроде бы чужой. Но это был Мальчик. Страшно возбужденный, он не мог перевести дыхания от быстрого бега и тайной радости.

Ушли в сад, и Мальчик рассказал, что Илько в Куту *снасильничал* ту, с которой гулял до армии, а его дружки держали мужа — припадочного Грицка, и теперь парни из Кута ищут Илька, чтобы его убить.

Они его, конечно, найдут, куда он спрячется в селе, и обязательно убьют, так что теперь не будет больше разгуливать по улице в блестящих сапогах, как немец. Так сказал утром отец хозяина Мальчика — старик Левадный.

Но всю эту чепуху, кто что сказал, слушать было совсем неинтересно. Потому что было очень тревожно за Катю и Бабушку, как они переживут, если Илька убьют. Илька не было жалко, потому что, во-первых, — военный, значит, смерти не боится, как Вилли, во-вторых, если хлопцы его бросили, значит, совершил гадкое.

Последнее время Гапон часто думал о смерти. Никого из его приятелей уже не осталось в живых: ни Мальчика, ни Жука, ни Пушка, ни даже соседского Фунтика, а ведь Фунтик был моложе, — никого.

Иногда он боялся смерти, иногда вроде бы — нет.

Вот когда была такая слабость, как сегодня, то, пожалуй, нет. Собачья глубокая старость вещь ужасная, он видел, никому не пожелает.

Ослепнув, выть часами возле почты, надеясь на людскую доброту, как выл Жук, выгнанный хозяевами. Нет уж, не надо.

Но околеть вот так, в неизвестности, под железнодорожным мостом тоже не хочется. Пусть уж Бабушка или Катя поглядят последний раз.

Пожалуй, хватит любоваться на рыбок, надо встать и идти на Сталинскую. В конце концов интересно узнать, отчего это так приспичило Кате ехать.

Бедная Катя. Илько так и не приехал больше никогда, а она так его любила.

В ту ночь произошло много странного и печального.

Сначала он разочаровался в Шпаке. Шпак ушел от Кати злой-презлой и, возвращаясь домой по улице Застанция, ругался хотя и негромко, но самыми гадкими словами. Совсем как те, что приезжали откуда-то торговать на базаре гвоздями и другими железками.

Он прошелся со Шпаком до выемки, надеясь встретить Илька или Фомку, не встретил и вернулся до хаты.

Дверь была закрыта, миска пуста, а ведь он не ел с самого утра. Он напомнил Бабушке, что голоден. Никакого результата. Он твякнул три раза уже требовательно: в конце концов он не так уж обременяет собой и за свою долгую непоколебимую преданность заслужил двухразовую скромную еду.

И Бабушка все-таки оказалась верна себе: что бы ни случилось, об обязанностях не забывать. Вышла и налила в миску нечто волшебное — суп с кусочками куриной

мякоти и кожи. Суп был наваристый, густой, вчерашний, сваренный по случаю приезда Илька. Но суп супом, а в раскрытую дверь Гапон успел заметить нечто невиданное — заветный Бабушкин сундук в горнице был открыт, и Катя копалась в нем. А ведь даже Вилли и тем более Отто не посмели шарить в сундуке. Заглянули и закрыли.

В сундуке лежало много неизвестного, но сверху что-то белое душистое, потому что посыпано было сухими цветами. Бабушка этим белым очень дорожила и летом вывешивала проветривать на тын возле старой хаты.

Да, старая хата. В ней была поэзия. Маленькая мазанка в одну комнату с окнами, обведенными синим, и странно, хотя в хате давно никто не жил, там стоял приятный запах, и Бабушка каждый год обновляла синюю обводку вокруг маленьких окошек.

В старую хату обычно помещали новорожденного теленка — смешное зрелище на тоненьких разъезжающихся ногах, с розовым мокрым носом. Смешное то смешное, но, когда однажды кто-то из девочек присел перед новорожденным бычком, тот сразу же попытался на нее взгромоздиться. Гапон тогда был очень удивлен. У него это прекрасное чувство появилось, кажется, в конце первого года жизни.

Сколько же ему теперь? Одно лето до войны, и после уже скоро будет восьмое, и война, говорят, была четыре лета, вот и выходит, что уже тринадцать. Для собаки немало, но маленькие, такие как он, Бабушка говорила, живут дольше.

А еще бабушка держала в сундуке *гроши*, всегда вытаскивала их тайком и ключ прятала. *Грошей* у Бабушки, как и у всех старух в деревне, было мало. Они приносили их в церковь завернутыми в носовой платок, перед тем как войти в церковь, доставали узелок из-за пазухи, долго развязывали корявыми пальцами и вынимали мятую бумажку или мелочь. Гапон в такие минуты стыдился Бабушки и злился на Катю. Все-таки у матери председателя сельсовета могло быть и побольше денег.

А в ту ночь Катя вытворяла что-то вообще несусветное: не таясь, вынула тряпочный сверточек, из него *гроши*, а бабушка делала вид, будто так и надо. Конечно, делала вид, он ощущал тайную тоску ее сердца, но не из-за денег, а из-за чего-то другого.

Катя спрятала деньги в свою потертую сумочку, надела жакет и пошла из дома.

Гапона охватило смятение: он хотел остаться возле Бабушки, и Катю нельзя было отпускать одну ночью, и любопытно было ужасно, куда это она собралась.

Он стоял в сенях, неуверенно помахивая хвостом.

— Иди с Катей, Гапон, — сказала Бабушка, — и он выбежал в темноту.

Катя шла быстро. Прошли Выемку, на станции уже гуляли по перрону те, что пришли к Кременчукскому. С Катей здоровались почтительно и даже заискивающе. Гапон любил такие моменты, ведь он выглядел не простой собакой на коротких лапах, а охранником председателя сельсовета. Но Катя на этот раз совсем не соблюдала величие: зачем-то заглянула в окна буфета, потом прошла по перрону. Гапон догадался — она ищет Илька. Тех хлопцев, что были с ним в Куту, на перроне не было, а то он дал бы знать, *определил* бы тьяком. Вообще-то *Определение* считалось в их собачьем кругу делом постыдным, но ведь Катя не знала об этом, а своих на перроне не было. Долго они ходили потом по темному селу, Илька не было ни возле клуба, ни возле сельсовета, — там, где горели лампочки. И вообще в селе было тихо, собаки нигде не переговаривались, и Мальчик куда-то провалился, уж он-то наверно-ка знал, где Илько.

Катя зачем-то пошла к школе, и когда пересекали Выгон, из темноты его окликнул Мальчик.

Он сидел возле хаты Калюжки вместе с Тузом, Жуком и тем тихим Пушком из Кута, что вскоре погиб под поездом. И как его угораздило!

О том, что произошло в Куту, они узнали от Пушка, было известно и то, что хлопцы из Кута шастают по селу, ищут Илька. Ищет его и Шпак. А Илько спрятался на нефтебазе на верхушке большой цистерны, похожей на огромную кастрюлю, и подобраться к нему невозможно, потому что он может скинуть любого с узенькой лестницы, ведущей на крышку кастрюли.

Надо же, они с Катей обошли все село, а Илько прячется недалеко от дома, прямо за кукурузным полем на нефтебазе, на которой нет сторожа, потому что давно

уже нет нефти. Гапон попросил ребят молчать, не реагировать на его лай и побежал догонять Катю.

Он догнал Катю, она медленно шла вдоль Выемки к дому. Перед самым кукурузным полем за их садом, там летом *москвички* прятались в землянке, он остановился у пролома в стене нефтебазы и начал визгливо лаять. Он сам был себе противен этим лаем, но заливался, уже почти захлебываясь. Нервный Пушок все-таки не выдержал и коротко ответил из темноты Калюжиного сада.

— Да замолчи ты, Гапон!— сказала Катя, и тотчас сверху донесся голос Юрка.

— Мамо, я здесь!

Все беды людей оттого, что они слишком долго любят своих щенят.

Любил ли Гапон своих? Знал ли их?

Один раз во дворе школы — бывшей барской усадьбы, что за Греблей, выскочил откуда-то коротконогий и залаял, изображая строгого хозяина.

«Знал бы ты»,— подумал тогда Гапон, холодно разглядывая его щенячью мордочку с маленькими блестящими глазками под щеточкой бровей. Тот еще немного полаял чисто автоматически и, повиливая хвостиком, робко приблизился.

Наверное, получился от той, что жила здесь неподалеку, на дворе сепаратора. Она тоже была застенчивой, а Гапон иногда ходил вместе с Бабушкой делать на сепараторе масло.

Хотел было спросить дурака, как мать, но подумал, что вряд ли тот помнит, кто его родил.

А люди — у них по-другому.

Всю ночь Катя провела около Илька на нефтебазе и, конечно, первым делом отдала ему деньги.

Гапон даже в темноте понял это, потому что ничто не пахнет так отвратительно, как деньги. Потом она ходила в дом и принесла еду и узел с одеждой, а на рассвете, когда из темноты стала выступать Гадячская гора, они пошли к станции.

Мальчик, Жук и Пушок все время были рядом, Гапон это чувствовал, но ничем себя не выдавали.

Они стояли в выемке, и Катя плакала, потом вдруг твякнул Пушок, и Гапон вздрогнул, Илько присел в бурьянах, а Катя отвернулась от дороги, по которой шел Гриша Овчаренко, держа в руках узелок с едой. От узелка вкусно пахло варениками с картоплей.

Все это означало, что скоро придет поезд и дальше до Кременчука его поведет Гриша.

Гриша шел, глядя себе под ноги, и даже не поздоровался, хотя не узнать Катю было невозможно, такой высокой и статной она была.

Когда поезд подошел, Катя все целовала Илька, а он отворачивался и уже душой стремился к вагону, стремился к движению. Ловко вскочил в последний вагон, вагон был пуст, даже проводник куда-то исчез, а бедная Катя стояла со стороны выемки, и слезы катились, катились и катились по ее румяным загорелым щекам. Ах, как не любил Гапон слезы! Они всегда предвещали дурное.

Илько скучал, глядя в окно, и ждал, когда же поезд, наконец, тронется, а вот ребятам было любопытно донельзя. Они даже потихоньку вышли из бурьянов и уселись на краю выемки.

Поезд ушел, обнажив совершенно пустой перрон, да и кто придет в такую рань, то ли дело вечером, прийти к поезду погулять, покрасоваться, походить по перрону.

И все же Гапону показалось, что в дверях багажного домика мелькнула красивая фигура Шпака. Мелькнула и отступила вглубь, в темноту.

Катя тихо и медленно пошла до хаты, а Гапон притормозил около ребят, чтобы поблагодарить за молчание. Пушок, конечно, был расстроен, что *определил* Гришу, но глупый Мальчик сказал, что ерунда, Гриша их не видел, а умный Жук сказал тоже, что ерунда,— Гриша видел, но это не имеет значения, потому что Илько уехал и больше никогда не вернется.

Катя наплакала все-таки новую беду: в самом начале весны вернулся Дядя Ваня.

Гапон не узнал его и не хотел пускать во двор. Человек пинал его жутким

сапогом, и когда вышла Бабушка и обняла Дядю Ваню, Гапону стало очень стыдно за свою оплошность.

Но ведь и Дядя Ваня не узнал его, а кроме того, от него шел такой ужасный запах! Бабушка, конечно, тоже почувствовала этот запах (у нее вообще был отличный верхний нюх) и, пока ее любимчик Сережа бегал за Катей, она согрела огромные чавуны воды, и Дядя Ваня стал мыться в старой хате.

Странно, но как-то сразу его стали называть уже не Дядей Ваней, а Иваном.

Когда прибежала Катя, Бабушка кивнула на старую хату и сказала:

— Иван, там, он моется.

И Катя как-то долго и внимательно посмотрела на мать. Правильно посмотрела. Уже в тот же вечер все стало ясно.

Собрали людей. Крутили патефон «Дядя Ваня, хороший и пригожий». Иван сидел во главе стола, и постепенно Гапон начал вспоминать его. Но только раньше за этими большими губами вспыхивали очень белые и ровные зубы, а теперь — черный провал, на высокий лоб спускался красиво уложенный чуб, а теперь торчит какой-то жидкий хохолок, и главное — глаза: они больше не были блестящими, а стали какими-то зеленовато-мутными.

Сначала все было ничего.

Патефон пискляво пел про пожарника-ударника, за столом говорили негромко, но наливали часто, и почему-то не оставляло ощущение, что добром это все не кончится. Так и вышло.

Гапон задремал под столом, наевшись прохладного холодца, который уронил уже неверной рукой начальник заготзерна по имени то ли Груздь, то ли Гудзь. И до удачи с холодцом перепало неплохо: хорошая куриная косточка с хрящиком, конец колбасы с веревкой, но и с кусочками пахучего сала, веревку, конечно, выплюнул, а салом наслаждался, растирая языком по небу.

Ему снился Вилли. Вилли стоял посреди двора в своих блестящих сапогах, белой рубашке без воротника и щурился на солнце.

При этом в одной руке, поднятой вверх, он держал ужасную гадость — черный пистолет. И вдруг пистолет выстрелил, раздался жуткий грохот, Гапон вскочил, затряс головой. Но грохот не приснился, он был наяву. Это Иван сдернул скатерть вместе с посудой и едой. На глиняном полу валялись кружки волшебной колбасы, куски студня, утиная нога, — хватай, что хочешь. Но Гапон почел неприличным в своем доме пользоваться бедой. А беда была. Иван кричал жуткие слова, топал огромными сапогами, Бабушкины ноги вытанцовывали рядом. Иван и Бабушка боролись. Потом подскочили сапоги Шпака. Все кричали, но громче всех Иван.

Потом он сидел на лавке, а Шпак держал его за плечи.

«Это только начало», — подсказало предчувствие. Правильно подсказало. Наступил позор. Именно так ощущал он новую жизнь.

С утра Иван ходил хмурый и лучше было не попадаться ему ни на глаза, ни под ноги.

К вечеру начинал собираться в село. Да и не в село даже, а в станционный буфет. Бабушка плаксивым голосом отговаривала его, он даже не отвечал. Прилизывал свой редкий хохол и шел к станции. Гапон никогда не ходил за ним. Зачем? Только позориться. Иван ведь будет потом лежать на полу буфета, пока за ним не придет Катя или Фомка.

Мальчик сказал, что Иван был в плену и в лагере, об этом говорили у Левадних. В селе все очень жалели Катю, но и новый оттенок появился в отношении к ней, оттенок покровительственного презрения. Теперь все считали себя выше ее. Да и как было не считать, если Иван иногда бушевал так, что приходилось звать на помощь Гришу Овчаренко или, если Гриша был в рейсе, — старого, но крепкого еще Гусаря. Каково это было бабушке, ведь и Гриша и Гусарь были штундистами. Тогда он понял, что самое мучительное чувство не голод, а стыд.

Но куда было деваться, Фомка и Бабушка не могли защитить Катю, когда Иван сшибал ее на пол и бил ногами. Гапон попытался укунить, но получил такой удар в бок, что болел и долго отлеживался в сарае. Бабушка даже поила его парным молоком, а все равно, что-то сломалось внутри и не было прежней легкости. А может, годы подошли...

А самым подлым было бросание всего подряд в колодец. Бабушка кричала: «Ратуйте добрые люди!», а Катя стала прятаться.

Один раз Иван схватил его и тоже хотел бросить в колодец, отняла Леся.

Да, приезд москвичек. Зря они приехали в то последнее лето.

Иван заставлял их вязать снопы в поле за садом, им было больно ходить босыми ногами по стерне, а он кричал: «Живей, живей! Невелыки панночки!». А еще он называл их нахлебниками.

Но потом они сообразили и стали с утра уходить на Сулу. Но однажды вечером, когда они сели за стол, Иван очень спокойно сказал: «А ну геть, нахлебники! Здесь вам не санатория, надо работать».

— Сам уходи,— сказала Катя.— Вот тебе гроши и уходи.

— А я у себя дома.

Москвички уехали очень скоро после этих слов, да и лето выдалось, какого ни до, ни после не было. Все время мелкий морозящий дождь, и туманы, туманы... На Сулу ходить невозможно, и они, бедные, целыми днями сидели в сарае, чтоб не попадаться на глаза Ивану.

Играли в карты и в игру «Барыня прислала сто рублей», где «черное и белое не берите, да и нет не говорите».

Он лежал, положив морду на колени Лесе, и всем сердцем ощущал, что это их последнее лето, что больше он Лесю не увидит.

В то лето она стала пахнуть как взрослая женщина, как пахли Тамара и Ганна. В некоторые дни этот запах усиливался и даже переходил в приторно кровавой.

Это странно, но, будучи ровесниками по годам, по возрасту, они были совсем разными: она в тринадцать лет только начинала жить, его жизнь близилась к концу. Приступы тошнотной слабости становились все чаще, все больше хотелось дремать где-нибудь на солнышке в уголке, и постепенно исчезало неутомимое любопытство ко всему неизвестному.

Хотя вот сегодня все-таки потащился зачем-то за Катей. Потащился по той дороге, по которой поезд навсегда увез Лесю.

Они уехали на вечернем Бахмачском, молчаливые и печальные. Им не хотелось возвращаться домой, но и в хате Бабушки и Кати уже не нравилось жить.

А вскоре после их отъезда Ивана задавила «Овечка» Гриши Овчаренко. На рассвете был сильный туман, и Гриша не увидел лежащего на путях Ивана.

Ах неохота об этом вспоминать! Надо идти. А зачем идти? Чтобы узнать, зачем Катя поехала на Сталинскую. Может, Илька встречать? Непохоже: не было в ее душе материнского ликования.

Как не было горя от смерти Ивана.

И даже тайную радость чувствовал Гапон в ней, и понимал ее, потому что самое горькое чувство — стыд, а она стыдилась мужа перед соседями, перед Фомкой, перед москвичками, перед всем селом. Ивана изменила война, как изменила и Вилли, и даже Бабушку. Но Бабушку совсем немного и в лучшую сторону: она стала не такой экономной, чтобы не сказать жадной.

Рыбки перестали его бояться и скучились возле самого бережка маленькой речки. Они разглядывали его из воды и что же видели?

Седую рожу четырнадцатилетнего старика. Даже мохнатые брови, которыми он так гордился, поседали, седыми стали и усы. Усы тоже были большими и густыми, как у Гриши Овчаренко или у того дядьки, чей портрет Бабушка сегодня утром почему-то сняла со стены, чем вызвала недовольство Кати.

— Рано, — сказала Катя.— Рано радуешься.

— А мени обрыдло. Я не радуюсь, ничьей смерти радоваться нельзя, но мени обрыдло що вин тут висить. Ни батько, ни дядько, а висит...

Он всегда любил запах креозота, которым пропитывали шпалы, а сейчас что-то тошнило от этого запаха. И опять в лапах нету силы.

От блеска рельс слезятся глаза. Иди, иди! Уже недалеко. Видна труба сахзавода и первые хаты окраины.

Ивана не стало осенью, когда яблоки падали и падали в саду, и тогда же Фомка уехал в Москву учиться, и они остались втроем.

Мерзкий Фомкин Зайчик куда-то исчез, и Катя огорчалась этим обстоятельством, потому что Фомка, уезжая, поцеловал Зайчика и велел его беречь, а Бабушка

совсем не огорчалась, то ли потому, что Фомка забыл поцеловать ее, то ли из-за обратной привычки Зайчика сосать свой член.

Зимой его стали пускать на ночь в хату — привилегия старости. Катя с Бабушкой спали на печи, а он — под столом, и по ночам ему все чаще стал сниться Вилли и какая-то незнакомая большая белая собака.

Собака гонялась за ним, Вилли ездил на громко трещащем мотоцикле, и от страха он просыпался с бьющимся сердцем и слушал до рассвета Бабушкин клекочущий храп.

Что-то страшно взвыло позади, он еле успел отскочить. Занятый мыслями, не заметил дрезину. На дрезине сидели музыканты с трубами и один с красивым аккордеоном. Точно такой привез с войны отец хозяина Мальчика. И еще кто-то в селе привез такой же, и играли они на своих перламутровых красавцах часто одну и ту же мелодию под названием «Розамунда». Иван эту Розамунду слышать не мог, его трясло и корежило.

А эти, подъезжая к станции, вдруг затянули душераздирающую мелодию. Вот этого он терпеть не мог. Никогда не ходил на похороны из-за такой музыки. От нее сводило скулы в жуткой зевоте, заканчивающейся насильственным подвывом. Этот глухой подвыв вылетал помимо его воли и был ужасен.

Вот и теперь пасть открылась поневоле, и он втянул воздух с низким протяжным звуком. Только этого не хватало!

Оркестр слез с дрезины и пошел в сторону заводоуправления.

На фасаде заводоуправления висел портрет Гриши Овчаренко, только очень сурового и с черной лентой наискось лба.

Знакомых собак не было, возле крыльца крутился молодняк, Кати тоже не было видно. Надо идти к тому дому, где живет *Прыпыганда*, Катя, наверное, там.

Издали увидел ее брочку и справных сельсоветовских коней, хотел прибавить, но ноги вдруг совсем перестали слушаться, а сердце ухнуло и замерло, потом затрепетало муторной дрожью.

Он лег, чуть не дойдя до брочки. Катя увидит и, может, заберет, чтоб похоронить дома в саду. А может, не заберет.

Это о нем Бабушка сегодня сказала: «Собаке собачья смерть». Она знала, что он сегодня умрет, но что она имела в виду под собачьей смертью? Этот пыльный выгон или одиночество?

Опять играет эта ужасная музыка и что-то делается с дыханием. Как будто пасть кто-то зажал. Так дети делали во время игры, идиотская манера... Но сейчас не игра.

Земля уже не холодная, весна ранняя в этом году.

Скоро, наверное, Пасха, будут забивать поросенка, хорошо, что с нынешним нет контактов, он в юности усвоил урок с бедным Васей и с тех пор, как Амасис с Поликратом, — никаких отношений в преддверии вечной разлуки.

После *забивания* будет масса всякой вкуснотищи, особенно кровяная колбаса, один раз в детстве стянул, за что получил хорошую порку, но, постарев, Бабушка стала добрее и не забывает угостить и его тем, кровяным и немислимо вкусным, каким набивает кишки.

Он вспомнил, каким ярким был мир, во времена его щенячества.

Вот он сидит на пороге кухни, как суслик возле норки, но только еще сосредоточенней, еще напряженней, — нельзя пропустить момент, когда Бабушка уронит кусочек. Кухня полна чудных ароматов, в печи что-то кипит. Ее устье напротив окна, в которое льется холодный розовый свет заката, а из угла, что напротив двери, льется другой свет — теплый и желтый, он горит всегда, и перед ним Бабушка каждый день становится на колени, как на огороде, но ведет себя по-другому: руками ничего не делает, а только кланяется, благодарит, значит.

Я тоже должен поблагодарить кого-то, кому-то лизнуть руку, потому что это мой последний час. Что-то уходит из меня прямо в землю, и это что-то — моя жизнь. Вот с ней и надо попрощаться, раз уж не удалось с Катей и Бабушкой...

Я прощаюсь и благодарен. Благодарен за все и за кровяные колбаски в том числе, за куриные хрящики... за сучек, за детей, которые приезжали летом. За Катю, за Лесю, за Бабушку за... и за Вилли тоже, за яблоки, которые падали и падали в саду...

Александр Тимофеевский

Москва—Будапешт—Рим

/

* * *

Я последний в отделе
Из оставшихся в живых.
Шесть умерших, в отдаленье
Еле-еле вижу их.
Как ведется, на рассвете,
Отступая в далеко...
Плачут жены, плачут дети
Оттого что нелегко.
Отступая в край нездешний,
Где ни тропок, ни дорог.
Боже, я великий грешник,
Объясни, в чем твой урок.

Вариации

Л. Костюкову

«...Зверинец расположен в парке...»

«...О, знал бы я, что так бывает...»

Б.Пастернак

1.

Зверинец расположен в парке
Вокруг со всех сторон овчарки
А мы находимся внутри,
Захочешь — в дырочку смотри.

2.

О, я не знал, что так бывает,
Об этом вдруг не узнают,
Об этом просто знать не знают,
Пока щебечут и поют.

Но, уподобившись дитяти,
Природа ловит нас в сачок,
Когда пространство еле тянет
И время делает скачок.
А старость — что такое старость,
Во всяком случае, не Рим,
А то, что от тебя осталось,
Причем остаток этот мним.

Даси

Ищу, не нахожу и снова
Ищу на полках словарей:
Даси — утраченное слово —
Мне неутраченных милей.
И в страсти той неуголимой,
Как встарь велосся на Руси, —
Даси, — я говорю любимой, —
Любимая, ты мне даси?

* * *

Уставшие от придорожной пыли,
Мы забрели в приморский ресторан
И, как Вертинский, там лениво пили —
Такой у нас был в этот вечер план.
И мы болтали о каком-то вздоре,
Настала ночь, и мы пошли домой.
Мы оглянулись — сзади было море,
Как черный бархат с белой каймой.

//

* * *

Полечу, рече, зигзицею
Слово о пл Ёку Игорев Ъ

Полечу я птицей по Дунаю,
Навещу я Кароя Чеха.
Карой стол накроет дубовый.
Сядем пить венгерские вина,
Но пригубим самую малость,
Упиваться будем стихами,
Смаковать станем каждое слово —
Я по-русски, Карой по-венгерски.

Из Кароя Чеха

Перевод с венгерского

1.

В безделье убиваем время,
живем — следа не оставляя,
мы, как кладбищенские мухи,
на позднем солнце прожужжав,
оставим грязь
на мраморе гробниц.

2.

Господь и рад
спуститься с высот,
да боится встретиться с нами:
не Христа-Спасителя ждет народ —
а спасителя ждет
с деньгами.

3.

Перекрестившись, две тропинки
Спешат благословить восход.
А в небе то ли птички тинькают,
То ли душа твоя поет.

4.

А свет над кладбищем не тот, что над селом,
В нем есть таинственное что-то,
Имеет он над нами власть.
И души в свете том,
Как листья осени, готовые к полету,
Стремятся воспарить, чтобы затем упасть.

III

Палантинские холмы

Здесь боги, несомненно, ближе нам,
Душа дыханьем их полна,
Зане Юпитером насижена
Твердь Палантинского холма.
Здесь беспорядочно навалены
Осколки счастья и тоски,
Руины, дребезги, развалины,
Тысячелетий черепки.
Здесь жили римлян прародители,
Сюда ступала их нога.
Не видно только их спасителей —
Крикливых, глупых — га-га-га!

В ожидании варваров

Ремейк Константиноса Кавафиса

Почему мы сидим на форуме и ничего не делаем?
Потому что придут варвары и все сделают за нас.
Варвары должны прийти к нам сегодня.

Почему первый Консул стоит у ворот Рима,
Ладонь прижал к козырьку и смотрит вдаль?
Варвары должны прийти к нам сегодня.

Почему наш Консул развесил повсюду портреты Дуче?
Потому что считает, что варварам Дуче придется по вкусу.
Варвары должны прийти к нам сегодня.

Почему он держит в руках список нежелательных лиц?
Варвары должны прийти к нам сегодня,
А варвары знают, как поступать с такими людьми.

Почему на Виле Боргезе срубили все пинии?
Варвары должны прийти к нам сегодня,
А варварам нравятся больше осины.

Почему в церкви Сан Луиджи деи Франчезе не стало трех картин Караваджо?
Потому что варварам нужно место для рекламы прокладок.
Варвары должны прийти к нам сегодня.

Что за толпа бежит по городу с криками — Вау,
Сжигая машины и насилая женщин,
Неужели пришли, наконец, долгожданные варвары?!

Ах, нет! — это бегут горожане,
Огорченные тем, что варвары так и не появились.
Понятное дело, ведь приход варваров был бы для нас спасением.

Баллада о вилле Боргезе

На вилле Боргезе
Чудесные бродят коты
С пятью или больше ногами,
А многие даже с рогами,
На вилле Боргезе.

На вилле Боргезе
Так сильно влиянье луны:
Гипноз посылает на виллу прелестные сны.
Их нам выдают по заказу,
Плохих я не видел ни разу
На вилле Боргезе.

На вилле Боргезе
Повсюду растут мандарины
На вилле Боргезе
Под ними сидят синьорины.
Какие движенья и дивные формы, и стать!
И каждая хочет подружкою вашею стать
На вилле Боргезе.

Над виллой Боргезе
Все время клубится туман,
И ты понимаешь, что это мираж и обман:
И сны, и коты, и подруги,
И все, что мы видим в округе
На вилле Боргезе.

У фонтана Бродского

Четыре неподвижных черепахи
Лениво останавливают время.
Тень рыжего над римскою водой.
На древних стенах след тысячелетий,
И незачем идти,
Чтобы увидеть что-нибудь другое.

Сухбат Афлатуни

Год Барана

Макамы¹

Несколько лет назад из Бухары ехала машина марки «Нексия».

Лето, вечер, дорога через пустыню. Жара неохотно спадает. В машине шофер и четыре клиента, которых он подобрал в Бухаре и теперь везет в Ургенч со средней скоростью 110 км/ч, кроме тех случаев, когда нужно объезжать барханы, наплывавшие на асфальт. Тогда он сбавляет скорость до 80 и цыкает языком.

Рядом с шофером начальник. Внешность такая, начальника. За внешность и посадили вперед, или сам сел, никто уже не помнит, жарко было. «Москвич», почему-то подумали про него все в машине, непонятно почему, просто подумали. Пока солнце над горизонтом, он щурился, отворачивался к окну. Из окна ветер, вначале горячий, потом, когда солнце упало за пески, теплый, все прохладнее, так что вначале хорошо, потом холодно. Москвич высовывал руку, ветер играл с его ладонью, толкая назад, как бы пытаясь отделить от ее тела. Москвич согнулся к наружному зеркальцу и высунул язык.

Сзади, склеившись бедрами, сидят еще трое. Две женщины и мужчина.

Одна женщина спит, другая — в окно. Та, которая в окно, некрасива и знает об этом, и от этого кажется еще некрасивее. Обручальное кольцо на пальце — просто перстень, повернутый камешком внутрь. Некоторые так делают, когда не хотят, чтобы к ним приставали, или просто боятся.

Что это кольцо — не кольцо, успевает заметить сосед рядом, по внешности казах или кореец. Он все замечает. И высунутый язык впереди в зеркальце, и перевернутый перстень. Любит наблюдать. Наблюдать, как хлопковые поля и дома исчезали, тутовник заменился саксаулом. Наблюдать за рукою переднего, торчавшей из машины. Стемнело. Пилить еще часа четыре. Говорит водителю:

— Музыка есть?

Водитель мотает головой.

— А радио?

— Пустыня!

— Пустыня. Хорошо, а волки здесь бывают?

— Лисы есть.

— А кобры?

— Наоборот.

— А еще кто?

— Суслик. А вы сами откуда? — спрашивает, в свою очередь, водитель.

— Из Ташкента.

— Понятно. У меня там родственники. А вы откуда?

— А это что за памятник? — снова мужчина сзади.

Что-то белое пронеслось в окне.

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — прозаик, поэт, критик, эссеист. Получил Первую Русскую премию в 2005 г. за опубликованный в «ДН» «Ташкентский роман». Наш постоянный автор. Последняя прозаическая публикация в «ДН» — рассказ «Остров Возрождения», № 9, 2009. Живет в Ташкенте.

¹ Макамы — средневековые арабские плутовские повести, рассказывающие в утонченной стилистике о проделках талантливых и образованных мошенников.

— В этом месте террористы автобус захватили. В девяносто девятом, кажется.
— С пассажирами?
— Ну.
— А что пассажиры?
— Все. Когда захват. Сначала снайпер с вертолета — водителя, чтобы не ехал, куда те приказывали. Потом захват, ну и все того.
— Да... — голос женщины. — Ехали люди, и дети. И такое случилось. Кто мог знать?
— Я думаю, правильно сделали, — говорит водитель. — Пусть террорист знает. Раз вы так, мы — тоже так. Автобус потом в песок закопали, такая история. И крови внутри много, и этого всего...
— Остановите!
Это снова женщина с «кольцом».
— Что?
— Остановите, пожалуйста, выйти нужно.
Полусогнувшись, пошла к барханам.
— Нервная, — сказал водитель. — Желудок, или еще что-то.
Кореец не ответил. Стоит возле машины: закурить — нет?
Пустыня, незаметная во всем объеме из машины, охватила его.
— Звук...
— Песок остывает.
— Пойду тоже.
Водитель кивнул. Что такое мочевого пузыря, шоферу объяснять не надо.
Мужчина отошел в пески. Идти мягко, как по одеялу.

Увидел ее. Думал, пошел в противоположную сторону. И вот встретились, надо же. Она тоже заметила его. Подошла, проваливаясь каблуками.
Он заметил в ее руке — в той, где «обручальное» кольцо, сигарету.
— Вы курите?
— Почти нет.
— Меня зовут Тельман. Тельман Ким.
— Странное имя.
— А вас?
— Принцесса.
— Красиво.
— Давайте пойдем. В какой стороне машина, помните?
— Машина? Там. Там, где дорога.
— А там что?
— Где?
— Ну вон там, где что-то едет.
— Тоже дорога, наверное. Только я пришел оттуда, значит, нам туда.
— На автобус похоже.
— Какой автобус?..

Водитель склонился над мотором:
— Приехали.
Из передней дверцы вылез Москвич:
— Э, ая, что значит «приехали»?
— Значит, приехали.
— И что теперь?
— Все.
Ткнул в мотор.
— А когда брал нас, не знал, что ли?
— Откуда?! Надо другую машину остановить. Я договорюсь. Мне только за бензин заплатите.
— Какой бензин? Эх, еще матч сегодня! Давай, лови. Лови, давай, может, еще успею. Блин, еще мобильный не берет!

- Сдохли они все, что ли? Полчаса — ни одной машины.
- Может, перекрыли. Бывает.
- С двух сторон?
- С двух сторон. Бывает.
- А зачем?
- Кто знает? У начальства свои мозги. Может, не перекрыли.
- А почему машин нет? Полчаса стоим.
- Сестра, откуда знаю! Дорогу перекроют — нет машин. Бензин не завезут — нет машин. Еще чего-нибудь — нет машин.
- А другой дороги здесь нет?
- Другой нет.
- А мы видели.
- Что?
- Автобус. По другой дороге ехал. В той стороне.
- Водитель молчит.
- Давайте познакомимся.
- Тельман, журналист.
- В газете? — поглядывает Москвич.
- Интернет.
- А... Сайты. А о чем пишете, не секрет?
- О жизни. Репортажи, интервью. А вы кем работаете?
- Нефть, — говорит Москвич. — Нефть.
- А меня — Принцесса.
- Вам холодно?
- Ноги чуть-чуть затекли. Устала сидеть, пройдуся.
- Я тоже.
- Справляюсь сама.
- Лучше я с вами. Ночь все-таки.
- Да.
- Красиво здесь.
- Это что?
- Луна.
- Не похоже.

Саксаул горел хорошо, ветер играл огнем. Они сидели вокруг костра и глядели на пламя. Глядели в сердце костра. В желудок костра и голубоватые кишки костра, в которых обугливались и загибались непереваренные ветви.

Костер был Бараном, огненным Бараном, согревавшим их своей шкурой, золотым руном. Обжигающий жир Барана пузырился на ветвях саксаула, отслаивался жирным пеплом. Иногда сквозь огонь глядел глаз Барана, пока глазное яблоко не лопалось на огне, стреляя в темноту золотым соком.

Их стало четверо, спавшая женщина проснулась, обиделась, ушла. Ей предлагали остаться, чтобы не ходить ночью одной. «Там дальше еще одна дорога», — сказала женщина. «Нет там дороги», — сказал водитель. «Есть». — Повернулась женщина, уже уходя. Продолжения не было. «Если хочет, пусть гуляет». — Махнул водитель.

Чтобы переждать ночь — стало ясно, что машин уже не будет, — решили рассказывать истории. Так предложил Тельман. Они почему-то согласились. Не сразу стало понятно почему. Начала Принцесса.

Принцесса

Родилась в Самарканде, в семьдесят девятом, месяц февраль.

Первый раз полюбила в четвертом классе. Он, тот, кого она, был в восьмом. Она страдала, очень развитая уже была, почти готовая женщина. У нее была подружка, тоже влюбленная, в другого, так подружка что придумала. Выдрала из тетрадки лист,

намазала губы помадой — и к листу. Подложила своему, в которого была, и стала ждать, что получится. Дождалась, он посмотрел на нее, сходили в кино с мороженым.

Принцессе тоже так захотелось. Помады у нее не было. Без помады губы оставляли только жирные пятнышки, догадаться по ним о чувстве было невозможно. Нашла ручку с красным стержнем. Паста кончалась, она долго царапала стержнем губы. Приложила бумагу. Поддержала. Посмотрела. Заплакала. Кривой отпечаток. Губы болели.

Она сидела в спортзале, пахло ремонтом, темнело, здание было пустым.

Рядом банка с красной краской, от запаха или от слез болела голова.

Посмотрела на банку. Потом на краску. Потом быстро обмакнула в нее палец, провела по губам. И еще раз. Прижалась губами к тетрадному листку. Здесь и здесь. И еще здесь, чтобы понял. Получилось хорошо. Ярко.

Стала стирать краску с губ. Краска не стиралась. Не смывалась водой. Оставался вкус химии, и тошнило. Ничего. Со стороны будет казаться, что помада. Пошла домой.

«Девочка, что у тебя с губами?» — спросили в автобусе. Выскочила на первой остановке. Втянула в себя губы, борясь с тошнотой, стала ждать следующий.

Дома, к счастью, никого не было. Только бабушка. Которая ничего не видела.

Утром Принцесса сразу достала из портфеля заветный листок. Краска, которая вчера показалась ей красной, при солнечном свете оказалась коричневой. Темно-коричневой, как... ну, как... ну что вы все смеетесь?!

Листок с коричневым отпечатком гулял по классу.

Она пыталась вырвать. На переменке остатки краски счищали с губ ацетоном. В хранилище кабинета биологии. Рядом со скелетом, которого постоянно принимали в пионеры, повязывали галстук на шейные позвонки, соединенные проволокой.

После третьего урока ее вызвала Завуч.

Завуч была худая, похожа на скелет с галстуком. Хотя галстук носила не она, а пионервожатая, толстая, тайно курящая, чтобы избавиться от жира.

«Сама меня потом благодарить будешь, — сказала Завуч. — Тем более, из района десять штук прислали, вот-вот комиссия придет, за все надо отчитаться. Так что и честь школы заодно спасешь, и свою собственную».

Достала из сейфа железяку.

«Так... "Сыктывкарский завод спортивного инвентаря". Не московские, значит... А куда московские подевали? Ну ладно, что ж теперь! Главное, чтобы не натирало. А будет натирать — привыкнешь. "Пояс подростковый гигиенический, для дев., 1 шт." Что стоишь, смотришь? Снимай колготки! Комиссия, говорю, ожидается, снимай колготки, по-русски понимаешь?»

«Что это?»

«Что? Я ж сказала: экспериментальный гигиенический пояс. Вот. Для дев., один штэ. Тебе что, мать ничего не говорила про пояс невинности?»

«Кого?»

«Невинности! Куда родители смотрят — все школа за них должна, все школа должна. А потом удивляемся, откуда кругом курение и аборт!»

«Что?»

«Ничто! Не прикидывайся. Снимай колготки! Распоряжение горono, мне еще девять поясов, это вообще ваших классных работа или медпункта. А всем на все наплевать. И что комиссия, и трубу прорвало. Ты долго еще будешь стоять?»

«Нет... не надо!»

«Потом сама спасибо еще скажешь! Родители спасибо скажут! Поклоняться школе! До земли. Земной поклон школе. Они же теперь спать спокойно будут, как люди!»

«Они и так... спят...»

«А теперь будут еще и спо-кой-но! Да что я тебя уговариваю... Всем, у кого проблемы с поведением, — пояс!»

«Я исправлю! Я обещаю...»

«Поздно, милая моя. Вот — пояс, вот — инструкция. Держи. Завтра еще эта

комиссия... И давай по-хорошему. Это только первая партия поясов, мы еще всю школу в них нарядим! Вы еще... вы еще сами модничать станете друг перед другом! Хвастаться!»

«А мальчиков — тоже?»

«Нет. Для мальчиков еще нет. Они будущие защитники, у них все по-другому... Ну что ты смотришь? Ну, вот инструкция, сама почитай! И по-маленькому сможешь ходить, и купаться без проблем. И размер немного увеличивать. Что, думаешь, они там дураки в Москве? Все продумали! Да, вот так... Не дергайся! Стой ровно, говорю! Да не смотрю я на твои трусы, нужны они мне сто лет! Вот... Смотри как удобно! Теперь ключик... Та-ак! Ключик я себе оставлю, доучишься, я его тебе лично после выпускных экзаменов вручу. В запечатанном конверте, когда в институт поступишь или техникум, отнесешь по месту учебы, пусть у них дальше за это голова болит! И не подумай это с себя содрать, первая же медкомиссия... Ну аж взмокла... Поняла? Ну, что надо сказать? Что, говорю, сказать надо?!»

«Спа-сибо...»

Пояс натирал. Особенно, где застежка. Она терпела. Ложилась спать в одежде, чтобы не заметили. Мать спрашивала: «Что не моешься?» — «Моюсь». Мать что-то почувствовала и потащила в баню. Пока шли туда, Принцесса все думала, что скажет мать, когда увидит это «украшение». Что подумают другие люди в бане. Тогда она сказала, что у нее горло болит и живот. «Туда придем, дам таблетку», — ответила мать. И они пришли туда. «Что это?» — «Пояс... пояс...» «Если дали в школе, значит, надо, — успокаивала мать, — ради хорошего аттестата потерпи». Принцесса обещала. Когда они вышли из бани, мимо проехала поливочная машина, облако мокрой пыли накрыло их. Мать долго переживала, что зря ходили, и грозила уехавшей машине кулаком.

А потом Принцесса привыкла. Привыкла к запаху ржавчины и мочи, к мозолям. К надписи «Сыктывкарский завод спортивного инвентаря», которая стала ей как родная. Даже удивлялась, как жила без этого. Учиться стала лучше. Ее освободили от физкультуры. Всех, кто имел пояс, освобождали и записывали в спецгруппу, которой не было. Вместо физкультуры они курили, хотя она не курила, а просто смотрела на дым. Мальчик, которого она все еще любила, окончил школу, ушел в армию, занял там первое место и сломал колено. Об этом он писал из армии. Но не ей.

«Напрасно ждешь. — Подружка пускала ртом серые обручальные кольца. На нее тоже хотели нацепить пояс, но мать купила ей справку. Один раз призналась, что у нее уже было это. «И... как?» — спросила Принцесса, чувствуя, что пояс становится ледяным. Подружка улыбнулась. Потом расплакалась: «Лучше бы... лучше бы на мне был пояс».

В институт Принцесса не поступила. Села решать тесты и не смогла. Пояс давил на все, даже дышать было тяжело и неудобно. Думать вообще не получалось. И провалилась.

Пришлось в училище. Поступила, отнесла туда ключ от пояса, ключ приняли, отметили в журнале, пожелали учиться на хорошо и отлично. «Ду-у-ра, — сказала ей подруга. — Ну ты и дура! Надо было по дороге копию ключа сделать!». Разочарование в физических отношениях у подруги уже прошло, она стала одеваться, начались мальчишки. А Принцессу с ее поясом определили в спецгруппу, которой снова не было, были сигареты на заднем дворе, но она не курила, только смотрела, и снова из-за пояса. Ей казалось, если пояс, то нельзя. «Ты — кусок льда», — говорила ей подруга.

Она не была куском льда. Просто все еще любила того, из восьмого «Б». Ради которого целовала бумагу половой краской. Из-за которого носила этот пояс, который был ей уже тесный, а где на размер побольше меняют? А тот уже вернулся из армии, она его издали видела, даже помахать хотела.

На третьем курсе их забрали на хлопок. Думала, с поясом ее оставят. Нет, наоборот, говорят, гарантия, что вы там дров не наломаете.

На хлопке было весело. В бараке играл магнитофон. Иногда ребята, парни, приходили, хотя было запрещено, потому что ребята, понятно: сначала хорошие

слова, потом сразу руки. Но Принцесса дала понять, и к ней не лезли, а что сгущенкой из-за этого не угощали, не надо, не умрет.

Только один раз, когда плов готовили, был один парень, она чувствовала, что ему нравится, и он тоже к ней подошел. Когда готовили, только смотрел, а когда все съели, то осмелел. Привет — привет. Вначале все шло нормально, они сидели над арыком и разговаривали как люди. Солнце садилось, она мерзла, было приятно, что рядом что-то теплое и нормально разговаривает. Жаль, что парни не могут просто разговаривать, им всегда еще что-то нужно. Начались губы. Она лицо отвернула, а он губами в затылок, в шею, куда попало. А это уже стыдно. Оттолкнуть неудобно, подумала: расскажу о поясе, может, уладится. И рассказала.

«А я знаю, — сказал он дыша. — У нас пацаны их без ключа открывать умеют, специалисты».

«Как без ключа?» — испугалась Принцесса.

«Просто. Чик! Хочешь, узнаю».

«Не надо...»

Он помолчал. Сплюнул в арык, розовый от вечернего солнца, от плевка пошли круги.

«Поцеловать в губы хотя бы дай... Намордник же на тебя не надели!»

Принцесса представила себя в наморднике и заплакала.

Солнце село, вода в арыке погасла. Парень ушел, оставил на ней свой чапан. Наверное, ходит сейчас по полям, обижается.

Ночью приснился баран. Большой, теплый, надежный. Гладила его, греясь, потом стало больно. Проснулась, еще темно. Проверила рукой пояс. Все на месте, но страшно.

Вернувшись с хлопка, сразу под воду, терлась квадратным куском мыла. Вошла мать. Сказала, что за полотенцем, а сама на пояс:

— Не жмет?

— Жмет.

— Вот ты и выросла.

Глаз прищурила, наверное, сейчас что-то скажет.

— Да, мы тебе тут жениха присмотрели.

Вышла и полотенце не взяла.

Принцесса вылила на себя еще одну кружку воды. Кружка выскользнула из рук и загремела по плитке.

Потянулись предсвадебные дни. Конечно, жених оказался не тот, кого ждала, ради кого железку таскала. Попробовала открыться матери. Что она все еще того, из 9 «Б». Мать удивилась. «У вас с ним... что-то было?» Принцесса помотала головой. «Я его люблю!» — «А он тебя... тоже?» Пришлось признаться, что не знает... Не было возможности узнать... Мать повеселела: «Вот видишь! А Тахир тебя любит». — «Но он же меня не видел!» — «Как не видел? Помнишь, мы в прошлом году с тобой ходили...» Она поверила матери, что он ее видел, мать в серьезных вещах редко обманывала.

Перед загсом по закону сказали надо проверить здоровье. Сдать мочу и кровь. Мать ходила с ней по врачам, заносила конфеты. Принцессу признали годной.

Оставалось только ключ из училища взять. Ей даже справку из загса дали. Что студентка — прочерк — вступает в законный брак и ключом теперь будет заведовать законный муж гражданин — прочерк. Мать хотела сама пойти в училище, заодно коробку конфет отнести, чтобы к Принцессе хорошо относились. Только от свадебных забот у матери подпрыгнуло давление, в больницу увезли, оттуда на второй день прямо в халате и тапочках сбежала, но про училище уже не помнила, вылетело от переживаний. А по программе невеста должна жениху в первую ночь ключ преподнести на тарелочке с конфетами и парвардой. А дальше пусть жених уже сам с этим ключом что хочет делает, хотя у женихов в такой момент тоже своя программа, но это уже природа.

А тут завуч ей сам на перемене навстречу, в очках, убеленный сединами. «А, замуж?! — говорит. — А учеба как же?» — «Справлюсь». — «Все вы обещаете спра-

виться... Потом как родите — и поехало». Принцесса протянула справку из загса. Завуч прочитал, сложил — и в карман. «Зайдешь в четыре часа», — сказал он.

В четыре не смогла, сказали, занят.

В полпятого встала, чтобы уйти. Не ушла.

В пять дверь открылась: «А, еще тут?»

Зашла. Он дверь закрыл и смотрит.

«Что стоишь? — Ключом болтает. — Снимай колготки. Я должен убедиться».

И давай под юбку. Убедиться руками хочет.

Она вырвалась и закричала, даже стекла затряслись.

Завуч побледнел, швырнул ей ключ.

— Ненормальная!

Вот и свадьба. Она в платье напрокат из свадебного салона «Кипарис». По обычаю, все время смотрит вниз. Глаз не поднимает. А что так увидишь, все время вниз? Только тарелку и стол. Иногда рука жениха в кадр попадет. Или нога в брюке. По одной ноге разве можно человека понять?

Хорошо свадьба прошла. Столько конвертов, как на почте. Кровать цветами обложили. Искусственными, какая разница. Для внешнего вида нормально, даже красиво.

Только вместо любви случилось ЧП. Тахиржон разделся, приготовился, а ключ не подходит. Ключ к поясу. Так, сяк, вспотел, губы сжал. Неродной ключ, и все. «В чем дело?» Смотрит на нее. А она плачет и мужа боится. Он из кровати выскочил, как молния. Что оставалось? Рассказала ему всю правду на завуча. Он кулаки сжал, пластмассовые цветы расшвырял. Пошел футбол смотреть, чтобы горе заглушить.

А через день она услышала, что завуча около дома избили. Те, кто бил, остались неизвестными. Пока «скорая», пока больница, туда-сюда, человека уже нет. Принцесса домой прибежала, лежит на тахте, боится. А тут еще свекровь свое подливает: простыни после первой брачной ночи проверила, «алых роз» на них не увидела, не знает, что и думать... И смотрит на нее.

На другой день в училище поминки, плов, шум. «И сегодня, прощаясь с нашим любимым наставником...» — слышно по микрофону из зала. Принцесса хотела уйти, к ней одна учительница подошла: «Постойте...». Ключ достает: вот, домла¹ перед смертью завещал вам передать, другой вам ключ по ошибке выдал.

Принцесса сжала ключ, стоит, думает, как теперь жить дальше. Целый день думала. Вечером положила ключ на тарелочку, обложила конфетами. Парварды не осталась, вместо парварды шоколадку «Аленка» положила, тоже красиво получилось.

Вздыхнула, понесла мужу.

«Распечаталась? Поздравляю, — говорила подруга, целовавшая бумагу. — Ну и как впечатления?»

Впечатления разные были. Нет, жили хорошо. Вначале вдвоем гриппом болели, свекровь исык над ними жгла, заставляла дышать. Телевизор вместе смотрели, видео. Она — то в телевизор, то на мужа, привыкает к новому человеку. А он молчит, все в сторону думает. Мимо нее. А рот откроет, скажет: хиджаб тебе надо носить! Заметила, что его религия интересуется, у него и двоюродный брат за экстремизм сел, а теперь, значит, и Тахир ей про хиджаб. А так жили хорошо, иногда шутили.

Только вот пояс. Думала попрощаться с ним. Поэтому, может, и пошла замуж, чтоб его выбросить. А муж — нет, когда пропадал на два-три дня, ей застегнет и уходит довольный. А у нее уже беременность, пояс давит, она к свекрови, так и так. Свекровь ее пожалела: «Это нехорошо, ребенок уродом будет». Обещала оказать на сына воздействие. Лучше бы не оказывала, муж после ее воздействия пришел, ботинок снял так, что в другую комнату улетел. «Зачем матери жаловалась? Сказала бы мне!» — «Я вам говорила...» — «Го-во-рила! Говорить не умеешь! Бормочешь под нос... Микрофон тебе купить, что ли?» Ну, раз микрофон, значит, шутит. Засмеяться надо. А как смеяться, если токсикоз? Улыбнулась кое-как и пошла помогать с ужином. Мужчины вечером голодные как волки.

¹ Домла (узб.) — учитель, наставник.

Ночью муж ей в постели: «Хорошо, пояс пока не носи. А хиджаб будешь. А то я знаю, что у тебя в голове!». А Принцесса к стенке отвернулась, там обои с цветами, и тихо в эти цветы говорит: «Не буду носить». Муж ее толкнул, она лбом об стенку. Заплакала, а муж: «Что воешь? У моих друзей все жены хиджаб носят». Она повернулась: «Ну и пусть они носят! А мне платки не идут!»

Пошла к подружке, поплакала ей про свои радости. Подружка ей: «Дура ты, дура». Потом посмотрела на себя в зеркало: «И я дура...». Это она про последний аборт, а может, просто так, к слову. Принцесса ее тоже пожалела: выискала у нее седой волос и пожалела — молодые годы уходят непонятно куда.

Сделала УЗИ. Сама не хотела, это ее муж со свекровью в два голоса. «Это же небольно». А как девочку на УЗИ увидели, сразу другая реакция. Свекровь хотя бы улыбается: «Девочка — тоже хорошо...» А муж, будто лед проглотил, стоит, курит. Принцесса к нему: «Вы не рады...» А он: «Сядь в машину». И все.

В машине ее затошнило, на краю дороги притормозили, еле дверь открыть успели, из нее тут же фонтан. Свекровь ее придерживает, муж молчит. Мимо машины проносятся, газом воняет. Милиционер подошел, увидел, что неинтересно, и отошел. Муж со свекровью что-то обсуждают. Мимо машины, грузовики.

После этого мертво как-то жить стали. Тахир вечером придет, посмотрит на ее живот, а сам рукой уже к пульту телевизора. Футбол или свое видео. И в постели как посторонний. Начнешь рассказывать, а он: «Я сплю».

Обратилась к свекрови: «Может, аборт?..» Свекровь замахала: «Да ты что! Откуда такие слова взяла?! Да и поздно уже на таком сроке!» Обняла: «Пойми, у Тахиржона работа тяжелая. Целый день — техника, клиенты. Для него интернет-кафе — это все».

На другой день она надела кофту с блестками, сделала, как могла, прическу и пошла в это интернет-кафе. Там люди, музыка. Стоит, мужа высматривает. На нее тоже смотрит, место ведь мужское. Объявление висит: «Порнографические сайты скачивать нельзя». И фотография девушки с грудью. Тахир в углу на стуле спит. Разбудили: «Тахир-ая, тут к вам это...». Он сел, на нее смотрит, словно первый раз. «Можно, посижу?» — «Зачем?» — «Посмотрю на вашу работу...»

Ночью лежали, он с открытыми глазами, она с открытыми глазами. Интернет-кафе вспоминала. Решила: родит, снова пояс наденет, все же он ее характер поддерживал.

Надоело Тахиру с открытыми глазами лежать, полез к ней. «Не надо...». Потом снова лежали, ей было даже хорошо. Почти. Недолго, может, минуту, не засекала. Хотела на живот лечь, но куда, с этим вот этим... Снова грустно. Отыскала на ощупь тапки, пошла на «водные процедуры».

— А потом родила. Девочку.

Улыбнулась в огонь.

Тельман принес еще веток, подбросил. Затрещало. Глаз барана засверкал.

— Рожала, конечно, не так, как хотела. Хотела в Ташкенте. Роддомик нашла, с матерью ходила, конфеты врачам. Врачи: «Пожалуйста!». Палату-люкс показали: «Хотите, и вот так можно...» Красивый очень люкс, розовый.

Прикрыла глаза.

— А потом у мужа кто-то из родственников в Намангане женился... Муж говорит: «Мы все уезжаем, а ты что?». Я говорю: «Плохо чувствую, у родителей останусь». Не хотела ехать. Муж глаза опустил, ходит, вещи роняет. Подходит: «Мы там долго не будем, туда-обратно». Поехали, и родила. В дороге, еле в роддом успели, никакого люкса, совсем никакого. И еще комиссия, все из-за этой комиссии...

После родов он снова несколько раз призывал ее надеть хиджаб, даже поднимал руку, мог не приходиться домой три-четыре дня. Она с грудным ребенком не могла выйти, чтобы поискать его. Два раза ходила в интернет-кафе, третий раз хотела, но не пошла.

Дочку он любил, но если бы она была сыном, он бы любил ее по-настоящему,

как сына. Постоянно говорил, что у его друзей жены в хиджабах, друзья имеют по две-три жены, а если ты не наденешь хиджаб, еще раз женюсь, потом не обижайся.

Друзей его Принцесса не видела и жен не видела, ничего не видела. Только дочку видела, ее назвали Хабиба, в честь его родственников.

Свекрови все рассказывала, свекровь ее жалела. Когда они говорили о ее сыне, у свекрови из одного глаза, левого, текли слезы. Говорила, что с детства во время плача только один глаз работает, другой сухой от болезни. «Пойми, у Тахиржона работа тяжелая. Целый день — техника, клиенты...». Принцесса понимала. Только на переносице морщины появились, и вокруг рта немного. А так все понимала.

Когда Хабиба переставала кричать и засыпала, Принцесса садилась думать о муже. Потом о том, из восьмого «Б», ради которого целовала бумагу, где он теперь...

Только засыпала, начинала свой концерт Хабиба.

Муж стал требовать сына. «Сын...», и улыбается своей улыбкой.

«Подождите немного, — отодвигалась она в постели, — у меня там еще все болит!»

Теперь он часто оставался дома, переписывал диски. Читал разные книги, свекровь переживала из-за этого.

У Хабибы прорезались зубки. Принцесса сказала об этом мужу, он улыбнулся.

Ночью торопил ее с сыном:

«Зачем откладывать?»

И делал свое дело. Она кричала от внутренней боли. А он думал, так полагается.

Через месяц спросил: «Ну что?»

Она призналась, что ничего. Он проявил терпение, подождал еще месяц.

«Ну что? Что-то внутри чувствуешь?»

Хабиба научилась говорить «мама», «папа» и кланяться.

До постели Принцесса доползала как труп. Тахир будил, напоминал. Больно уже там не было, только как будто из дерева. И спать во время этого хотелось, один раз не сдержалась, зевнула во весь рот...

У Тахира день рожденья, мужчины готовили. Она ходила с мисками, помогала им.

Делали плов. В казане качалось масло. В масле отражались небо, ветви. Ранняя весна. На яблоне висела туша барана. Издали туша была похожа на огромный распустившийся цветок.

Казан зашумел — в масло бросили курдючный жир.

Принцессе стало больно, она отошла от окна.

Кровавое тело барана перед глазами. Со всеми внутренностями. Опыляемое насекомыми, как цветок. «Лук несите!» — крикнули со двора. Она побежала относить лук.

От лука заплакали глаза, и двор поплыл. В казане пузырились кусочки бараньего мяса. Скоро покроются румяной корочкой. Снова зашумело — мужчины бросили туда лук.

На крыльце стоял муж в белой рубашке и курил. Под ним сидела Хабиба, играя с обувью.

В казан бросили морковь и залили водой. Шум прекратился, забулькало. Мужчины заговорили о своих делах, о своем бизнесе. Надо уйти. Проходя мимо мужа, улыбнулась. Подняла Хабибу с калошей в руке, занесла в дом. Свекровь руки протягивает: «Хабибочка! Хабибочка!» Отдала ей. Зашла в комнату — и на кровать. Лежит, думает. Вспомнила: «Что-то внутри чувствуешь?»

Через день ее повезли к гинекологу.

Та за голову схватилась: «Куда вы смотрели?!»

Оказалось, в том самом роддоме ее стерилизовали сразу после родов. Комиссия приехала, отчитаться нужно было срочно по сокращению рождаемости, у них план. Обычно только после вторых родов это делали, и то не всем, а отдельным. А тут — комиссия, и надо отчитываться. Решили сделать исключение, кто рожал, всех на стерилизацию. Потому что отчитаться надо было, а по-другому не получалось. Кто

рожал, конечно, не виноваты, что так совпало. И врачи не виноваты, перед комиссией отчитаться надо, а то неприятности.

«Суки! — кричал муж ночью по-русски. — Су...»

В темноте плакала Хабиба. Принцесса поднялась, пошла кормить дочь.

Но молока в ту ночь почти не было.

— Выплакала из глаз все молоко, — говорит, глядя в костер.

Муж окончательно ушел в свою оболочку. Переписывал призывы на молитву, читал книги. Ждал, когда выйдет из тюрьмы двоюродный брат, чтобы глубже узнать от него про религию.

Свекровь, заметив в сыне такие изменения, испугалась. Стала в Москву свекру звонить, он там давно на заработках. Дверь закрыла, чтобы никто их разговор не слышал. Принцесса не стала подслушивать, просто зашла с Хабибой, будто случайно. Так свекровь ее взглядом прогнала, заходить снова было уже неудобно.

И она забыла об этом разговоре. Вспомнила через полтора месяца. Когда свекровь сказала: «Твой муж едет на заработки в Москву».

«А я?.. А Хабиба?..»

Перед отъездом он мучил ее всю ночь. Наверное, хотел запастись в дорогу. Ей было страшно оставаться без него, но ответить на «ласки» она не могла. Если бы у них был еще сын, было бы по-другому. Он бы не мучил ее, как проститутку.

Под утро он заснул, а она не могла заснуть, как ни стремилась. Лежала, думала о себе, о дочери, о муже и его поведении. Раздался призыв на намаз. Муж заворочался, сел, вышел из комнаты. Зажурчала вода в раковине, омовение совершал. Она лежала и слушала, как гремит вода, то громче, то затихая, когда муж преграждает ее падение своими ладонями.

Вода смолкла, она знала, что сейчас он вытирается, даже знала, каким полотенцем. Снова его шаги, он проходит мимо, выходит в соседнюю комнату, где ковер, который им дарили на свадьбу.

Не выдержав, встала, приблизилась к двери, за которой молился. Дверь была полуоткрыта, она видела его на полу, в майке. Рядом уже чемоданы. Во всех движениях мужа было что-то торжественное, хотя ничего нового она не увидела.

Отошла от двери, достала платок-хиджаб, встала возле зеркала. Опустила платок на голову. Постояла. В зеркале позади появился муж. Он уже закончил молитву и смотрел на нее с удивлением. Она быстро сняла.

Когда вот-вот должна была прийти машина и увести мужа в аэропорт, он завел ее в комнату. Она охотно зашла, думала, что он собирается оставить ей денег.

А он достал пояс. Этот пояс. «Иди сюда», — произнес он.

Она заплакала.

«Иди сюда, я сказал!» — повторил.

Вспомнила тело барана, висящее на дереве. Красное, с черными точками мух.

— Он уехал в Москву, его Москва все не кончалась, свекровь говорила, что она меня любит, но я должна вернуться в дом родителей.

— Вы вернулись? — спросил Ким.

Принцесса помотала головой.

— Это позор, к родителям вернуться.

— А почему свекровь хотела, чтобы вы ушли?

— Она говорила, что нужно продать дом. Что она должна ехать в Москву. А я к родителям. Обещала после продажи дома дать немного денег родителям, чтобы могли о Хабибе и обо мне заботиться.

— Но вы не ушли.

— Я не ушла. Когда звонил муж из Москвы, я плакала и рассказывала, как свекровь выгоняет. Он молчал, говорил, что скоро пригласит меня и Хабибу в Москву.

— Вы верили?

— Да. Мне казалось, что я скучаю без него. Он ведь мог меня сразу оставить, когда узнал, что я не смогу ему родить сына. А он, наоборот, даже стал иногда разговаривать со мной. Из Москвы мне звонил, про дочку спрашивал, как растет, что

уже делать умеет. Я благодаря ему стала о Боге задумываться. И хиджаб носить стала, хотя свекровь говорила: не носи, лучше «перышки» себе сделай.

Москвич поднялся, сделал круг, разминаясь и похлопывая себя по бокам, вокруг пламени.

— Устал, начальник? — спросил водитель.

Москвич опустил на свое место, посмотрел на Принцессу:

— Дальше-то что? Только покороче.

Покороче. Конечно, покороче. Покороче — они отправились в Москву. Дочке купила комбинезончик, желтенький, очень теплый, удачно сторговались. Своих вещей взяла немного, платьев новеньких несколько и старый костюм, который любила, а так в основном Хабибкины вещи. Украшения взяла только самые необходимые.

Если еще покороче, то свекровь летела с ними. Когда через железные ворота Принцессу досматривали и пояс ее начал как будильник звенеть, пришлось давать объяснения.

Муж их встретил, в его поведении никаких изменений не было. Только ходил без бороды и одевался в европейском стиле, чтобы милиция не беспокоила. Когда увидел платок на Принцессе, закричал: «Ты что, быстро сними!» А она думала, что ему будет приятно. Она сняла платок и положила в сумку. Муж повел их на маршрутку, держал на руках Хабибу и шутил с ней. По дороге она спросила мужа как бы между делом: «А мы пойдем на Красную площадь?». «Зачем?» — Посмотрел на нее Тахир. Они сели в метро, и ехали долго. Она держала на руках Хабибу и боялась за себя и за нее.

Местность, куда Тахир привез их, называлось «Коломенское». Там шел дождь. С мужем был его друг, но он молчал.

К их приходу свекор уже вернулся с работы и приготовил еду.

«Ты что мало ешь?» — спросил ее за едой муж.

«В самолете ела... А здесь всегда будет дождь?»

«Всегда».

Потом она мыла посуду. Ложки и вилки здесь были такие же, как в Ташкенте. Муж говорил, что в Москве ему нравится, он ходит в мечеть, у него там друзья.

«Опять друзья...» — подумала Принцесса.

Муж сказал, что чувствует себя спокойно, но его тревожит одна мысль. Все они, оказывается, тайно приняли гражданство России...

«А я?» — Принцесса застыла с тарелкой в руке.

Тахир поморщился:

«Что ты меня все время перебиваешь!»

Капли падали с тарелки на пол. Принцесса опустила ее в раковину и стала тереть.

Тахир продолжал свой разговор. У него российский паспорт, и его не оставляют в покое из-за призыва в армию. А если он отправится в армию, то потеряет год и не сможет помогать друзьям, которые без него пропадут.

«Если Хабиба примет российское гражданство... Ты должна дать согласие».

Дождь кончился.

Принцесса села на табуретку возле окна и стала ждать, когда выйдет солнце.

— И вы подписали согласие? — Москвич ковырял в огне длинной веткой.

Принцесса кивнула.

— Напрасно.

Ветка, которой Москвич лез в костер, сама загорелась; Москвич бросил ее в огонь.

— Что я могла сделать? Они отвезли меня к знакомому нотариусу, положили готовые документы. И смотрят на меня. И я подписала. Холодно было, дождь. Все подписала.

Они сказали: «Если дочь будет гражданкой России, муж не пойдет в армию». Он даже до этого стал со мною добрее. Спросил за день до этого: «Может, тебе нужны теплые вещи?»

После нотариуса — в Коломенское, там тоже дождь. Она шла и думала, что теперь ее дочь — гражданка этой страны, где дождь и постоянно холодно, но это ничего. Муж был доволен, зонт над ней раскрыл. Правда, так держал, что она была наполовину мокрой, но это ничего. Жизнь в Москве нравилась, только домой хотелось, к людям.

Потом она стала слышать разные вещи. Муж говорил: «Все, моя дочь будет проживать вместе со мной, здесь много религиозных школ, я отдам ее в такую школу, и все, все». Муж стоял в спортивном костюме и говорил. За его спиной сидела свекровь. На балконе курил свекор.

«У меня скоро заканчивается декретный отпуск, — сказала Принцесса. — Если вы не хотите, чтобы я оставалась, отпустите нас с Хабибой».

«Ты сама не хочешь оставаться», — сказала свекровь.

«Не шумите!» — произнес свекор с балкона.

«Я же подписала все, что вы сказали».

«А сколько ты у нас крови выпила, прежде чем подписала?» — спросила свекровь. — Я тебя как дочку любила, а ты сколько не подписывала?»

«Пояс болит...» — сказала Принцесса.

«Я спрашивал у друзей, они говорят, что такие пояса можно сделать на заказ, но это дорого, — сказал Тахир. — Тебе лучше просто похудеть».

«Я знаю одно средство для похудения, — сказала свекровь. — Записывай...»

Ей предложили согласиться на фиктивный развод.

«Я хочу уехать». — Принцесса поднялась и дошла до туалета. Достала мобильный, отправила эсэмэску отцу. Подняла халат, провела рукой по поясу. Хабиба, они спят вместе, думает, что так у всех, что так и у нее потом такой пояс будет. Может, она права.

Ее поставили торговать специями. У кого-то из друзей мужа возникли проблемы с регистрацией, нужно было подменить. Она не хотела, но ей сказали: «Немного постоишь, ничего страшного». Все документы, и ее, и Хабибы, свекровь забрала, чтобы глупостей не наделала. Мобильный у нее тоже забрали. Каждый день она просила купить билет и отпустить их в тепло. Ей повторяли про развод. «Не шумите!» — кричал свекор. Из левого глаза свекрови текли слезы, но правый оставался сухим.

На рынке было холодно. Специи покупали мало. «Смотри, мама, тетя песочком торгует», — сказала какая-то девочка. Товар ей нравился, от него, особенно от тмина, зиры и черного перца пахло чем-то родным. Хотя от молотого черного перца жгло глаза. А плакать за прилавком было неудобно, надо было, наоборот, улыбаться. Но даже улыбаться было холодно, улыбка на губах замерзала. Рядом стояла азербайджанка Надя и говорила, что каждое утро она варит яйцо и кладет себе туда в шерстяные колготки, потому что простудишь органы, потом все. Принцесса сказала ей про свой пояс. «Слышала, — сказала Надя, — но сама не носила». Надя торговала соленой капустой и другими соленьями, про которые говорила: «Не люблю. Мокрые и холодные руки потом от них». Сказала Принцессе: «Пусть тебе муж купит пояс с утеплением, чтобы согревало». Подругами они так и не стали, у Нади был очень громкий голос.

А один раз был такой мороз, что Принцесса еле-еле дождалась сменщицу и пошла в другую сторону. Не в ту, какую надо. В той, другой стороне, был парк, черный и холодный. Она шла сквозь парк, с каждым шагом все больше замерзала. Ее тело превращалось во что-то постороннее, она подумала о Хабибе и поняла, что ничего, о Хабибе позаботятся. Потом подумала о своей первой любви из 8 «Б», ради которого целовала бумагу, и остановилась.

Перед ней стояла женщина, Принцесса в нее чуть не врезалась, так замерзла.

«Ну вот, — засмеялась женщина, — уезжали мы от них, уезжали, а теперь они к нам повалялись, пройти нельзя. Ну, что стоишь? Асалям алейкум? Якшимисиз? Бала-лар якши?»¹

Принцесса хотела ответить, но губы не смогли. Только кивнула и заплакала.

«Мам-дорогая, она ж вся синяя! Ну-ка давай ко мне, я тебя хоть чаем согрею. Бечорашка какая! Да иди, что встала!»

¹ Здравствуйте. Как ваши дела? Как дети? (искаж. узб.)

Женщина оказалась родом из Ташкента. Принцесса помнила, что они поднимались по лестнице, в подъезде было тепло, а в квартире еще теплее. Женщина втолкнула ее, мороженную, в ванную, под горячий напор. Потом стала мазать водкой.

«Я сама вначале тут мерзла, — мазала ее женщина и растирала. — Мы ж, ташкентские, разбалованные, к теплу приучены, солнышко нам подавай. Тебя как зовут?»

Принцесса хотела сказать спасибо и уйти, но женщина стала наливать чай: «Угощайся конфетами. Кондитерские изделия здесь, конечно, на уровне».

Принцесса взяла конфету, полюбовалась оберткой. «Можно я дочке возьму?»

Потом разглядывала стены. На полках стояли банки с чем-то разноцветным.

«Это песок, — сказала женщина. — Крашенный песок».

И сняла с полки. Песок. Да. Только разноцветный. Один слой белый, другой синий.

«Увлелась тут этим. Затягивает, и нервы. От нервов лечит. Что мне еще, пенсионерке».

«Вы на пенсии?».

«На пенсии... Это разве пенсия?! Не смешите меня!»

За окном дымил снег. «Молоко», — сказала о нем женщина вглядываясь. Подлила еще чая.

В узбекскую пиалушку, с хлопковой коробочкой.

«Да, оттуда везла. Эх, пенсия, пенсия... Там бы у меня еще меньше была, копейки. Но зато фрукты!.. Какие фрукты у нас, а? А здесь что? Вода».

«Это оттого, что здесь дождей много».

«И дождей, и воруют. Все импортное».

Принцесса вертела баночку с песком, разноцветные струйки песка перетекали друг в друга, розовый в синий, синий в белый.

«Нравится? Бери на память».

«Спасибо...»

«Держи-держи. У меня вон их сколько, солить можно. Слушай, ты ж на рынке стоишь? Может, дам несколько баночек на реализацию? Вон ту, например...»

Принцесса сказала, что должна посоветоваться об этом с мужем.

«С мужем?.. Ну, понятно. Нет так нет»

«Нет, я с удовольствием возьму...».

«Знаю я этих ваших мужей».

«Он компьютерами занимается»

«Да... И что же он тебя в такой мороз из дома погнал, компьютерщик?»

«Можно от вас позвонить?»

«На, звони...»

У Тахира было занято. Наверное, с друзьями о своих делах разговаривает.

«Хорошие у вас кошки». — Положила мобильный.

«Это они сейчас хорошие. После стерилизации. А до этого такое вытворяли...»

Это Машка, а вот это Дашка».

Взяла на колени. Танька смотрела зелеными глазами.

«Странные имена, как у людей...» — сказала Принцесса.

«Да уж, как у людей... Дочерей у меня так звали».

«Они...»

«Живы, живы. И живы, и здоровы. А на мать — чихали с высокой колокольни».

Принцесса посмотрела в окно.

Небо темнело, вот одно окно зажглось. Еще одно. А в Ташкенте, наверное, уже ночь. Но тепло. А когда тепло, любое горе пережить можно.

«А это мой муж... Вон, портрет. Интеллигентный был человек, даже тараканов я сама давила, он не мог, видите ли!»

«А я думала, это женщина».

«Ну, он тут в этом, гриме самодетельном...»

— Можно попросить...

Принцесса посмотрела сквозь огонь на Москвича.

Москвич поднялся:

— А что это мы здесь все сидим и рассказываем?! Может, нам чем-нибудь другим заняться? Может, лучше споем что-нибудь общее... Или анекдоты. А? Анекдоты?..

Остальные молчали. Принцесса куталась в куртку, как будто все еще находилась в московской зиме. Водитель дремал.

Тельман допил из своей баклажки, бросил в огонь.

— Зря сожгли, — сказал Москвич, наблюдая, как пластик съезживается в огне. — Бросили бы так.

Тельман мотнул головой:

— Так нельзя.

Посмотрел на часы. Потом на Москвича:

— Если вам неинтересно, можете не слушать. Нам интересно.

— Кому это *нам*?

Посмотрел на дремлющего водителя.

Водитель приоткрыл глаза и кивнул Принцессе:

— Продолжай, дочка...

И, кашлянув, — дымом потянуло в его сторону, — повторил:

— Продолжай.

Москвич открыл рот, но вдруг резко схватил себя за нижнюю челюсть и замычал. Повалился в бок, мотая головой.

— Что случилось? — спросила Принцесса.

— Зубы, наверное, — ответил Тельман. — У меня таблетка есть. Только запить нечем. Москвич мычал согнувшись. Приподнялся.

— Вам легче? Дайте отряхну... — Принцесса стала отряхивать пиджак от песка.

— У меня есть таблетка.

— Спасибо... — Москвич мотал головой. — Это была моя мать.

— Что?

— Та женщина с кошками. Давайте лучше пропустим эту часть, хорошо? Или — хотите я вам расскажу свою, чтобы было понятно, почему... В общем, вот...

МОСКВИЧ

...лето, она на работу опаздывала, там строго, дождь, ливень, пришлось тормознуть, тормознула себе на голову, «Москвич» обдал грязью, водитель с кудрями извинился, она плюх на переднее, под язык валидол, сосала по утрам, чтобы не тратить время на щетку и пасту, скорей поехали, нервничает, задумалась. А водитель одной рукой рулит, другой — из брюк вынимает драгоценность свою, она пока не замечает, хотя это у него заболевание, но она про него не слышала, тогда про такое не печатали, только в медицинских книгах, она не медик, чертежница на объекте, когда ей еще медицинские книги, хотя чувствует сбоку что-то не то. Увидела, испугалась, закричала, чтобы остановил, сволочь. А он голосочком своим: по-оздно... Тут она всем маникюром на него, царапает, бьет. Он на тормоз, машина вбок, она на него, куча мала. Он стонет: вы мне его сломали! Она: «так тебе и надо», сама плачет, заляпанная этим, еще трусы утром забыла надеть, торопилась, там больше всего, главное, и заляпалась. Вылетела из машины, хорошо Объект рядом, платить не стала, номера запомнила. А он за ней, сигналит, а ей — главное не опоздать, выгонят с волчьим билетом, прощай, общежитие, и назад в деревню к матери и свиньям. А он би-бип! Ладно, не буду в милицию, живи, сволочь, только б не опоздать!

Не опоздала...

А когда через пару месяцев почувствовала внутри себя беспорядок и врачах ей: «поздравля-я-ю», она номера вспомнила и разыскала. Речь заготовила: будешь мне, подонок, алименты! А у подонка, глядь, отдельная квартира, а что «Москвич», она и так никогда не забывала. Вот она у него как бы в гостях, обстановочка, все интеллигентно, села на румынский диван, сосредоточиться. «А у тебя семьи нет?» — оперативно на «ты» перешла. Он подавился, она стала по спинке хлопать. «Надо же». —

Хлопает его и думает: — «Все у человека в жизни есть — и квартира, и машина, и прописка, наверное...» Насчет прописочки все-таки уточнила. Оказалась на месте. Через месяц расписались. «Только обещай, — говорила сквозь фату, — что не будешь этого делать перед другими бабами. Передо мной делай, ладно, если уж не выдержи...» Она уже успела пробежать пару популярных брошюр, стала подкованной. Он обещал.

Москвич был их сыном. Шестьдесят седьмого года рождения.

В детстве у него тоже были кудри. Потом разгладились, только челка осталась.

И у отца кудри прошли, как начал лысеть. Очки нацепил. Часами ковырялся в «Москвиче», ставил Аллу Пугачеву, подсобляя ей своим тенорком. Мать наматывала на голову полотенце и заводила Сенчину. Под поединок двух певиц и проходило его детство. Побеждала Сенчина.

В школе Москвичу нравилось. Отдыхал в ней от домашней тесноты, от падавших вещей. От двух перекрикивавших друг друга певиц. Он впитывал пространство классов и коридоров, словно запасая его для дома, где у него не было своего угла, не считая того, в который его раньше ставили.

Учился легко и упруго, словно разжатая пружина. Он был из породы естественных отличников, не портивших над учебниками глаза и спину. Он впитывал знания — ровно столько, сколько требовала программа. Иногда чуть больше, чтобы блеснуть. Блеснув, забывал.

Он полюбил футбол. Наверное, за то же самое — за пространство, за быстрый упругий воздух, пробирающий вихры. Волосы промокали и кудрявились, как раньше. Сделав уроки, шел во двор колотить мячом в осыпающуюся стену. Мать боялась, что он станет футболистом. Отдала его на аккордеон; Москвич легко забегал пальцами по клавишам; когда приходили гости, исполнял Андиганскую польку. Мать была довольна, хотя футбол остался, и Москвич возвращался таким же потным, а стирать кому? Попыталась заставить его постирать. Он ее просто не понял. Посмотрел, и она замолчала.

Дома он вообще сжимался. Как пружина. На родителей, бабушку, двух младших сестер почти не обращал внимания. Семья мешалась под ногами, как сдутый мяч, который не удавалось метким пасом послать куда-нибудь. Дома делал уроки, играл в ашички («Опять эти кости!» — морщилась мать), смотрел с отцом футбол.

Или на час запирался в ванной. «Онанирует», — предполагал отец. «Ты что!.. Он не такой». — Защищала мать, ревниво прислушиваясь к шуму воды. «Они все в этом возрасте». — Улыбался отец.

Отец был не прав. Москвич просто стоял под водой, ловил одиночество. Выходил, оставляя мокрые, размера уже сорокового, следы; падал на кровать, засыпал.

В восьмом классе его как отличника выбрали в комитет комсомола. Через год — секретарем комитета. Школа была небольшой, освобожденного секретаря не полагалось.

Москвич воспринял новую обязанность легко, но без энтузиазма. Проявлять излишний энтузиазм в те годы уже считалось дурным тоном. Делай свое дело четко, с легкой дымкой усталости, как Вячеслав Тихонов в роли Штирлица.

И он делал свое дело. Собирал взносы, проводил собрания, помогал школьной футбольной команде, играл в ней. Летом ездил в трудовой лагерь собирать персики, честно мучился вместе со всеми поносом, в перерывах играл на аккордеоне «Битлов». Заметив, что девчонки больше глядят на гитаристов, взял гитару и быстро проделал славный путь от трех блатных аккордов до Розенбаума и Strangers in the Night. Осенью, уже с гитарой, выезжал на хлопок; вернулся с чесоткой и тетрадкой стихов. И то, и другое прошло довольно скоро.

Раз в неделю, прихватив тетрадь фабрики «Восход», ехал в райком комсомола на секретарский час.

«Останься, старик. Разговор есть».

Товарищ Андрей. Худой, без возраста, за столом. За спиной шкаф, папки и

бумаги. Бурые скоросшиватели, какие изготавливают на картонажной фабрике слепые.

«Я хотел тебя спросить... Ты старших уважаешь?»

«Уважаю», — удивился Москвич.

«Я не об этом». — Инструктор поморщился. — Хорошо, скажи, как ты их уважаешь?»

«Место... уступаю».

«Я тебя серьезно спрашиваю, а ты — "место"!»

«Тяжелые сумки... Если увижу! Мне пора идти, у меня тренировка...»

Товарищ Андрей смотрел на него. Москвич остановился у двери.

«Ну, я пошел...»

Взялся за ручку двери:

«До свидания?»

Вернулся. Сел на прежнее место.

«Расслабься, старик. — Улыбнулся товарищ Андрей. — У тебя есть дедушка?»

«Есть... Был».

«Представим, что у тебя *есть* дедушка».

Инструктор поднялся, остановился перед бюстом Ленина.

«Допустим, он болен. Смертельно. И спасти его можешь только ты!»

«Почему я?»

«Потому что ты! Ты должен делать ему... массаж. Раз в неделю. В этом месте...»

Ткнул пальцем в свой сбитый райкомовскими креслами зад.

Москвич рассмеялся.

Товарищ Андрей тоже хохотнул и замолк. Нехорошо замолк.

«Да идите вы!..» — Москвич сорвался со своего места.

За спиной хлопнула дверь.

Через неделю с ним говорили на закрытом бюро райкома.

Сказка про дедушку обрастала плотью. Нежной номенклатурной плотью, наращенной в спецбуфетах, распределителях и нарзанных ваннах. Плотью, которой стало Слово гипсового человечка, пылившегося на кумачовой тумбе.

«Мы тщательно проверяли вашу кандидатуру...»

«Требуются именно молодые, свежие силы! Выносливость, инициатива...»

«Учитывая международную обстановку...»

«Объясните ему, что у нас сейчас комиссия, что такое «комиссия» — он же понимает!»

«Нам требуется именно представитель интеллигенции. Это вообще основная задача интеллигенции!»

«Может, вы слушаете "голоса"?»

«Нет, Рустам Давлатмурадович, мы проверяли. Отличник, активист. Спортом интересуется. Да вы сами на него посмотрите, он же наш!»

С него взяли подписку о неразглашении. И дали две недели подумать.

Он вернулся после бюро раньше. Достал ключ из-под половика. Дома никого не было. Стряс с себя пальто, сбросил сапоги с носками, ступая сварившимися ступнями по линолеуму. Зима была теплой, но каждое утро бабушка вставала на пути, ловя его в пальто.

Запела Пугачева. Отец?

Его музыка... Давно ее не врубал. С тех пор как «Аллочка» приезжала сюда и пела в «Юбилейном», они сидели на верхотуре. Отец взял его с собой вместо матери, в последний момент швырнула в лицо билет. Отца по блату провели к «Аллочке» — победоносно вернулся с автографом. «Вы говорите, в жизни — все просто!» — пел, слегка поддельвая голос. А потом у отца пошло-поехало со здоровьем, отовсюду стали падать и рассыпаться таблетки, и Пугачева в квартире замолчала.

Москвич зашел в гостиную.

Перед зеркалом стоял отец в лохматом рыжем парике и открывал рот.

Заметив сына в зеркале, повернулся.

В этом парике он был жутко похож на Пугачеву.

«Это для капустника... Репетирую, вот, капустник новогодний...»

Через недели две отца не стало.

За несколько дней, когда уже все стало ясно, мать прорвало. Через закрытую дверь он слышал, как она говорила: «Симулянт проклятый!» Бабушка стыдила ее, сестры прятались за диваном, Москвич уходил колотить мячом в стену. Мать не подпускала его к отцу, цедя «предатель» каждый раз, когда он приоткрывал к нему дверь. «Как ты можешь, он же умирает!» — не выдержал. «А я шестнадцать лет умираю!».

Все-таки он прорвался к отцу, в ее отсутствие. Бабушка гремела шприцами, утешала зятя: «Дура она. Весь свой ум на красный диплом истратила, а ты себе еще, может, другое найдешь...» «Найду... скоро». — Кивал отец.

Протянул Москвичу конверт: завещание. Москвич кивнул. И быстро спрятал — в коридоре уже вернулась мать. Заглянула, с нехорошо молодившей ее стрижкой.

Потом сидела на кухне возле плиты и глядела на кипящий чайник. По щекам ползла тушь. «Мам, зачем ты так?» — «Чтобы он при жизни понял, как меня мучил! Ты же ничего не знаешь, тебе бы только мячик об стенку...»

На похоронах ее не было.

Москвич сам справился. Все сделал, как завещал отец.

Достал из-под отцовского матраса сплюснутый рыжий парик и прозрачную робу.

Расчесал парик, поплевал на робу, поелозил утюгом.

Нарядил во все это отца, и, сосчитав бороздки на диске, поставил нужное.

«Не отрекаются, любя...»

«Ты что это, а? С ума сошел?» — Выкатилась на него из коридора бабушка, вытирая об халат масляные руки.

«Ты так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то...»

«Пугачева! Пугачева!» — кричали соседские дети, узбечата, когда выносили гроб.

Песня гремела на весь двор.

«Где? Где?» — Высовывались из окон люди. Кто-то, не разобравшись, начал хлопать.

«Где Пугачева?»

«Безобразие... До чего докатилась, уже она на похоронах поет!..»

«Да запись это, фонограмма...»

«Стойте! — К гробу продиралась мать. — Стойте, сволочи...»

«Явилась», — сказала бабушка.

Мать добралась до гроба.

Сорвала с отца рыжий парик.

Нацепила его на себя:

«Я — Пугачева! Я! Я — Пугачева! Понятно?!»

«За это можно все-е-е отдать! И до того я в это ве-ерю...»

«Я — Пу-га-чева!»

Ее увели.

На поминках просила его сыграть для гостей «Андижанскую польку».

«Ну давай, блум-блум, лакатум! Ну, ради отца! Ты ж его любил? Он его любил...»

Блум-блум, лакатум!»

Она сидела в рыжем парике и тыкала вилок в маленький, все убежавший от нее соленый огурец.

Ленин! Партия! Ком-со-мол!

Ленин! Партия! Ком-со-мол!

Началась самая яркая полоса его жизни. Группка ребят, таких же легких, лобастых, с развитыми шейными мышцами. Победители математических олимпиад; чемпионы по гребле, летом и зимой гонявшие свою маленькую флотилию по Анхору; любители авторской песни, утащившие раз Москвича в Чимган и напоившие до поте-

ри невинности с одной певуньей под треск остывавшего костра. Он ходил, оглушенный своей взрослостью.

Их отбирали со всего города. По одному с района.

Даже по одному с двух, если не могли найти кандидатуру. Или если кандидатура артачилась, не в силах переломить буржуазные предрассудки.

Раз в неделю их собирали в Партшколе рядом с метро Горького. Вначале теория, зажигался диапроектор, в темноте поблескивали очки кандидата каких-то наук, молодого, с интеллигентной картавостью.

«Итак, учение о трех источниках и трех составных частях марксизма представляет собой диалектическое единство внешнего и внутреннего. Внешнее вы можете прочесть в любом учебнике. Уже прочли? Переходим к внутреннему. К материальной стороне. К объекту».

Смысл слова *объект* они уже знали.

Кто-то прыснул. На него зашикали. «Я чихнул, говорю...»

Диапроектор высвечивал на экране серо-красную картинку. Внутреннее строение *объекта*. Красное — мышцы. Серое — кость.

«Тремя составными частями, согласно Внутреннему учению, являются Большая, Средняя и Малая мышцы...»

Ленин! Партия! Ком-со-мол!

После лекции они оставались поиграть в футбол или обсуждали нашумевший фильм Быкова «Чучело». Или новую книжку Лутошкина по лидерству. Особый автобусик развозил юных гениев по домам. Иногда они ехали к кому-нибудь, всей оравой, заполняя хрущевки или узбекские дворы с овчаркой и клеткой с беданой на винограднике.

К себе Москвич обычно не звал. Мать приносила работу на дом, сидела ночью с чертежами, утром, сонная, вертела сковородку с подгоравшими гренками. Сестры выросли и грубили. Москвич стоял почти каждую ночь под душем. «Ты чем там... занимаешься?» — ломилась в дверь мать. Он откладывал зеркальце, в которое рассматривал свой размягченный горячими струями объект, и выключал воду.

— По-моему, это гадость, — сказала Принцесса.

— Точно, — откликнулся из темноты Тельман.

— А вы об этом не знали — не слышали? — спросил Москвич.

Костер почти не горел, слабо перемигивались угли. Глаз пригляделся к темноте, проступили звезды и силуэт машины.

— Я думал, это в переносном, — Тельман наклонился к остаткам огня и подул. — В переносном смысле.

Расположил несколько веточек на тлеющих углях, вроде икебаны.

Подул еще раз. Икебана загорелась.

— Рассказывайте уже...

— Скорее бы утро, — сказала Принцесса и зажала уши.

Посидев так немного, разжала, опустила ладони, наклонилась:

— А что было дальше?

Было слышно, как в ней скрипнуло что-то металлическое.

Огонь поднялся, стало видно схему, которую чертил на песке Москвич.

Тремя составными частями, согласно Внутреннему учению, являются Большая, Средняя и Малая мышцы Объекта.

Большая ягодичная мышца (*gluteus maximus*) — наиболее крупная из трех ягодичных мышц. Имеет ромбовидную, уплощенную форму. Это одна из наиболее мощных мышц человеческого тела. Она разгибает и поворачивает бедро, выпрямляет и фиксирует туловище.

Прямохождение человека, его эволюция от высших приматов, развитие производственных сил общества — все это было бы невозможно без Большой мышцы. В строении Объекта Большая мышца символизирует Пролетариат. Большая мышца играет главную роль в сидении человека, что также важно, поскольку эволюция самого человека шла от прямохождения к прямосидению (прямозаседанию). В некоторых

пособиях можно встретить ее обозначение как «Ленинской мышцы», однако на сегодняшний день это не является общепринятым. Взаимодействие языка с Объектом происходит преимущественно с Большой мышцей, что символизирует соединение инструмента речи — того, чем человек отличается от животного мира, — с другим важнейшим инструментом эволюции, Большой мышцей.

Средняя ягодичная мышца (gluteus medius) расположена под большой ягодичной. Участвует в отведении бедра, при фиксированном положении бедра отводит в сторону таз. Выпрямляет согнутое вперед туловище, при стоянии наклоняет туловище в свою сторону. Символизирует трудовое крестьянство. При определенной тренировке, можно обеспечить взаимодействие языка и с этой мышцей, не упуская, однако, взаимодействия с Большой ягодичной мышцей, как наиболее важной в построении коммунистического общества. Излишнее взаимодействие языка со Средней мышцей зачастую приводит к явлениям правого уклона, идеализации мелкобуржуазной психологии на селе, преуменьшению успехов колхозного строительства.

Малая ягодичная мышца (gluteus minimus), самая маленькая, однако глубокая из трех. Она также участвует в отведении бедра и выпрямлении туловища и символизирует интеллигенцию.

Взаимодействие языка с ней невозможно; утверждения ревизионистов о возможности бесконтактного массажа этой мышцы противоречат материалистическому учению об обществе и основаны на неправомерном преувеличении роли интеллигенции...

И было у великого шаха Ануширвана три сына.

Один — умный, другой — сильный, третий — дурак.

Состарился Ануширван.

Стал думать, кому бы из сыновей власть передать.

Позвал для совета мудрецов.

Говорит им: так и так, три сына. Один — умный, другой — сильный, третий — сами видите. Мы уже немолоды, телом некрепки, вот думаем, кому из них власть передать?

Достал первый мудрец волшебную трубочку со стеклышком, поглядел через нее на небо. И хотя ни одной звездочки на небе еще не виднелось, говорит:

«Сила — это хорошо. Сильных народ боится. Но сила правителя — в его уме. Если правитель умный, он и без телесной силы заставит народ повиноваться. И глупость — тоже неплохо, слишком умных народ не любит. Но и глупость правителя — в его уме: если правитель умен, он сумеет иногда глупцом прикинуться, чтобы народу понравиться.

Поэтому мой совет: передай власть самому умному!».

Понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца медною чашей.

Но прежде чем совету последовать, решил остальных мудрецов выслушать, может скажут что.

Выпустил второй мудрец стаю ворон из клетки, последил, как они над ним летают-каркают, утерся от помета и говорит:

«Ум — это хорошо. Только к чему он правителю, если у него есть советники? Глупость — еще лучше. Только к чему она правителю, если у него есть жены? А вот если правитель телом немощен, здоровьем слаб, долго на престоле не усидит.

Поэтому мой совет: передай власть самому крепкому!!».

Еще больше понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца серебряной чашей. Но, прежде чем совету последовать, решил остальных мудрецов выслушать, может, скажут что.

Третий мудрец покурил дурман-травы, запил маковым отваром, закусил мухомором и говорит:

«Ум и сила — это хорошо. Только для чего тебе, о Шах, умный или сильный преемник? Его же народ с тобой сравнивать будет! Если будет умный, скажут — о, наш новый Шах умнее прежнего, Ануширвана! Если будет сильный, скажут — о, наш новый Шах сильнее прежнего, Ануширвана! И только если дурак будет, тебе, Шах, опасаться нечего! Долго будет народ и ум твой, и силу с благоговением помнить и восхвалять!

Поэтому мой совет: передай власть самому глупому!!!».

Совсем понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца золотой чашей. Так, думает, и поступлю! Только тут заметил еще одного мудреца, самого бедно одетого и неказистого... И решил из любопытства этого мудреца выслушать: что он-то посоветует?

А оборванец приволок барана, распорол ему брюхо и извлек печень, еще дымящуюся. Покрутил ее так и сяк. Присвистнул, ударил себя по лбу.

Ничего не говоря, обошел Ануширвана, подошел к нему со спины, опустил на колени, да и... сунул голову под шахский халат!

Что уж он там головой делал и как долго делал, о том в летописях не сказано. Только постепенно печать заботы на челе Ануширвана сошла, глубокие морщины разгладилась, а скорбно сжатые губы засверкали улыбкой. И когда закончил мудрец свое дело, поднял его Ануширван с колен, нарядил его в лучший свой халат и воскликнул:

«Вот моя шахская воля! Не передам я власть свою ни сыну умному, ни сыну сильному, ни сыну глупому. А передам ее вот этому великому мудрецу! Ибо он один правильно нас понял и вернул нам дух молодости и здоровья! Пусть он и остается с нами как наш наследник и ближайший советник, услаждая нас... своими советами! Мы его женим на нашей несравненной дочери, и после нашей смерти — да отдаст ее Творец! — пусть он и наследует нашу державу. А мудрецов, дававших нам ложные советы, мы повелеваем казнить!»

Сказано — сделано. В тот же день сыграли свадьбу четвертого мудреца с шахской дочерью. Правда, шахиня, увидев жениха, была, говорят, разочарована его внешним видом и даже пыталась выброситься из окна. Но потом, видно, мудрец и ей как-то смог угодить, так что стали они жить-поживать и добра наживать. А трех глупых мудрецов по случаю свадьбы помиловали, заменив казнь пожизненным заключением: пусть живут-поживают!

И правил еще Ануширван долго-долго, почти не страдая ни от болезней, ни от старости.

«Что ты там пишешь?» — Москвич смотрел на друга.

«Да... сказку одну».

Куч бросил синюю потрепанную тетрадь в сторону, где валялась его сумка. Содрал с себя майку, рухнул на мат, уперся в тренажер, заработал.

На себя, от себя. На себя...

Москвич лежал рядом, выполнял «мостик». Упражнение на накачку мышц объекта, на последнем медосмотре... сказали... Оторвать таз от пола — опустить. Оторвать — опустить. Восемьдесят пять! Восемьдесят шесть! Если б не дыхалка, он бы спросил, что за сказки... восемьдесят семь... пишет...

«Представляешь, — Москвич перестал двигать, присел, — они мне его циркулем каким-то измеряли!»

«Слушай! — Куч выпустил рычаг; груз на тренажере пару раз еще опустился-поднялся. — Что ты все из-за этого психуешь?»

Груз опустился и затих.

«Я — психую?»

Они были одни в зале. Москвич остался «подкачать ягодичцы»; Кучкар — за компанию.

«Я не психую, Куч. — Москвич стал разглядывать носок кроссовка, купленного на горкомовскую стипендию. — В футбол редко играю. В этом дело».

«Только честно, ты во все это веришь?»

«Во что?»

«В то, что нам пропихивают».

«А ты?»

«Ты о себе скажи».

«Что — о себе? Делаю вообще-то то же, что и ты».

«Я круглые сутки о своей заднице не думаю».

«Ну да, ну да, о ней твои мама с папой думают. Ты же номенклатурный, они тебе и так теплое местечко...»

«Заткнись».

«Сам начал...»

Куч поднялся, вернулся к тренажеру. На себя — от себя. На себя — от себя. Кроссовками упирается, классные кроссовки, отец, наверное, из загранки привез.

«Я... да... — Куч тянул на себя рычаг, груз поднимался и опускался. — Только из-за них... родителей... а так бы послал все это!»

«Подожди, они что у тебя — знают?!»

«Знают. У них там наверху сейчас... бардак. Комиссия из Москвы, нового секретаря привезли. Всех трясут, отца вызывали. Вот они на меня и надели, оба... Давай, давай, надежный кусок хлеба в жизни будет...»

«Ты что, серьезно?»

Москвич присвистнул. Снова посмотрел на фирменные кроссовки Куча.

«Куч!»

«Что...»

«А тебе ведь самому нравится!»

«Что?»

«Что-что. Ты же Лаврику весь его объект... Потом весь красный, как рак, сидел». И отскочил, ожидая удара.

Куч лежал спокойно. Большой, выше Москвича на голову, немного беззащитный, как все сильные люди.

Москвич приблизился.

«Куч...»

«Сука Лаврик! У самого язык, как жеваная тряпка...»

«Ну, он не хотел рассказывать...»

«Сука. Пожалел его. Из жалости, понимаешь? Достоевского как назло вечером начитался. Униженные и эти... Мне его давно жалко было, что мать у него уборщица. Мы же раньше с ним в одной школе, мы его еще... Потом они в другой район, там он отличник, олимпиадник... Когда нам эту жеребьевку устроили, практика... Ты с кем был, с Фарой?»

«Да».

«Фара — нормальный».

Москвич кивнул. С Фарой было весело — быстро попрактиковались друг на друге, потом травили анекдоты.

«А меня с этим, Лавриком. Когда нас в кабинке оставили, он дрожит, в этой своей школьной формочке с заплаткой, кожа в этих, гусенках, вот-вот обосрется. И так захотелось его... Отпинать или...»

«Или что?»

«Да нет... Так... Достоевский. Бедные люди. Читал?»

«Нет. Интересно?...»

Снова заработал рычагом. К себе — от себя.

К себе.

От себя...

— Через неделю его отца услали в область. Руководить там чем-то второстепенным. Кучкар тоже исчез из группы.

— «Кучкар» переводится как «баран». Самец барана. Самец-производитель.

— Не знал.

— А вы читали Мураками?

— Что-то сказали, Тельман?

— Читали Мураками, «Охоту на овец»?

— Нет. Интересно?

— А что потом было с этим Кучкаром?

— С Кучем? Исчез. Оставил мне несколько сказок про Ануширвана. И те самые кеды. Потом его смыло Афганом. Как многих. Туда, где из мальчиков делали мужчин. Или мертвецов. Или психов. Кому как повезет. Мой объект, благодаря тренировкам накачался и окреп. Жаль только, что нас перестали собирать. В верхах перестановки, не до молодежи было.

Дада.

Как кивание головы: да-да. Заикание согласия. Он не только научил всех нас говорить. Он научил нас заикаться. Да-да-да.

Его привезли прямо из Москвы.

Из ВДНХ. Там был особый павильон, где они росли.

Привез его кто-то из Политбюро, с тусклой фамилией. Произнес речь, такую же тусклую, как фамилия. Правда, без бумажки: «Арврху тмдрас зкосук рцугарство зцхилщещ! Краготшок и чошуйц шоктс крагий, так сказать!»

Ему долго хлопали. И переглядывались. Ждали кульминации.

Гость отхлебнул молока:

«Я тут, рпоады, не с пустыми проозфакг!»

Кулиса за спиной вздрогнула, вынесли кадку с голубой елью.

Обычная ель кремлевского типа, только в кадке.

На елке, раскачиваясь, висел маленький человек в галстук.

«Вот, товарищи проауошуар ичсыврешь!» — Указал на него гость. — Специально тпоаохорук, для вашей прадрворк республики! Проходкоенфый с применением рлзын-но мичуринского шубабубр гибридации!».

Человечек чихнул. Чихнул, закачался на веточке, вот-вот упадет!

И закричал от испуга.

Президиум заволновался. Один, из делегации, зашептал главному: «Нельзя было его сразу в народ! Народ — антисанитария, бактерии, мы в лаборатории ему еще не все прививочки сделали...» Главный глянул желтым зрачком: «В Москве за все ответите... Кто его вначале на хлопчатнике пытался вырастить, а? «Ближе к находу, ближе к находу!» Демократы сраные. Вам же сразу сказали: елка — и точка!».

И, раздувшись, как баян, затянул: «Мы на-аш, мы новый мир построим...»

Президиум подхватил, вялым эхом отозвался зал.

Услышав привычную колыбельную, человечек перестал плакать. Через минуту уже дремал.

Гость почти на цыпочках подошел к елке. В одной руке стакан с молоком, другой продолжал дирижировать залом.

«Это есть наш после-е-едний...»

Торжественно вылил остатки молока в кадку.

Церемония представления нового Секретаря была исполнена.

Зал тихонько, чтобы не разбудить, поаплодировал. Все вставали со своих мест и двигались цепочкой на сцену, продолжая петь про того, «кто был ничем». Взявшись за руки, позвякивая медалями, которые лет через пять будут сбываться за бесценюк на бывшем Бульваре Ленина, они двигались хороводом вокруг елки. А Дада свисал с ветки, приоткрывая левый глаз, и был доволен. Так, по крайней мере, казалось.

Потом, уже на Бюро, московский гость зачитал Инструкцию по уходу за Первым секретарем (1 шт.). Это была та же инструкция, что и раньше.

1 шт. требовалось поливать спецраствором в составе:

1. Вода из Москвы-реки — 10%,
2. Чай байховый — 15%,
3. Слеза ребенка — 5%,
4. Кровь (пролетар.) — 20%,
5. Пот (колхозн.) — 30%,
6. Слюна (интеллигент.) — 5%,
7. Молоко витамин. — 15%.

Новые веяния отражало только «Молоко витамин.», занявшее место прежнего «Коньяка армян.».

«Есть ли вопросы, товарищи?» — спросил гость и поморщился — вопросов не любил.

Лысины молчали.

Одна ладонь поползла вверх:

«Как же наш многоуважаемый... Как он такую тяжелую работу без армянского коньяка выдержит?»

«Выдержит!» — обрезал гость.

«Однако рецепт с коньяком нам еще Владимир Ильич завещал...»

«Товарищи! Вы в курсе, какая работа по возвращению к ленинским нормам продельвается сейчас ЦК партии...»

Товарищи судорожно закивали: в курсе, в курсе!..

«Внимательно изучено завещание Владимира Ильича... Так вот, никакого коньяка, товарищи, там не было! Коньяк вписали туда те, кто извратил волю вождя, ленинские нормы по выращиванию национальных кадров! Вместо коньяка там стояло другое слово... Которое теперь рекомендовано читать как «молоко». Разве неясно?»

Ясно, ясно, теперь ясно...

«Или разве вам надо объяснять задачи антиалкогольной компании?»

Не надо.

Московский гость посмотрел в окно. Из окна был виден зеленый, припудренный пылью город; речка, петляющая куда-то; центральная площадь с памятником вождю пролетариата, казавшимся не больше оловянного солдата.

«И еще. Не забудьте раз в неделю организовывать ему — пролщукухыц!»

Лысины порозовели:

«Что вы... Как же... Об этом можно даже не напоминать! Мы для этого и молодую смену растим...»

Смена росла.

Москвича поступили на юрфак (хотя был уверен, что и сам бы смог) и не пустили в армию, позвонили куда надо, намекнули. Москвич мялся пару дней: ему казалось, армия — это все-таки красиво и мужественно. Зато мать чуть в пляс не пустилась: «Вот и хорошо, вот и прекрасно... А ты что, а? Ты что, в Афган захотел? Руки-ноги надоели?» Намекала на соседского Ромку, который вернулся оттуда получеловеком в коляске. «Почему сразу в Афган?» — поднял брови Москвич. «Потому! Учись...»

Он учился.

Кирпичное здание на сквере. Голова Маркса, чинары, мороженое. Снова пятёрки, снова футбол, на который приходилось ездить в Вузгородок. После тренировок стоял под душем, орал мокрым ртом песни А.Пахмутовой на слова Н.Добронравова.

После окончания его сразу забрали в горком комсомола. «Языком владеете?» Москвич выложил язык. «Да-а...» — оценили товарищи. Кто-то предложил дать ему еще пару годков дозреть в райкоме. Предложение большинством голосов не прошло. Ветер перемен, товарищи, дорогу молодым.

После собрания секретарь притормозил его. Просидели час, разговор по душам. Стемнело, секретарь поднялся: «Дедушка болен... Дедушке плохо...» Повернулся спиной, брюки упали сразу. Успел, значит, незаметно расстегнуть; вот что значит многолетний опыт... Москвич сосредоточился, встал на колени поудобнее. Сдул челку со лба, чтобы не мешала... Он был молод, силы кипели, хотелось отличиться.

В Москву в первый раз попал уже в перестройку. На учебу. В самолете волновался, всыпал в чай пакетик с перцем. Закашлял весь иллюминатор.

В город влюбился сразу, с разбега. В первый же день выстояли в «Макдоналдс», потом обсуждали съеденное. «Капитализм», — подытожил старший по группе, отрывая в сторону памятника Пушкину. На курчавой голове поэта сидел голубь, похожий на только что опробованный чизбургер.

На следующий день учеба. Полчаса чистил зубы, гигиена рта. За дверью приплясывал сосед, Ваню из Тбилиси: «Друг, эй, ты скоро, дорогой?» Накануне Ваню спрашивал про особенности объектов в Ташкенте: «Они хотя бы их бреют? У нас многие не бреют, представляешь? И критики не понимают, совсем от народа отделились!»

«Сейчас выхожу!» — кричал Москвич, в пятнадцатый раз споласкивая рот.

Учеба была интересной. Особенно профессор из МГУ, лекция по истории, о том, как это делалось до революции. Очень интересно — про декадентов. А практические занятия разочаровали. Теория у москвичей сильная, а как до практики дохо-

дит, начинается: один на больничном, другой в командировке, сами, ребята, попрактикуйтесь. Привезли спеца из кремлевской больницы, так он последний раз взаимодействовал еще при Брежневе, методики устаревшие, все на длине языка. Высунул язык: да, впечатляет. А были спецы, так, говорят, могли языком теннисный мячик несколько раз подбросить. И в Ташкенте такой был, в горкоме, его потом в Москву и сразу квартиру. Ташкентцы и, вообще южные республики, в практике сильнее, а москвичи больше «ла-ла» и снобы.

На следующий год их снова возили в Москву. На учебе были американцы, показывали чудеса, языки ядерные. Без марксизма-ленинизма, а что творят. Не понравилось, что у них все на голой технике, без мысли и прагматично. Может, действительно все деидеологизировать? Но тогда это уже выродится в чистый бизнес, как у них в Штатах. И как быть, например, с русской литературой? С мировой литературой, с американской прогрессивной литературой?

Хотел спросить об этом американцев, когда подошел, весь английский выдохся, одно хау-дую-ду на языке.

Наступил 1991-й.

Год белого Барана.

Мать специально встречала его в белой кофте, как сказали в газете. Мать уже уверовала во все гороскопы и даже свое несоответствие с отцом объясняла тем, что она по году драконша, а он собака («с-собака!»). Сестры тоже были в белом и бабушка в белом — в ночнушке, почти уже не вставала, только в туалет и за пенсию каляку поставить.

Сестры обвесили все гирляндами, как паучихи, целую неделю плели из жеваной бумаги и ссорились. «Как в новогоднем лесу!», похвалила мать, принимая работу.

Приколола брошку и занервничала. Вручила Москвичу шампанское, отодвинулась, чтобы не заплываться пеной. Отняла у него открытую бутылку, стала разливать. Сестрам и бабушке — по капле и разбавила водой. Себе и сыну — полную порцию. Посмотрела на Москвича, загордилась. После того как Москвича взяли в горком и определили спецпаек, в ней по-новому проснулись материнские инстинкты. Вслух, конечно, продолжала его подкалывать, чтоб не зазнался. Ударили куранты.

«Чтобы в Новом году все были здоровыми и счастливыми!» — Сверкала брошкой мать.

«И мирное небо». — Вставила бабушка из кровати и стала поправлять подушки, готовясь к «Огоньку».

«Белый баран пронесет нашу страну над пропастью». — Почесал в телеке бородку главный астролог Советского Союза.

Москвич вышел на балкон.

Небо, холод, визг из дома напротив, где Ромка-колясочник швырял костылями в свою сестру, рыжую стерву мать-одиночку...

Москвич лег, уперся кулаками в холодную плитку балкона и несколько раз отжался. Еще раз поглядел вниз, во двор.

«Бе-е-е!» — прокричали во дворе, как тоже советовали в газетах...

Бе-е-е...

Баран пронес страну над пропастью.

Но страна, которую он донес на другой край, была уже другой.

В конце года Барана ветка, на которой созревал Дада, стала высыхать.

Пробовали менять состав раствора для полива.

Вернулись к испытанному армянскому коньяку.

Бесполезно.

Тут еще поползли слухи, что мичуринско-лысенковский метод, по которому выращивали кадры для республик, признан ложным.

Нет, такая информация гуляла и раньше. Но тогда шла она с Лубянки и была рассчитана на Запад; для отвода глаз даже реабилитировали генетику и вернули ее во всякие НИИ и университеты. А настоящих мичуринцев и лысенковцев — засекретили, оборудовали им под ВДНХ подземный павильон-лабораторию. В лаборатории

остро и сладко пахло навозом, из стеклянных оранжерей доносилось бормотание на всех языках братских народов СССР. Елочки, фикусы и даже пальмы подвергались яровизации и круглогодично плодоносили нацкадрами. Дозревали первые и третьи секретари, народные писатели, ударники и ударницы... Через павильон «Космос» эту нацпродукцию вывозили по ночам на площадку, откуда особая модель Ил-62 с бесшумным вертикальным взлетом, днем изображавшая экспонат, развозила ее по республикам и автономным областям. Перед этим нацпродукты, правда, сортировали. Ударников и академиков местных академий наук отделяли под наркозом от плодоножки, а секретарей так и оставляли на ней, чтобы не проявляли на местах излишней самостоятельности и сепаратизма.

Теперь оказывалось, что метод гибридизации, на котором строилась национальная политика, был неверным. В республиканском ЦК ломали голову, глотали анальгин и в десятый раз перечитывали «Белые одежды» Дудинцева.

А недозревший, зеленоватый Дада ощупывал высыхающую ветку и мучился бессонницей. Несколько раз уже звонили в Москву, чтобы проконсультировали, как самим обрезать плодоножку. «Без паники, — отвечала Москва. — Мы тут новый союзный договор готовим...»

«Не верю, — говорил Дада, раскачиваясь над ковровой дорожкой. — Верю... Не верю...».

Москвича дернули в два часа ночи.

Шелестел дождь, у подъезда урчала «Волга».

«Дедушке плохо!»

«Я должен почистить зубы!» — Москвич рывком надел брюки; рядом, торжественно держа галстук, стояла мать.

«Там почистите!»

Не раскрывая зонтов, добежали до машины.

Хлопнула дверь, фары мазнули по детской площадке.

«Запишите: улучшить жилищные условия!» — Продиктовал один из ночных гостей.

Москвич стал делать упражнения для языка: напрячь — расслабить.

Напрячь! Расслабить! Свернули на Ленина. Напрячь...

Второе упражнение, «лодочку», сделать не успел.

Зубы почистить тоже и не дали.

«Какие вам зубы? Состояние критическое!»

И еще что-то добавили по-узбекски. Уважительное, восточное.

Тело лежало в полутемном кабинете.

Лицом вниз, на ковре, под кадкой с голубой елью. Кадка была забрызгана кровью или какой-то другой гадостью. На спине темнела дыра. Из дыры торчал остаток ветки со слипшейся хвоей.

«Вот, как узнал про Беловежское соглашение... Ветка сразу р-раз! И проавлрол сролк паровл!»

Рядом сидел врач и заматывал дрожащими руками фонендоскоп.

«Здесь нужен ботаник. — Врач поднялся. — Как человек, он фактически...»

«Ботаник уже был». — Кивнули в сторону соседнего кабинета, откуда доносился плач.

Москвич склонился над телом.

Поднял голову:

«Очень прошу всех выйти».

Повисло молчание.

Начали выходить. Один за другим, соблюдая субординацию.

Один, курчавый, задержался в проеме:

«Я...»

«Я попросил всех».

Проем опустел.

Москвич пролез ладонью под тело, расстегнул ему брюки.

Приспустил. Тело было холодным. Поднял, как куклу, перенес на диван.

Сдул со лба челку, чтобы не мешала работать.

«Значит, так. Сначала по нашей, три составные части. А потом как американцы...».

Высунул язык, повертел. Кончик носа, кончик подбородка.

Представил, как их учили, красные знамена, уханье революционных маршей, ликующие толпы наполняют город, страну, разливаются по земному шару, по обеим полушариям, как на карте... Телесный розовый цвет, которым всегда расцвечивали первое в мире государство рабочих и крестьян, постепенно распространялся и на все страны, на две идеальные окружности...

Кончик носа, кончик подбородка...

«Давай, язычок, не подведи!»

За окнами наливался рассвет. Первый луч ударил в хрустальную пепельницу и раскрошился на радугу.

Когда солнце доползло до дивана и осветило лицо лежащего, оно уже не казалось безжизненным. Наметился румянец. Губы расплзались в улыбке.

Москвич откинулся на ковер. Край языка высовывался изо рта, челка приклеилась ко лбу. Рубашка была залита слюной, взгляд не выражал ничего.

Человечек на диване открыл глаза и тут же сощурился от солнца.

Чихнул.

В кабинет, толкаясь, пытаюсь опередить один другого, вбегали люди.

Они падали на колени и выражали неподдельную радость.

Локтями, плечами, животами они отпихивали друг друга от дивана, на котором восседал Дада.

«Какое счастье! Мне удалось вас вернуть к жизни! Нет, это мне, мне удалось!.. Дада, это мои молитвы дошли, без молитвы ничего бы не помогло! Молитва! О, о, молитва!.. Не-ет, медицина, медицина!.. О! Молитва и медицина!»

Москвича оттеснили, едва не затоптав. Сил встать у него не было, говорить из-за распухшего языка он не мог. Да его бы никто и не услышал.

Целая толпа ползала на коленях перед диваном, смеясь, разводя руками и даже кудахча от радости. А один, тот самый, который все не хотел выходить из кабинета, — встал на четвереньки и начал восторженно бляеть, мотая курчавой головой.

Дада, снисходительно улыбаясь, потрепал его по кудрям.

Тут же послышалось еще одно бляенье...

И еще, и еще.

Скоро бляели уже все, мотали лысынами, делали рожки.

«Бэ-э-э! Бе-э! Бе-бе-бе-е!»

Каждый изо всех сил старался перебляеть другого.

А Дада сидел, озаренный солнцем, и поблескивал пряжкой расстегнутого ремня.

«Бе-э-э-э!!!»

Его положили в правительственный, на Луначарском.

Опухоль еще не спала, но он уже мог произносить слова. Днем, между процедурами, он гулял в трико и спрашивал себя, для чего он живет.

Один раз приехала мать, привезла тазик с подгоревшими гренками. Сказала, что приходили с горисполкома, по поводу жилищных условий.

«Я им показала наши условия!»

Москвич проводил ее, покормил гренками собак. Снова стал думать о смысле жизни. И еще о человечке, к которому его возили той ночью.

Кем был этот Дада? Первый секретарь? Нет, первого он видел, ростом выше и без всякой елки. Второй? По идеологии?

Москвич пинал жестянку, стараясь забить гол самому себе. Пошел дождь, матч пришлось отложить, запинал жестянку в арык, зашагал в палату.

«Может, мне это все приснилось?» — Думал, лежа на животе.

Но за сны жилищные условия не улучшают. Уже десять лет в очереди стояли, чтобы вместо двушки, где они все друг на друге, дали трешку.

Зашла медсестра с капельницей.

«Поработайте кулачком!»

Поработал. Вначале кулачком, потом, когда она уже не сопротивлялась — всем остальным.

«Жалко у меня еще язык не прошел. Я бы тебе такое показал!»

«А мне и так...» — Девушка пыталась дотянуться до капельницы и немного ее отодвинуть, чтобы этот сумасшедший не опрокинул.

Нет, он не был сумасшедшим.

Дождь прошел, потом еще один, уже без той медсестры. И еще, с лужами цвета кибрайского пива.

Язык выздоровел. Жилищные условия слегка улучшились. Пришел с работы, поигрывая ключом от новой трешки. Съездили, посмотрели, вздохнули. И комнаты смежные, и ремонт требуется, как ни крути. «Отказывайся, — перекивала шум мотора мать, когда они возвращались, — пусть лучший вариант дадут». Москвич кивал, зная, что лучший не дадут.

Начинались девяностые. После белого Барана явилась черная Обезьяна. Огляделась. Ухмыльнулась. И пошло-поехало. Москвичу уже дважды намекали на язык. В смысле — на незнание государственного. Комсомол испарился, остатки слили с партией, которую тоже переименовали — в Народно-демократическую. Народные демократы слонялись по коридорам, курили, посыпали пеплом кадки с пальмами, пугали друг друга исламистами. Стоял шорох складываемых чемоданов и защелкиваемых застежек. Россия, Израиль, Штаты, куда угодно. Москвич не ходил по коридорам, не сыпал пепел, не думал о чемоданах.

Сидел в кабинете, изучал узбекский.

«Икки дўст, Саид ва Ваня, кучада учрашиб ?олишди.

— Салом, Ваня!

— Салом, Саид! Саид, сен езги каникулни ?андай ўтказдинг?

— Рахмат, жуда яхши! Мен отам-онам билан Москвада бўлдим! Биз Москвада Ленин музейни, Кремлни, Съездлар саройини, Хал? хўжалиги юту?лари кўргазмасини ва бошка ажойиб жойларни курдик...»¹.

«Не актуально...» — Откладывал учебник Москвич.

Но что актуально, пока было неясно.

Следующий Новый год они встречали в новой, после ремонта, квартире.

Мать распределяла комнаты: «Тебе вон та комната, которая поменьше. Машку-Дашку — в спальную, а я с матерью — в гостиную, а не приведи боже, помрет, так простора будет, жри — не хочу!»

«Краской воняет», — подавала голос бабушка.

«Это, мам, твоими лекарствами воняет!» — сказала она, отодвигаясь от Москвича, колдовавшего с бутылкой шампанского.

Бутылка выстрелила, жертв не было.

Наступил год черного Петуха.

«Кукареку!» — кричала мать, чокаясь.

«Кукареку!» — подхватили сестрички.

Даже бабушка покудахтала для приличия из подушек.

«А ты что не кукарекаешь? — Смотрела на него мать. — Сложно, да? Опять свой характер?..»

— А что было дальше? — спросил Тельман, когда тишина стала слишком долгой.

Водитель тронул ладонью Тельмана: дай человеку помолчать.

— Дальше — жизнь. Мать — на пенсию. Бабка помучила еще годик для порядка и — на Боткинское; взял на работе отгул, объяснил причину. «Сколько лет было?» — «Восемьдесят». — «Ну, такой возраст, это не похороны, а свадьба».

— Да, так говорят, — сказала Принцесса.

— Ну, справили ей эту «свадьбу», стали жить. Мать, то ли от этой смерти, то ли

¹ «Два друга, Саид и Ваня, встретились на улице.

— Здравствуй, Ваня!

— Здравствуй, Саид! Саид, как ты провел летние каникулы?

— Спасибо, очень хорошо! Я с родителями в Москве побывал! В Москве мы осмотрели музей Ленина, Кремль, Дворец съездов, Выставку достижений народного хозяйства и другие удивительные места...»

от своей пенсии, совсем скисла. Лежит, уткнется в Дрюона. Давай, говорю, собаку заведем. Как люди, как соседи. Она вроде согласилась, да-да. Через день кот притащил: «Вот!..»

- А с работой как? — спросила Принцесса.
- Работал. Работа была, а платили как... Бизнесом пробовал заниматься.
- Тогда все пробовали, — сказал водитель.
- Москвич промолчал.
- А туда вас больше не вызывали?
- Куда?
- Туда! — Водитель ткнул пальцем вверх, в черную пустоту.

Из черной пустоты иногда звонили. Интересовались. Но поработать не звали. Своих тружеников хватало. Москвич до белизны в пальцах сжимал трубку.

«И хорошо, что не зовут». Пнув тумбочку с телефоном, шел в ванную. Закрывался, проверял в зеркале язык.

Спасался женщинами. Первая была на пять лет старше, обучила его разным чудесам. Чудеса скоро надоели. Потом вторая, третья. Сбился со счета. Считал себя страстным.

Наверх не звали. Звали к каким-то бизнесменам, за вознаграждение. Кто-то из прежних друзей этим и питался. Один раз рядом притормозил Мерс, выставилась воробыная голова Лаврика.

«Ну да, бизнесмены, — говорил Лаврик, подвозя его. — А какая разница? Половина — наши же, бывший райком-горком. Теперь бизнесмены. Разница, что ли?»

Лаврик ерзал за рулем и оглядывался. На прощание сунул влажную лапку:

«Ну, смотри. Потеряешь квалификацию. С твоим языком я бы...»

Нежно погладил Мерс, оставляя туманный след на лаке.

Москвич вышел ночью на кухню, щурясь от электричества.

Мать скатывает ватман. Остановилась, посмотрела.

«Наверху у этих дети дикие, вчера всю ночь мне по мозгам бегали».

Москвич отпилил себе пол-яблока.

«Недавно в «Даракчи» рецепт хороший встретила».

Натянула на рулон резинку для волос.

«Салат "Юрагим"¹. Сердце промыть, очистить от жилок...»

Москвич с половиной яблока в зубах направился из кухни.

«Хоть бы поговорил с матерью!»

«О салате?»

«А хоть бы и о салате!.. Хоть о салате. Не для себя ж одной готовлю».

«Я хочу спать, ма!»

«Иди, спи! Дрыхни. Ни денег, ни квартиры, ни продуктов. Только салаты из всякой дряни... Вот что. Хочешь, сиди здесь, я не могу. Завтра же в российское посольство пойду узнавать. Иди, говорю, спи, что встал...»

Салат «Юрагим».

Сердце промыть, очистить от жилок и отварить в подсоленной воде.

Нарезать небольшими брусочками 1 огурец, 2 помидора, 80 г. сыра, 4 вареных яйца. Уложить в салатник, украсить зеленью.

Приготовить соус. Смешать майонез с хреном и лимонным соком.

Полить соусом.

В Москве он не прижился. Несмотря на любовь. Ни первое время, ни второе. Спасался женщинами. Они все варили готовые пельмени; пельмени серыми розами плавали в кастрюле на огне. Иногда лопались, выплывал комочек фарша, кувыркался в кипятке.

Прошелся по ташкентским друзьям. Здесь пельменями не мучили, пару раз утешили пловом, жирным, с водкой, вышибающим ностальгическую слезу. Москвич всматривался в лица, потом в тарелку остывающего плова. «Еще добавку?..» — «Да

¹ Мое сердце (узб.).

нет, пойду скоро». Уходил, его иногда провожали. Курили на платформе какой-нибудь Чухлинки-Пухлинки. «Послушай, Сева, почему все так?» — «Как?».

Нырлял в электричку, семечки, пиво. Ташкентские друзья таяли на платформе, сутулились, бежали под дождем по делам. Менялись, разводились, поправлялись, садились на диеты, на иглу, на пластмассовый член, летом летали за солнцем в Анталию, переставали поддерживать связи. «Давайте, все соберемся...», Москвич доклевывал остывший плов. Да, классная идея. Да, собраться, вспомнить. Да, хорошо. Конечно...

Постепенно он сам перестал встречаться с ними. Иногда звонил. Они ему несколько раз помогали. Протягивали руку, хлопали по когда-то мускулистому плечу. Не хандри, старик! «Давайте все соберемся, что ли...» «А кто — все?»

Он переставал звонить. Зачем. Кто уже устроился, раскрутился, оброс новыми привычками, связями — таким он был не нужен. Другие — серые, с гнилой пивной отрыжкой и перьями на грязном свитере — были не нужны ему... Он ехал в электричке, в животе шла известная любому ташкентцу диалектика плова и водки. Выходил на станции, хватал пиво, будет еще хуже, мать будет приноживаться, а что приноживаться, будто ее кошки ландышами пахнут.

Спасали женщины. В них можно было честно вдавить, зарыть, утрамбовать все свои неудачи. И глотать пельмени. Которые иногда ему даже нравились. Особенно если захрустеть их соленым, в лягушачьей коже, огурцом.

Забрезжила работа. Его помнили по практикам, да и ташкентские обкомовские, которые сюда вовремя катапультировались, тоже не забыли. Один раз столкнулся нос к носу — буквально — с Ваном из Тбилиси. «Я пока не в Тбилиси, — рассказывал Ван, потирая орлиный нос, — они же там только на словах демократы, а объекты у них те же самые; хорошо хоть брить стали, у американцев научились...» Ван был пьян и щедр, все порывался снять для Москвича проститутку и так поцеловал его на прощанье, что Москвич забеспокоился за свой шатавшийся передний зуб.

Нет, работа была. Купил двушку, для матери и сестер; сам снимал студию возле Белорусского: вся клиентура в центре. Экзистенциальные проблемы заглушал футболом, по четвергам розовел в сауне. Наметилась машина; он знал, что это будет Мерс. Иногда отправлялся осматривать достопримечательности. Музей Ленина, Кремль, Дворец съездов, Выставку достижений народного хозяйства ва бошка ажой-иб жойлар. Вдыхал горьковатый ветер метро, грибной воздух Подмосковья. Ташкент не то чтобы отпустил его, но слегка ослабил свои смуглые пальцы на его горле...

И тут грянул август. Да, тот самый. Он стоял перед банком, в руках была бутылка, и почему-то пустая. Потом он помнил, что ехал в метро, еще одна бутылка каталась по вагону. Сбережения исчезли. Долги, которые он делал и о которых почти забыл, стали, наоборот, осязаемы, как телефонная трубка, когда он разговаривал с наезжавшими кредиторами. Клиентура рассеялась. Звонил им. Долгие гудки. Или голос секретарши. Или автоответчик. Нет. Уехал. Не будет. Абсурдное: «Что-нибудь передать?»

«Передайте, что подыхаю...» — говорил в серое, варикозное осеннее небо, стоя на балкончике своей студии. Уже не своей. Три дня, чтобы освободить — платить нечем. Да и зачем теперь студия? Завтра шмотки к матери. Она уже героически ждет его и обещает соорудить свой фирменный «Юрагим».

И тогда он встретил Куча.

В районе Полянки. Рассекая лужи, подрулила машина с посольскими номерами. Вышел квадратный человек и замахал ему.

Москвич настороженно подошел, показалось — кредитор...

И уткнулся лбом в выбритый подбородок друга.

Потом сидели в японском ресторане, глотали морских гадов. Москвич намекал на плов, Куч обещал плов завтра, а сегодня... «Знаешь, старик, я тут подсел на японскую кухню...» Японская кухня оказалось слишком японской. От саке тело стало теплым и резиновым. Осьминог все не разжевывался, и Москвич сонно озирали окрестности в поисках салфетки, чтобы незаметно сплюнуть. Куч клацал палочками и рассказывал о себе. О себе нынешнем: холеном, с чуть ослабленным желтым галстуком. С часами, поблескивавшими в японском сумраке ресторана.

Москвич, освободив, наконец, рот от осьминога, спросил про Афган.

Куч подцепил креветку, искупал ее в соевом соусе.

«Я там на дикобраза научился охотиться».

«Ты его ел?»

«Я там все ел...».

Куч рассказывал о Даде, помощником которого теперь работал. Москвич слушал. Когда Москвич уезжал, Дада был понижен, хотя ходили слухи, что это он сам себя понизил, из тактических соображений.

«Да, тактик... Сильно сдал, но еще себя покажет». — Кивал Куч, примериваясь к очередной креветке.

Вышли на улицу, в ночь. В дождь, в лужи. От креветок изжога.

Москвич попробовал прощаться.

«Ты что? — остановился Куч. — Едем ко мне!..» Водитель распахнул дверцу. Изжога.

«Кстати, он спрашивал однажды о тебе...» — сказал Куч, когда они ползли в заторе по Тверской.

«Кто?»

Губы Куча, пахнувшие соей и морепродуктами, приблизились:

«Дада».

Москвич остался у него. Квартира была огромной, Куч зажег свечи и достал водку.

Водка так и осталась неоткрытой...

«Вот это да... — Куч поднял брюки и заправил сзади рубашку. — Как будто заново родился!»

Москвич сидел на полу и ковырял ворс ковра. Куч присел на корточки:

«Ты гений... Seriously. Даже нет, больше. Ты — профессионал. Люблю иметь дело с профессионалами... У нас там сейчас одни дилетанты».

Москвич посмотрел на нераспечатанную бутылку на столе. Теплая уже, наверное.

«Куч... А помнишь, мы тогда говорили о Достоевском?..»

«Да, конечно...».

Лицо его на секунду изменилось. Что-то от прежнего Куча, растиравшего слезы о шершавые маты в спортзале.

Исчез в ванной, загремел водой.

Москвич подошел к столу, потрогал бутылку. Нет, еще холодная. Только пить расхотелось. Икки дўст, Саид ва Ваня, кучада учрашиб колишди.

Мокрый Куч, замотанный в полотенце как римлянин.

Натряс себе водки, бросил лед. Подмигнул:

«Я вот что придумал... Только не говори сразу «нет», ладок?..»

Через две недели Москвич уже тыкал пластиковой вилкой в курицу на высоте десять тысяч метров. В иллюминаторе дымились облака.

Куч все устроил. Узбекский паспорт, который Москвич хранил уже как реликвию, был приведен в порядок. Трудоустройство референтом в Ташкенте состоялось; объективка с фотографией в галстук полетела диппочтой. Со студии съехал, вещи закинул к матери; мать кормила его салатом из крабовых палочек вместо «Юрагима» и кривила губы: «А жить там где собираешься?» — «У Куча на Анхоре квартира пустует...»

В ташкентском аэропорту его провели через ВИП. Гостеприимно улыбалось октябрьское солнце. Теплый ветер сдул с него всю московскую усталость.

Родина упала на него, теплая, днем на солнце даже горячая, со своими запахами, голосами и всхлипами. Город за его отсутствие похорошел — привыкая быть столицей отдельного государства, со своим взрослым антуражем, порой забавным...

Через два дня Москвич шел на работу. Шею приятно сжимал галстук, костюм благоухал химчисткой, как когда-то школьная форма первого сентября.

Еще через неделю купил щенка спаниеля и стал заботиться о нем.

По вечерам бегал с ним вдоль Анхора, останавливаясь и слушая плеск воды.

Раз в неделю гонял мяч — для сбрасывания жиров, нагулянных на московских пельменях. С женщиной пока не торопился.

Тридцать один, пора делать себе семью. Взять девочку помоложе, обучить ее технике счастья. Родить сына, можно даже дочку для биоразнообразия.

Только вначале машину. Да, Мерс; он так еще в Москве решил.

Скоро родина стала надоедать. Нет, он не жалел, что вернулся. Не жалел, честно. Таланты его оценили. Только платили за них мало.

«Деньги сейчас не главное», — говорит Куч, отгоняя от плеча мух.

«А что — главное?»

Куч достает пакет:

«На, возьми...»

Сквозь целлофан просвечивают пачки.

Москвич вяло отводит руку Куча:

«Мне пока хватает...»

Сам уже прикидывает в уме, на что потратит. Сантехнику в чувства привести. Заполнить ледяные пустоты холодильника. Матери отослать, чтоб губу не кривила. Если останется — на машину. Только фиг «останется»...

— Ну вот, все.

Посмотрел на Принцессу:

— Можете дальше рассказывать... свой рассказ.

— А вы женились?

— Нет. Работы было много.

— А ваш друг?

— Что мой друг?

Тельман поковырял веткой золу.

— Рассказывайте уже до конца. Я ведь о вашем друге кое-что знаю.

— Ну да, вы же журналист. Оппозиционные статейки катаете.

— Не оппозиционные. Обычные статьи. О том, что в действительности происходит.

— Я и говорю — оппозиционные.

— Не хотите — не рассказывайте. Я ведь у него интервью успел взять. Вот так.

— И что он вам сказал?

В то февральское утро Москвич проснулся, задыхаясь от счастья. Непривычного, острого. Как решающий гол, после которого валишься со всеми в одну потную, радостно прыгающую кучу. В окне звенело нереальной синевой небо; рванул раму, чтобы наполнить этой мелодией комнату. Помучил собаку; она облизывала ему шею. Несколько раз отжавшись, прыгнул в душ; вода упала на него, размазывая волосы по лбу.

Поутюжил щеки электробритвой, сделал упражнения для языка. В запотевшем зеркале шевелилось розовое пятно, протер стекло, чтобы видеть язык лучше. Попинал тапок; несколько пассов... Так, так... Го-ол! Тапок улетел под кровать, потом достанет. Позавтракал ужином, ставшим вкуснее за ночь, глянул в телек: в Багдаде все спокойно. Рубашка, пиджак, плащ. Проверил запястье — часы на месте, полвосьмого, врут. Пока!

По дороге подкрутил часы — отставать стали. В Москве, наоборот, спешили.

На вахте достал из рубашки нагретое телом удостоверение. Потормошил кнопку лифта. Махнув, понесся по мраморной лестнице, удерживая себя от несолидного перепрыгивания через ступеньку. В кабинете долго не мог запихать себя за стол, хотя ожог счастья уже немного проходил...

А потом небо зазвенело по-настоящему. Вздогнуло и посыпалось стекло.

Сыпалось, застревая в плотной лапше жалюзей.

Он почти не слышал звук взрыва. Стоял, медленно размазывая кровь по щеке.

В пустом окне качались жалюзи.

Над крышей Кабмина картофелиной завис дым.

Светило солнцем, он зажмурился и вдруг увидел себя, в московском августе, перед пустым банком. С дверями банка тоже что-то случилось, они были на фотоэле-

ментах, но почему-то закрывались, когда к ним подходили, а стоило отойти — гостеприимно распахивались. Он видел себя, как он стоит и наблюдает за этой паранойей, в руке покрывалась испариной ледяная бутылка пива, которого уже не хотелось, но он снова и снова прилипал губами к ледяному горлышку...

Вторым взрывом его толкнуло к стене.

В оседающей пыли дребезжал телефон.

— Да...

Внизу его уже ждали.

Пиджаки отливали синтетической радугой. Один из них был Куч. Серый, глядящий внутрь себя, в пиджак, в галстук. Утрамбовались в машину, не сразу захлопнули дверцу, мешало чье-то колено, не помнил чье... «Протрите лицо!» — «Что это было?..»

«Теракт», — ответили чьи-то губы рядом. И сжались в ниточку.

Москвич откинулся назад, насколько позволяли сдавившие его плечи. Стал глядеть в окно. Потом отвернулся: солнце. Много битого стекла. Ехали недолго, дольше базарили с милицией у въезда. Милиция глядела на них парализованными лицами и не хотела впускать. Из машины вышел Куч, сунул в нос удостоверение, потом ударил одного в форме. Тот отлетел и стек по бетонной стене. И остался сидеть, моргая вслед машине.

Въехали, остановились, дверца распахнулась; колено, ноги, мятые тела почти вывалились на асфальт. Мелкие голубые елочки и дистрофичные арчи. Людей ноль. Зашли во что-то мраморное, с темными мафиозными стеклами. Серое солнце пробивалось сквозь них и пачкало мертвым светом ковры. На секунду зажглось в стриженном, с искорками первой седины, затылке Куча.

Одно из министерств. Одно из многих, в которых министерствовал Дада. То он занимался мебелью и объяснял всем, какими должны быть диваны. То возглавил рыбное хозяйство и выступал по телеку с дохлой рыбой в руках. То через год, уже без рыбы, входил в МИД, и березки у входа шелестели над ним. Дада кивал: березки он одобрял, хотя они и были символом колониального прошлого. Хотя больше всего Дада любил елки, особенно почему-то голубую ель. Курируя лесное хозяйство (фотография на фоне бескрайних лесных просторов Узбекистана), Дада агитировал сажать эту несчастную голубую ель, сосну, на худой конец, арчу. Половина саженцев после первой же жары выгорала, но местные мастера кисти и пульверизатора научились так ловко их зеленить, что издали загримированные арчушки казались вполне зелеными, а вблизи Дада не разглядывал: дела, дела... Пропылит на служебной машине, благословит прищуром: хо-ош, хорошо елочки поднялись! И летит дальше под всполохи мигалок...

«Животнодух, — пояснил Куч. — В этом крыле — министерство животноводства, в этом — министерство духовности. Мы сейчас в духовности. Приемная на третьем».

Пробежка по пустому вестибюлю. Фреска: лошади, поэты, мыслители, гуманные тираны, снова лошади. Ахемениды, Саманиды, Темуриды, Лениниды. Нет, последних, конечно, нет; показалось.

Возле лифта последняя проверка.

Пальцы пробегают по телу Москвича нехитрой гаммой. До, ре, ми. Несколько чувствительных аккордов чуть ниже пояса. Ля! Си!!! И еще раз. Все в порядке. Теперь смотрит, как пальпируют Куча. На лбу Куча вздуваются арабской вязью вены. Капля пота на переносице, в густых ахеменидских бровях.

«Сука...» — говорит в лифте Куч. И озирается.

Москвич выкладывает язык и делает подготовительную разминку.

Тело на диване лицом вниз, как и тогда. Слегка постаревшее от непрерывной власти. Раздавшееся, в валиках жира. Москвич откашлялся. Остановился, ожидая. На диване молчат и дышат в подушку. Брюки уже приспущены. Москвич остановился. Сжал ладонью рот. Спазм. До малиновых пятен перед глазами. До хруста в шее. Никогда такого не было.

«С-сейчас! — Через почти зажатый рот, чтоб не вырвало. — Мне нужно одну вещь... Да, да, сейчас вернусь!»

Вылетел из кабинета — уперся в стену из пиджаков.

«Не могу... Не могу...» — в воротники, в галстуки, в карманы с авторучками.

«Ты что?! — Вцепились в него волосатые пальцы. — Ты что! В такой день — там люди погибли, сука, а ты...»

«Тошнит!..»

«То-шни-ит! Слушайте, а может, он — тоже их человек... Ну, взрывавших».

«Кучкар, это ты его привел, ты и ответишь!»

«Не могу!»

Удар подсек Москвича, он рухнул на ковер, пытаясь прикрыть голову.

«Ты слышишь? Дедушке плохо... Дедушке плохо!»

Его снова приподняли. От резкой боли в паху он согнулся.

«Дедушке плохо!»

«Прада рмапжщкур рариоа!»

Потащили к столу, опрокинули в него графин. От боли тошнота исчезла, чья-то рука помогла встать. Повернулся, уперся в подбородок Куча. Подбородок дрожал.

«Старик, пойми, от тебя все зависит. Нет ему альтернативы... Ну, ты же профессионал, языком чудеса творишь...»

Еще несколько рук приподняли Москвича и понесли обратно в кабинет.

Диван приближался. Тело все также лежит лицом вниз. Объект увеличивается, он уже видел тень от своей головы на нем. Крепко держат сзади. Остальные завороченно глядят на его танцующий язык. Хватка сзади слабеет, уже не нужна. Да, он профессионал. Он просто профессионал. Тошнота прошла. Пиджаки в суфийском трансе поднимают руки. В голове перекачивается по извилинам: *«Не отрекаются любя... Не отрекаются любя... Не отрекаются любя...»*

— Что было потом?..

Принцесса смотрела на Москвича сквозь костер. Огонь снова поднялся, хотя новых веток уже давно никто не подкладывал, просто сам собой.

— Работал, — ответил Москвич. — Освоил государственный язык. Поработал в Ташкенте. Потом направили в область. На подкрепление. Там поработал.

— Женились?

Москвич промолчал.

— А! — вскочила Принцесса. — Паук! Паук!

— Где?!

— Вот! Вот ползет! А-а...

Вскочил водитель.

Через секунду огромная фаланга чернела, съеживаясь, в огне.

— На свет приползла, — сказал водитель, садясь.

Воткнул обратно в костер обрубок дымящейся ветки.

Принцесса стояла, боясь сесть.

— Первый раз такую крупную вижу, — сказал Москвич.

— А я даже крупнее видал, — подал голос Тельман.

— Где?

— В одном неинтересном месте... Вы рассказывайте.

— Да я уж все рассказал. Теперь вот ее очередь дорассказывать.

— А я тоже почти все рассказала. Остальное неинтересно, наверное. Может, вы свою расскажите?

Посмотрела на Тельмана.

Ким

Он родился в корейской семье. Корейской, православной. В Приморском крае, где семья проживала раньше, родителей окрестили вместе со всей деревней, раздали деревянные крестики. В тридцать седьмом всех корейцев, опасаясь их шпионажа, загнали в поезда и потащили вагонами через Сибирь неизвестно куда, многие говорили, что в ад. Но родители не только от такой дороги не померли, а ведь могли, но даже

болели нетяжело, только у отца на всю жизнь сохранился кашель. Добравшись до ада, все вышли, будущие родители тоже. Кругом пустота. Полная пустота без деревьев, без моря и других вещей, к которым привыкли в своей прежней жизни, а воздух сухой, колючий, пыльный. Но все-таки воздух был, воздух, нужно было только освоиться в нем, научиться дышать. Через год они научились, а еще через два года зарегистрировали брак. Любви было мало, но семьей двоим людям выживать легче. Для общего сведения, колхоз, в котором работали, специализировался по луку.

Отец, Ким Виссарион Григорьевич, стал передовик производства. В партию его из-за нации не звали, и он спокойно продолжал молиться русскому Богу, целую икону, благодаря за урожай, за новый сорт лука и рождение очередного маленького Кима. Колхоз располагался недалеко от города Ташкента. Виссарион Григорьевич вскоре после войны побывал там с агрономом по линии командировки, заодно узнал насчет церкви. Ему сказали, что церковь есть и где. Только переспросили, точно ли ему, по виду казаху, нужна церковь, а не мечеть, например? В городе тогда корейцев по населению было мало, но их почти не знали, принимали за казахов, которых знали. «Я не казах, — объяснил Виссарион Григорьевич. — И мне нужна церковь по личному делу».

Церковь была возле Госпитального базара, ее недавно открыли, до этого был гараж с машинами. Теперь в помещении шел частичный ремонт. На нетиповую наружность Виссариона Григорьевича снова обратили внимание, но, заметив, как он грамотно крестится и кладет поклоны, отвернулись и стали смотреть в другую сторону. А Виссарион Григорьевич и сам радовался, что не забыл эти движения. На исповеди батюшка ласково спросил его о нации, Виссарион Григорьевич ответил, что нация корейская, но крещен в детстве, по поводу чего носил крестик, который пропал в депортации, одна только священная ниточка на шее и осталась, вот эта, а новый крестик изготовить сам для себя считал нескромным. Священник выслушал про поезд и Сибирь, даже про лук и еще про кое-что, чего пересказывать нельзя, исповедь все-таки, а потом показал, где можно купить новый крестик, что и было сделано.

С тех пор Виссарион Григорьевич раз в месяц, надев пиджак и шляпу, ездил в Собор. Там к его внешности привыкли, не толкается, шляпу снимает, ну и что, что казах или кто он там. А когда Виссарион Григорьевич принял участие в субботнике по разбору пола, то и зауважали, стали спрашивать о здоровье и передавать приветы. Иногда он приводил с собою жену, но она в церкви чего-то боялась и оглядывалась по сторонам, как в гостях. Когда в церкви собирали пожертвования для сирот войны, Виссариона Григорьевича выбрали в помощники, он передал в общий котел свою рубашку и помог составить список, копию которого потом берег, не выбрасывая, не сдавая в макулатуру.

*Список вещей,
пожертвованных прихожанами обеих церквей города Ташкента
в пользу сирот воинов, погибших на фронте*

1. Материя хл.-бум. в клеточку — 7 м.
2. Материал синий фланелевый 1 1/4 м.
3. Пеленки детские белые — 4
4. Салфетка желтая — 1
5. Материал хл.-бум. ситец в полоску — 3 м.
6. Бязь 1 1/2 м.
7. Грисбон 2 1/2 м.
8. Бязь — 2 м.
9. Желтый материал — 1 м.
10. Материал ситец горошками — 3/4 м.
11. Материал белый в трех кусках 3/4 м.
12. Шерстяная вяз. кофточка
13. Полотенца разные — 12
14. Детское пальто старое — 1
15. Брюки д/мальчика старые синие — 1

16. Носки теплые — одни новые
17. 3 панамы старые
18. Вязаная тюбетейка — 1
19. Гимнастерка старая — 1
20. Пшено 0,5 кг
21. Дамские чулки — 2 п. новые
22. Носки мужские — 2 п. новых
23. Детские чулки — 3 п. новые
24. Носочки старые
25. Брюки мужские белые ношенные — 1
26. Кофточки детские — 3 старые
27. Рубашки детские д/мальчика — 3 старые
28. Трусы старые — 3
29. Мужская рубашка — 1 старая
30. Платьице детское новое — 1
31. Платьица детские новые — 2
32. Свитера детские старые — 2
33. Майка старенькая — 1
34. Рубашечка детская — 1
35. Сетка мужская новая — 1
36. Косынка вязаная белая — 1
37. Красн. сатинов. повязка — 1
38. Носовые платки — 6 старых
39. Скатерть старая вышитая — 1
40. Марли на 2 платка
41. Нагрудники — 2 старых
42. Беретки — одна пуховая, одна вязаная
43. Фуражки старые — 2
44. Платье детское старое — 1
45. Детские колготки старые — 1
46. Моток ниток серых

«Мама, посмотрите, вот какой-то спи-сак вэ... вещ...»

Тельман был младшим, самым младшим, пятьдесят пятого года. Года Барана, говорила мать, помнившая названья всех корейских годов. Тельман, маленький барашек, много спрашивал, интересовался всем. Задавал вопросы сестрам и матери. Они что-то по-женски, по-своему, отвечали. Отец бывал дома редко, ел отдельно, быстро засыпал и не любил разговоров.

«Положи, отец ругать будет! Это документ».

«А я почитаю и отдам. Можно?».

Подергал за фартук.

Но мать уже устала от такого пустого разговора. Молча зашуровала тряпкой.

В семье говорили мало. Отец с матерью разговаривали в основном взглядами. Отец посмотрит, мать вздохнет. Мать посмотрит, отец нахмурится. Даже когда не совсем понимали друг друга, редко переходили на слова. Рима, старшая, тоже была молчалива. Только один раз Тельман услышал ее речь, когда шла со школы с подружками и смеялась. «Разговаривает», — подумал Тельман, никому об этом не рассказал. Даже матери, которой всегда все рассказывал; мать слушала, делая при этом какую-то домашнюю работу, шинкуя морковь, иногда откладывала нож, гладила его по голове. Ладони у нее были теплые и мокрые и пахли так сытно, что подышишь ими — и можно даже не завтракать.

И еще информация. Когда ему исполнился год, родители, по обычаю, поднесли его к столику, на котором разложили разные предметы. Чашка-чальтоги, книга, карандаш, ножницы и деньги. Что выберет ребенок, такая ему судьба.

— И что вы выбрали?

Принцесса успокоилась после фаланги и снова подседа к огню.

— Карандаш.

— А что это значит у корейцев?

— То же, что и у всех. А лично для меня — что я после школы бегом пошел поступать на журналистику.

— На журфак? — спросил Москвич, чертя палочкой по песку.

— Отец против был, хотел, чтобы я выучился на бухгалтера, ему нравилась эта специальность, жизненная. И вдруг: а может, на священника пойдешь учиться? Я даже удивился. Я современный человек, и вообще... Отец замолчал, и то столько всего сказал, на него не похоже. Зря его не послушал. Думаю иногда... Жалко, у меня детей своих нет, я бы им обязательно объяснил, что родители, особенно отец, это авторитет на всю жизнь.

— А, извините, отчего детей у вас не было? — Москвич отбросил палочку. — Просто, если мы уже друг перед другом никаких секретов...

— Пожалуйста, могу сейчас сказать. Детей забрала музыка.

— Какая музыка?

— Хоровая.

Спевки шли почти каждый день. Иногда он успевал забежать домой, чем-то набить рот, а иногда шел прямо со школы неблизкой дорогой, пешком или на велосипеде. Да еще в пути надышишься пылью, придешь, ни голоса, одно «кхе-кхе». Руководитель хора, Пяк Владислав Тимофеевич, правдами-неправдами выбил у правления, чтобы их из школы машиной брали, тех, кто пел. Но то бензина не было, то уборка, и каждая лишняя пара колес на вес золота. А пропускать спевку нельзя. Да и как пропустишь, если ты — солист, сын передовика по луку, лучший голос колхоза, «серебряный голосок», как про тебя в корейской газете «Ленин кичи» напечатали? Хор возили по разным мероприятиям, засыпали почетными грамотами. Детских хоров тогда, в конце шестидесятых, по республике было раз-два и обчелся, а Владислав Тимофеевич умел и репертуар чтобы в духе времени, и братство народов подчеркнуть: дети у него пели и по-русски, и по-украински, и по-узбекски, и даже по-корейски.

Несколько слов о Владиславе Тимофеевиче. Человек сложной судьбы, яркий пример фанатика своего дела. По первому образованию врач, двигался по научной линии во Владивостоке, сохранилась фотокарточка, где он молодой с микроскопом. Депортация его спасла, всю их лабораторию посадили, а его только депортировали. Ему даже разрешили пойти на фронт, куда корейцев почти не пускали, из-за подозрительной национальности. На фронте его ранило, на костылях и с серым кругляшом медали «За боевые заслуги» демобилизовался в Ташкент. Там неожиданно для всех поступил в консерваторию, хотя корейцев не брал ни один вуз, видно, сыграло роль, что фронтовик. И еще сверхъестественный слух, которым он поразил всех на вступительных, а там эвакуированные профессора из Ленинграда сидели, весь цвет, один профессор ему даже руку пожал. Костыли студент Пяк скоро сменил на палочку, а от палочки отказаться уже не мог, да и солидность она добавляла к его стройной, мальчуковой фигуре.

Так, с палочкой и красным дипломом, явился в колхоз — поднимать хоровое пение среди корейской молодежи. Ему предлагали остаться в Ташкенте, чтобы дирижировать армейской песней, но его тянуло к детям, да и о том, что он кореец и в любой момент может за это пострадать, Пяк-сэнсеным не забывал. Так что с консерваторским дипломом явился на луковые грядки. Заслуживает внимания, что при этом он еще продолжал интересоваться новинками медицины, выписывал соответствующие журналы, которые ему доставлял на своем скрипучем велосипеде почтальон Валерий Хан. Однако на медицинские темы говорить с односельчанами Владислав Тимофеевич не любил, отмалчивался и чертил ногтем на клеенке нотные знаки, если дело происходило за столом.

М-м-м-м-м...

Мычание из клуба было слышно издали. Тельман бежал, опаздывал. Задержали в школе, хотя он и объяснял, что у них скоро выступление, а он и так неделю не ходил,

потому что отправили помогать старшим на прополке, даже Владислав Тимофеевич не мог своих хористов освободить и только держался за сердце.

Ма-мэ-ми-мо-му...

Тельман влетел в Клуб; знакомый старичок-вахтер в тюбетейке приоткрыл левый глаз: «Беги-беги, молодежь».

Ма-мэ-ми-мо-му...

Хор только распевается, значит, Владислав Тимофеевич не будет распекать за опоздание. И может, даже не заметит, что у него с голосом что-то... или может, ему кажется...

«Ба-бэ-би-бо-бу...» — гудело за дверью.

Он кашлянул, постучал и открыл. Сразу встретился взглядом с Владиславом Тимофеевичем, который стучал по исцарапанному пианино и давал тон.

«А, Ким...»

Сухо кивнул, взял следующий аккорд, на полтона выше.

Тельман быстро поздоровался и встал в хор на свое место.

Да-дэ-ди-до-ду...

«Вторые голоса, подтянули!» — поднимает голову Владислав Тимофеевич и смотрит на Кима.

Та-тэ-ти-то-ту... Фа-фэ-фи-фо-фу!

«Товарищи вторые голоса, — говорит Владислав Тимофеевич, — вы сегодня, наверное, съели мало каши. Цой, встань ровно... Вот так!»

Но смотрит при этом на Тельмана.

Когда закончили распеваться и начали «Подмосковные вечера», Владислав Тимофеевич вдруг остановился, рассеянно перелистнул пару нотных страниц, задумался.

«Речка движе-ца и не дви-же-ца-а...»

Попросил взглядом Тельмана задержаться. Остались вдвоем, сказал спеть из репертуара. Тельман спел, чужим для себя голосом, который он почувствовал у себя во рту и горле еще на спевке. И другие ребята почувствовали, заметил одну-две улыбки, кто завидовал, что он солист-любимчик.

Владислав Тимофеевич поморщился, будто слишком острую кимчу пробовал. Велел подойти под лампочку и открыть широко рот. Тельман встал под лампочку, Владислав Тимофеевич заглянул в его горло.

Опустился на стул и произнес: «Мутация».

Начал говорить, тихо и медленно. На своем чистейшем литературном русском языке. Он, конечно, понимает, что мутация — закон природы, рано или поздно это начинается у всех, и у двоечников, и у хорошистов, и, что скрывать, у отличников, и что он понимает. Что он сам когда-то, в лаборатории, изучал, как происходят такие процессы у разных животных и людей. Но вот, Тельман, какое дело, начальству про мутацию не объяснишь, а должно быть очень большое начальство, целая комиссия, хор повезут в Ташкент, где будет решаться судьба хора и, можно сказать, корейского молодежного хорового искусства.

«Заменить тебя никем не могу. — Владислав Тимофеевич ритмично хлопал по ручке своей палки. — Никем. Кандидатуры на звание солиста у меня пока нет. И еще вот какое дело... Про тебя уже там спрашивали, запомнился ты им, Ким. Ваш серебряный, говорят, голосок будет? Такое положение. Что теперь им сказать? Ведь это отбор на всесоюзный конкурс. Понимаешь? Вот какой уровень. Лучшие коллективы поедут во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Такие вот разговоры, товарищ Ким».

Тельман закусил губу.

«Владислав Тимофеевич, что делать?..» — шмыгнул.

Руководитель хора хранил молчание. Закурил «Беломор». Редкий эпизод, обычно в классе не курил, дымом голоса не отравлять.

«Человечество, Ким, не первое столетие бьется над этим вопросом. Над вопросом, как сохранить прекрасный детский голос. Как остановить его ломку. В Италии, например, мальчикам, кто пел, делали специальную операцию...»

«Какую?»

Владислав Тимофеевич внимательно посмотрел на него.

«Не важно, какую, Ким. Такие сейчас не производят. Медицина ушла вперед, очень сильно ушла. Сейчас можно, например, выпить всего несколько таблеток...»

Через день Пяк-сэнсеным вернулся из Ташкента с нужным лекарством, завязанным в носовой платок. Похвалился, что достал по большому блату, через научные связи. Развязав платок, протянул Тельману.

Тельман стал принимать, пообещав хранить это в военной тайне. Владислав Тимофеевич освободил его на время от пения, но на сами спевки сказал ходить. После спевок справлялся о самочувствии, подводил к лампочке и заглядывал в рот.

Результат не заставил ждать. Через несколько дней утром Тельман проснулся и горлом почувствовал возвращение голоса. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо!» — запел он, выскакивая в огромных отцовских трусах во двор, под кудахтанье испуганных кур...

«...Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» — пел он через две недели перед комиссией. Правда, не так хорошо, как всегда, да и остальной хор... Перед выступлением их долго мариновали в холодном фойе, кого-то ждали, кто-то выходил и спрашивал: «Ну что, может, этих корейцев уже отпустим?». «Мы никуда не уйдем! — Стучал палочкой Владислав Тимофеевич, — я до горкома дойду!» Наконец, как великую милость, разрешили спеть. Спели после всего этого понятно как. А «Артеком» и не пахло.

Владислав Тимофеевич привез из города еще одну помятую почетную грамоту. Встретившись со взглядом Тельмана, сказал: «Главное — это искусство. Только искусство! Все собрались? Начали...»

Ма-мэ-ми-мо-му-у-у!..

— Что он вам скормил? — смотрел на него Москвич.

— Не помню. Что-то антигормональное. Сильное средство. Задерживает половое созревание. Вплоть до бесплодия, в отдельных случаях.

— И это был как раз ваш случай?

— Не только мой. Он еще парочку солистов таким же образом полечил. Когда некем заменить было или просто хотел их в хоре притормозить. Всплывать начало позже, когда ребятам уже по восемнадцать—двадцать, а голосок еще детский, ну и там, в трусах, все еще как у мальчиков. Да и тогда никто про хор не подумал, в то время тем, что в трусах, мало интересовались, не то, что сейчас. Его солист один заложил, когда меня уже в хоре не было. Плохо таблетки спрятал, родители нашли: что? откуда? Дело быстро замяли, Владислав Тимофеевич уже одной ногой в могиле стоял, беззубым ртом: «Только ради искусства!» Но кое-что всплыть успело. Что лаборатория, в которой Пяк-сэнсеным во Владивостоке работал, занималась как раз разработкой гормональных вакцин, опыты на детях тоже проводили, пытались идеального советского человека создать. Это я уже в перестройку где-то читал.

Улыбнулся.

— А вообще не жалею. Даже когда узнал, чего он меня своим хором лишил. Замечательный хор был, если честно сказать. Почти профессиональный. Ходил туда, как на праздник.

— Я помню этот хор, у нас на каком-то слете он пел, — сказал Москвич. — Вышли корейские ребята и запели «Пропала собака», в президиуме не знали, куда деться, а в зале вообще истерика, сидят, давятся...

— Да, помню. Говорили Владиславу Тимофеевичу, лучше эту песню в репертуар не брать, все знают, что корейцы из собак кядя готовят, будет неверное понимание. Только ему что говори, что молчи. Песня ему очень нравилась, и Шаинского обожал. Я тогда уже в Ташкенте на журфаке учился, но, когда свободен, всегда домой, в основном из-за хора.

— Все еще в детском хоре пели?

— Не солистом, конечно. Но пел. Выглядел я как школьник; Владислав Тимофеевич меня назад поставит, новичкам на подкрепление. А когда голос все-таки немного погрубел, это на курсе третьем уже, после хлопка, Владислав Тимофеевич поручил

мне фальцетом петь. Хорошо получалось, что интересно. Даже когда уже в «Молодежке» работал, нет-нет, да и загляну на огонек, попою от души. Песни все те же пели, что при мне, ну, две-три новые, в духе времени, а так... Кроме меня еще пара была таких же «детей», Цой Олег и еще. Мы себя в шутку называли «В бой идут одни старики», фильм, помните, был. Только когда усы решил отращивать, тут уже пришлось с детством расстаться. Этих усов Пяк-сэнсеным мне так и не смог простить. Еще бы, говорит, годик попел, в «Артек» бы с нами съездил, маячит перспектива. Я говорю: Владислав Тимофеевич, куда мне «Артек», мне уже тут некоторые ребята в сыновья годятся. Хотя, конечно, очень хотел разок в «Артеке» побывать, попеть около костра. Но усы мне были необходимы для работы, чтобы чуть-чуть солиднее выглядеть, а то куда ни сунешься, все как с юнкором обращаются. Усы так и не выросли до нужного размера. Ерунда выросла. Все под ноль сбрил, в итоге. Пришлось прибегнуть к сигарете, хотя бы голос немного в соответствие с паспортными данными привести. Но это уже когда я из «Молодежки» из-за этой статьи ушел...

Он написал статью о кобонди. Откровенно и правдиво описал условия работы сезонных рабочих-корейцев, выезжавших в другие земли сеять лук и собиравших рекордные урожаи. Обрисовал, как живут эти труженики в своих «балаганах», из досок и рубероида, и каких достигают впечатляющих результатов. Написал о том, как в конце сезона только ленивый не вымогает у них «благодарность».

Проблемы кобонди он знал не понаслышке. Из колхоза многие стали выезжать. Тельман, вооружившись блокнотом и не забыв журналистское удостоверение, задумав поговорить тогда в форме интервью со многими. И с теми, которые вернулись, и с теми «ласточками», которые только собирались в дальнюю дорожку. И удостоверением махать не понадобилось: молодого Тельмана Кима знали, и как сына известного луковода, и благодаря пению в хоре, и по некоторым актуальным статьям. Кобонди не таились, делились проблемами и раздумьями.

Хорошая получилась статья; за нее и выгнали. Тираж, который еще не успели распространить, изъяли; редактору за близорукость — строгача, а сам Ким вылетел из редакции, как мотылек из костра, с обожженными крылышками... Чтобы, покружившись в потемках, снова спикировать к огню. Его еще в детстве мать с бабочкой сравнивала и просила быть серьезнее, почтительнее к людям. Он обещал...

Так он поработал в нескольких изданиях.

Везде его ценили за скромность, исполнительность, знание узбекского. И везде старались избавиться от него после публикации очередного материала... Потому что сразу после публикации атмосфера в редакции сгущалась, телефон вскипал, гремели грома; под ледяными струями из редакции выносили главреда с обугленной лысиной; следом, волоча остатки опаленных крыл, брел Ким...

«Привет, диссидент!» — окликали его коллеги в кафешке возле Дома печати, где он вечно сидел с остывшим чайником, перебирая исписанные листы, вычеркивая карандашом, дописывая.

«Как делишки, как детишки? — Подсаживались к нему за столик, смахивали насыпавшую сверху чинарную листву. — Что новенького накатал?»

«Такое дело... Впритык к собору, ну, на Госпитальном, морг перенесли. Запахи, все такое. Верующие недовольны. А сверху на их жалобы чихают. Вот, материал сделал...»

«Не пройдет».

«Думаешь? Я постарался объективно».

«Тем более».

Ким чесал голову карандашом:

«Отец попросил, отцу отказать не могу, до сих пор в эту церковь иногда ходит».

«А у тебя что, отец... православный? Православный кореец?»

Ким кивал, вытряхивал из чайника последние капли и снова погружался в свои манускрипты.

Да, Виссарион Григорьевич Ким, опершись, почти повиснув на руке кого-нибудь из детей или внуков, продолжал раз в месяц бывать в соборе. Иногда его сопровождал

Тельман. Тихо водил отца, как ребенка, от иконы к иконе, помогал зажечь и пристроить свечу, поддерживал, когда тот тянулся своими сухими, как луковая шелуха, губами к иконе. Отец молчал; только один раз, приложившись к иконе с молодым улыбочным святым, почти детской внешности, пригнул к ней Тельмана:

«Это — твой... покровитель, Пантелеимон. Тебя Пантелеимоном крестили. Мать... Мать упросила тогда, чтобы тебя Тельманом в документе написали. Неверующая она, веру свою в том поезде потеряла... В аду будет... боюсь».

Тельман склонился к иконе. Почувствовал губами стекло... Молчаливая семейная жизнь родителей, с юбилеем которой они, дети, поздравляли их не так давно, с вином и поклонами, теперь увиделась им по-другому. Тишина между ними, тишина понимания, нарушаемого лишь отцовским кашлем и хозяйскими шорохами матери, оказалась тишиной бесконечной удаленности друг от друга, когда два человека молчат оттого, что знают, что не услышат друг друга, что пропасть между ними не закидать и не залить никакими словами...

Мать, кстати, вскоре умерла. Тельман надел белую рубашку в знак траура.

А статью о морге возле церкви напечатали. И морг оттуда вскоре убрали. А Кима не только не лишили премии, не уволили, но даже привели на планерке в пример.

Началась перестройка.

У журналистов пооткрывались рты, из некоторых пошло даже что-то вроде пены. И Ким со своими материалами несколько потускнел на фоне своих более правдолюбивых коллег. Теперь его иногда даже журили на планерке, что пишет он недостаточно остро, а уж он-то мог бы!.. «Я стараюсь объективно, — отвечал Ким. — Не нужно объективно, нужно смело!». Он пытался возражать, даже спорить. Дело закончилось очередным увольнением. Самым печальным.

— Почему самым печальным?

— Подруга у него была. Гел-френд, как теперь выражаются. Марианна. Я ей почему-то нравился. Переехал к ней на Лисунова. Стали жить.

— А как же ваше...

— Ну, с этим было терпимо. Детей только не могло быть. А она детей вначале не хотела, и так все хорошо. Она литературой интересовалась, аэробикой. Так два года жили, без всяких. А потом стала сигналить, чтобы я на ней женился. Говорит: съездим, что ли, в загс, как люди. Тогда про детей и вспомнила. Так вспомнила, что это у нее просто пунктик стал. По врачам начала меня таскать, к народным целителям, тогда это модно было, целители эти все. Доктор Кашпировский появился, она меня его по телевизору смотреть заставляла, руками, говорит, крути. И когда он в Ташкенте выступал, тоже меня туда.

— Помогло?

— Что?.. Нет, статью только написал одну, а интервью у Кашпировского взять не смог, не получилось. Так с ней и расстались.

— Из-за детей?

— Из-за всего. «Не сошлись», как в таких случаях пишут. Она была пример командира в юбке. Даже не в юбке, а в брюках, джинсах, хотя, конечно, ей шло. Ну, я все терпел. Думал, раз любовь, так молчи. А потом все вдруг надоело. И команды, и джинсы, и суп этот ее. И то, что один раз про Владислава Тимофеевича сказала. Я ей тогда: «Ты запомни, те годы в хоре у меня самые счастливые были». Она говорит: «А те годы, которые со мной?» И смотрит на меня. Мне надо было сказать, что тоже счастливыми, но в другом смысле, но я не нашелся. Это как пример. Ну, а потом я ее увидел с мужчиной. Она шла и что-то ему говорила. А тут еще это увольнение. Прихожу, а из квартиры мужчина выходит. Я зашел, спрашиваю, кто этот товарищ. Она: «Ой, держите меня, Отелло пришел!..» Сама кружки из-под чая моет, будто так и надо. Ага, думаю, у них здесь чай был, так и запишем. Закусил губу, собрал свои вещи и все. Пока собирал, она: «Ты что?», а потом, когда поняла что, вопросов уже не имела. А я все молча делал. Не знаю, может, надо было ей что-то сказать...

— Если любишь, надо человеку что-то говорить, — сказал Москвич. — Для этого человеку язык и дается.

— Дается... Через неделю позвонила. Сама. Говорит, докладываю обстановку,

я беременна. «Ким, ты можешь смеяться, но это так, чудо, понимаешь? Что молчишь? Да, ты — отец, ты, я все подсчитала...» Подсчитала. Я молчу. Полчаса молчал, пока она говорила. Только одно слово сказал.

— Какое?

— Через полгода встретились на базаре. Она покупала какие-то яблоки. Торговалась. Я поинтересовался о ребенке. Между делом. Она говорит: «Волны бьются о борт корабля...». Тонкий намек на то, что сделала. Потом вообще уехала из Ташкента, все тогда уезжали. Звала на проводы. Я не пошел. Уважительная причина, отец тяжело болел.

Виссарион Григорьевич раньше никогда сильно не болел, и поэтому свою болезнь воспринял серьезно и ответственно. Перед тем как проглотить таблетку, надевал очки и внимательно читал инструкцию к ней, подчеркивая заинтересовавшие места ручкой. Потребовал, чтобы ему читали вслух все документы, которые хранились в их доме. Внимательно выслушал чтение своего паспорта, пару раз даже кивнул. Потом внуки прочли ему, громко и с выражением, домовую книгу и квитанции за свет, воду и газ. Виссарион Григорьевич лежал с закрытыми глазами и молча кивал. Только иногда открывал глаза. Это означало, что он что-то не понял или не расслышал и нужно прочесть заново. Несколько раз у него дежурил Тельман. Прочел ему вслух свое просроченное журналистское удостоверение; отец открыл глаза. Пришлось рассказать об увольнении из газеты, о том, что работает теперь в одном кооперативе. Отец закрыл глаза. Тельман читал другие документы, которые отец собирал, не выбрасывая, всю жизнь. Дошла очередь и до старого церковного списка:

«Нагрудников — 2 старых», читал Тельман. «Беретки — одна пуховая, одна вязаная. Фуражки старые — 2. Платье детское старое — 1. Детские колготки старые — 1. Моток ниток серых».

Виссарион Григорьевич с закрытыми глазами одобрительно кивал.

В ночь перед смертью позвал:

«Пантелеимон... Пантелеимон»

Тельман поднялся, он спал возле отца, было темно и жарко.

«Не включай... — попросил отец по-корейски, не открывая глаз. — Хорошо, что все мои документы собрал. Когда депортировать начнут, все уже готово. Все документы, все с собой... Вон вагон уже подгоняют...»

«Отец, вы еще жить будете...»

«Я все молился, чтобы у тебя были дети. Возле той иконы, помнишь?..»

Через день Тельман натянул на соленое от пота и пыли тело белоснежную рубашку, знак траура.

После тридцати шести он почти не замечал время, только моргал иногда от его мелькания. Не выдержав кооператива, вернулся в журналистику. На чайник чая, лепешку и палочку шашлыка в кольцах лука и едкой уксусной росе хватало. Писал о высыхающем Арале; о челночницах в попугайском «адидасе», трясущихся в тамбурах с баулами; о заводах с огромными, как стадионы, мертвыми цехами. Писал обстоятельно, любясь деталью, радуясь новым людям, которых в избытке поставляла ему его профессия.

Какое-то время его печатали. Потом снова что-то поменялось в составе воздуха. Праведная пена на губах его коллег высохла, а сами губы сложились в уже знакомую ему мерцающую усмешку. «Что новенького накатал?» — Мерцали они над ним в осенних сумерках все у того же Дома печати. «Такое дело, — говорил Ким, двигая пустой чайник, — из ТашМИ больных всех на два дня выписали, даже тяжелых, американская делегация должна была приехать, они туда на места больных своих студентов положили, со знанием английского...»

Губы напротив, чуть подсвеченные сигаретой, сочувственно кривились.

Что это «не пройдет», было ясно и без слов.

Родительский дом был продан, его доли хватило на однокомнатную на Куйлюке. Не хватило бы и на нее, но пара наследников, у которых были уже и квартиры, и машины, и растущий на дрожжах бизнес, отказалась в его пользу. Квартира была

пустая и звеняще тихая; прежние владельцы вывезли все, оставив Киму только тараканов и невыветриваемый запах в ванной. Первой мебелью, которую он купил в квартиру, был компьютер. Расстелил газету, водрузил монитор. Включил. Процессор по-кошачьи заурчал, на мониторе заморгали цифры. Тельман, в трусах, сел в позу какающего мальчика и, выставив лысые колени, начал печатать.

Писал он уже в основном для сайтов, которые числились оппозиционными, а может, даже ими и были — Тельман не интересовался политикой, ему казалось, что она оторвана от жизни. Но некоторые из его бывших коллег уже писали «туда», они и перетянули Тельмана в один из его чайных заповей у Дома печати. Денег в тот вечер на шашлык не было; он сидел с половинкой кукси, втягивая в себя полиэтиленовую лапшу. «Как делишки, как детишки?» — Опустился напротив один из «оппозиционных». Ким печально поделился успехами, обрисовал последний материал... «А что? — Усмехнулись напротив, — пойдет!»

Через неделю в интернете стали появляться статьи за подписью «Т. Баранов».

— Тэ Баранов. Все понятно, — сказал Москвич. — Тэ Баранов! Да из-за тебя... Бросился на Тельмана. Не успев ударить, резко отвалился назад, зажав рот.

Застонал.

— Вы успокойтесь, — сказал Тельман. — Не моя это была статья.

Москвич все еще лежал.

— Что с ним? — наклонилась к нему Принцесса.

Москвич приподнялся на локте. Зачерпнул песок, провел по лицу.

Песок стекал по его скулам, подбородку, налипал на губах.

Статьи эти, за той же подписью, пошли не сразу. Через полгода. Даже через год. Возникали непонятно откуда. Из темно-лиловой пустоты, из мирового песка в модеме. Кто их писал, для чего и почему подписывал так же, как Тельман: «Баранов»?

В некоторых были целые куски из его предыдущих статей. Целые куски, даже стиль подделан. Другие были написаны чужим языком, с примерами из жизни каких-то восточных правителей. Некоторые, он был вынужден признать, были написаны даже лучше его собственных.

Тельман сидел за рабочим столом, почесывая колено. Опровергать? Я — не Баранов. Баранов — не я. Перед лицом Мировой паутины официально заявляю... Поменять псевдоним, взять новый, сразу несколько, пять, десять? Или подождать, пока остальным «барановым» надоеет? Он глядел на расчесанное колено, на трусы цвета «Прощай, оружие», снова в монитор. Статьи про политику, слив компромата, кабинетные триллеры, интимные репортажи, макамы, пиписькины сказки, подпись — «Баранов»...

Его пригласили для беседы люди из серого здания, выстроенного в тридцатые в новоегипетском стиле в центре города. Человек из египетского здания оказался приятным по виду новичком; на Кима глядел с любопытством, все пытался узнать, сколько тот получает за клеветнические материалы; узнав, долго подсчитывал в уме. На прощанье пожелал творческих успехов, а также скорейшего прекращения подрывной деятельности: «Подумайте о своих детях...». «У меня нет детей», — сказал Ким. «Тогда о жене...». — «У меня нет жены». — «Тогда о ваших родственниках!» — «У меня нет родственников» (тогда начали шерстить бизнес, родня схлынула за бугор и не подавала сигналов). Египтянин допил кофе. «Тогда подумайте о себе. О самом себе. Вы-то сами хотя бы есть?»

Ким, конечно, существовал. Но не убедительно. Поменял псевдоним, с «Баранова» на «Козлов». Отрастил, наконец, усы. Теперь он уже был похож не на старшекласника, а на студента; если процесс пойдет и дальше такими темпами, к пятидесяти он вполне потянет на молодого специалиста. Квартиру обставил, тараканов изгнал, кислый запах в ванной заменился его, Кима, горьковатым холостяцким духом.

Только тишина все так же звенела в ушах и давила на затылок. «Ма-мэ-ми-мо-му...» — напевал Ким, чтобы разогнать ее. Собирался купить телевизор, завел котенка; котенок моментально превратился в рыжего кота, пропадавшего днями в амурных

командировках; появлялся только на подзаправку, стуча лапой по форточке; вскоре все помойки в округе были облеплены рыжим потомством его Мурзика...

Из египетского дома пока не теребили. Утихомирились и двойники в Сети, ручеек материалов за «бараньей» подписью иссяк, одна из «его» статей, про вырубку лиственных деревьев в городе, ему даже понравилась

Наконец, за подписью «Т.Баранов» появилась статья про председателя одного из объединений воинов-«афганцев»...

Вернувшись в тот вечер, не сразу сообразил, что дверь не заперта.

Потом решил, что сам забыл закрыть. Толкнул.

В комнате желтела настольная лампа.

В кресле сидел незнакомый человек и наливал себе что-то.

Рядом в странной позе валялся Мурзик.

«Извините, Тельман Виссарионович, пришлось зачистить вашего кота, всего исцарапал», — произнес незнакомец баритоном. На лице — царапины, на столике — салфетки с кровью.

Инстинкт самосохранения толкал Кима назад, в подъезд; инстинкт журналиста — в противоположном направлении — к гостю, его протянутой ладони...

«Кучкар, — ладонь гостя была твердая, как камень, и такая же гладкая и холодная. — Сторожевых собак видел, а сторожевых котов — первый раз. Готов компенсировать вам вашего любимца. Двести зеленых устроит? Нет? А триста? Ладок, триста пятьдесят, с учетом ритуальных расходов».

Гость достал пачку, начал отсчитывать.

«Уберите деньги, — сказал Ким. — Кто вы такой?»

«Двести... Триста... И еще пятьдесят. Все. Я? Я думал, вы со мной лучше знакомы. Кучкар, герой вашей последней статейки».

Помочил салфетку водкой, приложил к щеке, скривил губы.

«Это не моя статья».

«Не ваша? А чья? Под фамилией «Баранов» писали два человека. Так? Первый Баранов, как вам известно, это вы сами. Второй, как вам тоже известно...»

Замолк, вглядываясь в лицо Кима. Направил в него настольную лампу.

«Мне неизвестно. Если известно вам — скажите и поставьте лампу на место».

«Ладок... — Кучкар опустил лампу, доплескал водки. — Второй — это я».

Да, вторым Барановым был этот Кучкар. Бывший политик, бывший бизнесмен, в действительности — все еще и бизнесмен, и политик, только под вывеской общества «афганцев». Еще и журналист, как выяснилось.

«Писатель, — поправил Кучкар. — Со школы баловался, писал диссидентские сказки. Потом в Афгане, чтоб не свихнуться. Подписывал, для себя — "Баранов"».

«Почему?»

«Имя такое у меня — Кучкар. Баран то есть. И по гороскопу Баран. И по году».

«Я тоже — по году».

«Тоже шестьдесят седьмого?»

«Пятьдесят пятого».

«Молодо выглядите».

Ким поджал губы.

«Все мы — бараны, — похлопал его по плечу Кучкар, — только некоторые знают это, а некоторые — нет... Все-таки интересно, кто наклепал на меня эту статью?..»

Распечатка была у него с собой.

Ким еще раз пробежал глазами. Классический «слив».

Один абзац — комсомольская карьера; папаша, оказавшийся под следствием по «хлопковому делу»; служба в Афгане, но не на передовой, а в тепленьком штабе...

«Посидел бы он, сука, сам в этом штабе...» — ухмыльнулся Кучкар.

Еще абзац: возвращение из армии, когда адронный коллайдер распадается уже запущен; страна, в верности которой он присягал под афганским солнцем, разлеталась на части; Кучкар неделю пьет, покупает новый спортивный костюм и делается

предпринимателем; пробует заниматься хлопком; когда хлопок подгребают под себя рыбы покрупнее, начинает с ребятами крышевать обменники, играя на перепадах мифологического официального курса и реального базарного. Спортивный костюм с обвисшими коленями выбрасывается, приобретается малиновый пиджак; возле Госпиталки возникает офис: компьютер и секретарша с такими длинными ногами, что на них любая юбка кажется «мини». Вскоре придавили и обменный бизнес; Кучкар закрыл офис, прощально отлюбил заплаканную секретаршу, купил костюм благородного мышинового цвета и ушел в политику.

В политике был долго; быстро карабкался вверх, докарабкался до помощника Дады; следом за Дадой соскакивал на ходу с одного министерства и запрыгивал в другое. Иногда его назначали на должности подальше от Дады — в посольство в Москву или в Нукус, руководить судьбой Арала; но больше Кучкар светился именно в свите Дады, который ему доверял — насколько Дада вообще мог кому-то доверять.

И последний абзац: Дада где-то называет Кучкара своим возможным преемником, через двадцать четыре часа Кучкар впадает в немилость, еще через десять часов его переводят на карикатурную должность в область, а через четыре дня снимают и с нее — «за допущенные просчеты». Кучкар снова запирается на пару дней с ящиком водки. Через месяц, остриженный и помолодевший, покупает пятнистую военную форму и садится в кресло председателя союза воинов-«афганцев». Снова раскручивает бизнес (идет список фирм и компаний), кидает деньги на благотворительность, больше религиозную... Дотягивается до политики — сводит прежние счета, реанимирует прежние связи; говорят, сам Дада между делом вспомнил о Кучкаре. А Дада ни о ком просто так не вспоминает, ни о ком...

«Половина — ложь», Кучкар вырвал распечатку, скомкал, швырнул.

«А другая половина?».

Кучкар молчал. Вытряхнул остатки из бутылки.

«Зовите меня просто Куч, ладок?»

«Может, все-таки чай заварю?» — спросил Ким.

«Хотите знать, как все было на самом деле?».

Ким молча достал блокнот, карандаш.

Приготовился.

«Без диктофона работаете?»

«После того, как пару раз диктофон у меня отняли...»

«А блокнот не отнимали?»

«Зрительная память. И своя система скорописи».

«Ладок. Люблю иметь дело с профессионалами. Поехали...».

Блокнот заполнялся крючками и штрихами (изобретенная Кимом смесь корейского и русского алфавитов); Куч сгонял своего водителя еще за водкой на посошок; посошок затянулся до утра. Додиктовав и всадив последнюю рюмку, Куч вырубился. Перед этим «оставил на хранение» потрепанную тетрадь: «Здесь все мои сказки. Еще со школы. Пусть у вас полежит. Ничего... Еще посмотрим, кто кого. Я им еще...» Погрозил в пустоту кулаком и уронил голову в каракулевых кудрях.

Они с водителем спустили его, выгрузили на заднее сиденье. Ким постоял немного, наблюдая, как «Мерседес» вырывается из пустого мокрого двора. Вернулся к себе, открыл окно, чтобы выветрить остатки этой ночи. Сел на корточки перед Мурзиком, погладил по рыжей мертвой шерсти и закусил губу.

Маздак был визирем шаха Кабада. Хорошим визирем. Пока не придумал новое философское учение. Это, вообще, не очень типично для визирей, поэтому многие удивились. Но удивление не выражали. Маздак был хорошим визирем, а при хороших визирях открыто удивляться не принято. Так, чуть-чуть приподнять бровь, и все. В чем состояло философское учение Маздака, тоже никто не знал. Возможно, и сам Маздак не знал толком. Сами, мол, догадывайтесь; некогда мне все разжевывать: дела, дела... Кто-то и догадался: «Наверное, суть этого философского учения в том, чтобы все жены были общими!» Может, были еще гипотезы. Но эта почему-то запомнилась больше всех.

Тут как раз умер шах Кабад, воцарился его сын, великий Ануширван. Стал Ануширван замечать, что в царстве что-то не так. Визг стоит, женщины носятся, как угорелые. «Что такое, — говорит, — что у нас там с женщинами, а?» Ему докладывают: «Жен никак не можем поровну поделить. Может, есть какая-то формула для деления жен, но мы ее пока никак вывести не можем». — «А кто приказал жен пополам делить?» — «Визирь Маздак». «Понятно, — сказал Ануширван, — его стиль. Он еще в детстве стащил у меня сахарного петушка».

На следующий день Ануширван вызвал к себе Маздака: «Давайте прогуляемся по саду». «Давайте, — обрадовался Маздак, — только по какому?»

«А вот по этому!» И вывел Маздака в сад. А там вместо деревьев из земли голые ноги торчат. Последователи Маздака, всех их закопали головой вниз по пояс, из земли только ноги. Целый сад торчащих ног. Некоторые дергаются. А Ануширван все ведет Маздака мимо них и спрашивает: «Не правда ли, прекрасное дерево?». Или: «А вот чудесный розовый куст!»

Неизвестно, что сказал по поводу этого сада Маздак. Возможно, ничего не сказал, потому что с него тут же сорвали штаны и закопали таким же образом, а когда рот забит песком, ничего умного уже не скажешь. Как бы то ни было, после Маздака ни один визирь больше не пытался объявить себя создателем философского учения. Помнили сад Ануширвана.

И не только визири. Я тоже помню этот сад.

— Через три дня Кучкара зарезали. Прямо перед домом. Такая вот история.

— Я слышал об этом, — пошевелился водитель. — Говорили, свои же «афганцы», по бизнесу.

— За день он позвонил мне, просил разыскать друга и передать ему тетрадь. Этого друга тогда я так и не нашел. На похоронах и поминках его не было. Потом стало не до этого, вначале отвлекла история со взрывом, начал писать статью, потом стал получать звонки; перевернули всю квартиру, искали что-то. Успел узнать до отъезда, что друг этот лежит в больнице, где-то в Ургенче, и вряд ли эта тетрадь ему уже нужна... Хотя, наверное, эту часть истории вы знаете лучше меня. Так ведь?

Повернулся к Москвичу.

Москвич молчал. Пошевелил ртом:

— Мне нечего добавить. Да, лежал тогда на обследовании, не мог приехать. Что смотрите? Справку показать?

— Я знаю, что вы не могли. В Москве я узнал...

— Так вы тогда уехали в Москву? — спросила Принцесса.

Холод. Тысячи, десятки тысяч, миллионы спешащих людей. Дворники-узбеки среди соленого московского снега. Машины с застывшими соплями на бамперах. Гриппозный жар метрополитена. Ким останавливается у двоюродного брата в Подмосковье, в Кучино. Исчезнувшая родня понемногу находилась кто в Новосибирске, кто в Ростове, даже в Израиле; все звали к себе, но Москва перетянула — гравитационной массой, как притягивает небесное тело тысячи, десятки тысяч, миллионы песчинок. Так и он, маленькая ташкентская песчинка, вышел в куртке на рыбьем меху из Шереметьево и растворился в мелькотне снегопада.

В Москве он до этого не бывал, хотя Владислав Тимофеевич намекал на какие-то фестивали и выступление чуть ли не на Красной площади. На площадь он теперь съездил, в лицо стучал снег, площадь казалась увеличенной и плохо отретушированной открыткой, мавзолеей — маленьким.

Еще решил зайти в церковь, даже направился к одной, понравившейся внешним видом. Но перед самым входом какой-то мальчик ткнул в его сторону варежкой, четко выговаривая «р», видно, недавно рычание освоил: «Мама, смотри-ри, тут тоже эти гастар-р-байтеры!». Ким хотел было возразить, что он не гастарбайтер, а крещеный кореец. Даже сложил щепоть, чтобы нарисовать пред собою крест, перечеркнув корейскую свою наружность, ибо несть эллина, ни иудея, ни гастарбайтера. Но промолчал, не перекрестился, и в церковь заходить настроения уже не было.

В один из таких дней он вдруг почувствовал себя узбеком; даже остановился и

закашлялся посреди улицы от внезапного прозрения. Это была не вялотекущая ностальгия, которую он замечал здесь у многих бывших узбекистанцев. Просто родина с мавзолеем и рубиновыми звездами оказалась фотомонтажом; реальная, осязаемая и обоняемая родина была там, там, в жаркой и сухой земле, из которой отец его выращивал зеленые усики лука и в которую Ануширван втыкал своих незадачливых и похотливых философов. Люди оттуда были своими, такие же песчинки, которых мотало по московским улицам, засасывало в метро, выплевывало из стеклянных дверей навстречу очередной проверке регистрации. Он ловил эти «песчинки», выстукивал на узбекском ритуальные расспросы о здоровье, семье, работе, жизни. Быстро дружил с ними — дворниками, строителями, продавцами, поварами и даже одним поэтом, сочинявшим на русском, но видевшим сны, особенно осенью, на родном хорезмийском диалекте. Ким записывал своей русско-корейской скорописью их истории; кое-что уже опубликовал...

Основное время уходило на сбор материала по тем двум статьям, они висели за ним еще с Ташкента. Сроки сдачи (по-местному «дедлайны») давно прошли, его теребили, он дописывал, уточнял, выходил на новых людей.

Первый материал начался с листков с каракулями, записи ночной беседы с человеком, которого он через неделю, облаченного в последний — белый — костюм, проводил на Минор¹. Статья почти готова, оставалось несколько завершающих мазков. Второй материал касался шахидки, устроившей взрыв в жилом доме на Чилонзаре; прогремело перед самым его отъездом; материал собирался медленно, хотя на первый взгляд было все ясно, заурядный теракт.

— Это неправда.

Все посмотрели на Принцессу. Опустила глаза и покрутила перстень на пальце.

— Что — неправда? — спросил Москвич.

— Все.

— Вы, что, ее знали?

После того когда мать Москвича спасла Принцессу от холода, она прожила в Москве еще два месяца. Стояла на рынке и даже продала несколько баночек с крашеным песком, которые ей дала мать Москвича, да и специи неплохо шли. Она привыкла к своему месту, с холодом боролась так же, как ее соседка по прилавку, азербайджанка: отварит утром яйцо, и в колготки, долго тепло сохраняется, всем теперь советовала. Даже радовалась, когда убегала утром на рынок, хотя Хабиба хватала ее за ногу и не отпускала. Поэтому она стала вставать раньше, когда все спят, чуть-чуть накрасится, чтобы за прилавком хорошо смотреться, позавтракает излишками помады на губах — и в дверь.

А дома постоянные проблемы, ссоры. Муж со свекровью продолжали говорить ей о фиктивном разводе, как будто больше говорить было не о чем. Свекровь спрятала ее документы и документы ребенка, оставила только регистрацию, если вдруг милиция. Когда она сказала, чтобы документы ей отдали, муж у нее и кольцо забрал с пальца. Она сказала: «Лучше снимите с меня этот пояс, если вы отныне не считаете себя моим мужем!», но он назвал ее проституткой и уехал по делам. Она потом всю ночь не спала, и кольцо жалко, золотое, это же вам не игрушки, и чувствует себя теперь как голая. Каждый день просила купить ей и Хабибе билет и отправить по-человечески домой. У нее отняли мобильный, чтобы, как сказали, она не могла звонить в Ташкент и клеветать. Ее перестали отпускать на базар, и она лишилась и общения, и денег, хотя все, что получала, отдавала им. Выпускали ее только в воскресенье, погулять с Хабибой вокруг дома или вокруг магазина. Пару раз она встречалась там с матерью Москвича, та ее жалела и совала пакет с гренками, салатик или дарила еще одну баночку с крашеным песком. Еще у Принцессы появился там «друг»: дерево джиды, которое росло недалеко от кинотеатра, в который они ни разу не ходили. Эту джиду она стала иногда поливать, хотя на нее смотрели, в Москве местные жители деревья не поливают.

Потом исчезли и эти воскресные прогулки по воздуху, она заболела гриппом. Из-за климата или усталости от обстановки, тело Принцессы покрылось сыпью, а

¹ Мусульманское кладбище в Ташкенте.

там, где пояс, сыпь дала нагноение. Сначала ей покупали лекарства, потом перестали. Лежала с +39 и не могла поднять головы. За ребенком они ухаживали, а за ней нет, стали брезговать ее, а она все не выздоравливала, смотрела, как в кино, свою прошлую жизнь и понимала, что лучшие кадры — это ее чувство к тому из восьмого «Б» класса и еще Хабиба, Хабибочка, маленькая моя... Хотя слышала, как свекровь учила Хабибу, чтобы она называла Принцессу не «мама», а «тетя», и за «тетю» будет ей давать конфетки.

Свекровь со свекром сказали, что купят Принцессе билет до Ташкента, в Москве некому за ней ухаживать, лечение очень дорогое, в Ташкенте можно вылечиться дешевле. А ребенка надо оставить, «ты все равно не можешь за ним ухаживать», их слова. Свекровь, мол, сама привезет ребенка и вручит его Принцессе. Принцесса сказала, что Хабибу в их когтях не оставит, лучше умрет. Тогда они позвонили в Ташкент отцу. Родители тоже сказали Принцессе, чтобы она доверилась свекрови. Ее свозили к нотариусу, заверили документ, что свекровь привезет ребенка через месяц. Перед отъездом Принцесса обняла Хабибу, и еще раз обняла, и еще. Позвонила матери Москвича, поблагодарила за все, особенно за удивительный песок, и улетела.

В Ташкенте быстро выздоровела и стала ждать дочку. Но в Москве не спешили. Свекровь сказала, что Хабибе там очень хорошо и весело, а если не верит, то предложила ей зайти в интернет и посмотреть фото. Но Принцессе от этих фото делалось еще хуже, особенно от тех, где Хабибу заставляли улыбаться. Принцесса стала часто звонить им, напоминать, что она мать, вся пенсия родителей уплывала на эти звонки. А еще надо было питаться, покупать лепешку, мясо, обувь. Она устроилась учительницей в младшие классы, в одной руке указка, в другой — веник: постоянные субботники и уборка территорий. Когда видела какую-нибудь девочку, похожую на ее Хабибу, все сжималось.

В Москве перестали брать трубку; она слушала длинные гудки и глядела во двор, в котором раньше ходила с Хабибой, когда приходила к родителям. Теперь все это было в прошлом, а теперь только пустой двор и длинные гудки.

А потом муж неожиданно позвонил. Намекнул, что ребенка ей в будущем привезут. Но цель звонка была другая: попросил ее взять у одного его друга в аэропорту посылку. Когда она встретит, он позвонит ей еще раз. Продиктовал его мобильный номер. Принцесса спросила о дочери, но он уже повесил трубку и не поднимал, давая понять, что разговор с его стороны окончен.

Ей не хотелось ехать в аэропорт, рейс был неудобный, слишком ранний. Отец хотел ехать с ней, но его пригласили на утренний плов, и она пообещала, что справится сама. «Может, он прислал денег...» — сказала мать. Принцесса только вздохнула.

Когда приехала в аэропорт, московский самолет уже сел, но людей пока не выпустили. Она набрала номер, пошел отбой. Подождала. Телефон зазвонил, мужской голос предложил ей подойти к другому выходу. Не думая ничего плохого, направилась туда. Там к ней подошел человек в форме и приказал зайти в комнату. В комнате были еще люди в форме. Там же она увидела друга своего мужа, которого один раз видела в Москве. Он был очень расстроен. Увидев Принцессу, расстроился еще больше. «Вы ей должны были передать?» — спросили его. «Да. Но я ничего не знал, что в этой посылке. Меня друг просил ей передать, ее муж! Я невиновен!». На столе стояла коробка, валялись вещи Хабибы и розовый заяц, которого она ей еще в Москве купила. Рядом лежали диски, она их тоже узнала, муж смотрел их в Москве. И несколько книжек с религиозными названиями. Она сразу поняла, что диски и книги Тахир спрятал в вещи дочери.

Дальше понимала плохо, как будто изображение стало некачественным. Друга мужа увели. Ее тоже повели, куда-то звонили. Телефон у нее забрали, пообещав, что потом вернут. Сказали показать документы, которые она не взяла, думала, туда-сюда съездит, зачем таскать еще паспорт. Во рту стало сухо, попросила пить. Пила и думала, что зря надела платок, надо было без платка, по-европейски, меньше подозрений. Пришла женщина в форме, килограмм косметики, сказала готовиться к обыску. Отвела в сторонку, начала ее пальцами. Дошла до пояса, побелела: «Пояс?...» «Пояс», не успела кивнуть Принцесса, та отскочила, и за стол, еще один мужчина, за столом сидел, — тоже след простыл. Ожидали взрыва. Потом выползли, набросились

на нее, особенно эта, с косметикой. Принцесса закричала, они остановились, видимо, не хотели скандала в здании аэропорта. Вызвали еще одну, уже вдвоем Принцессу раздели, осматривали пояс и делились впечатлениями, оказывается, слух пошел, что такие пояса скоро обязательно снова вводить будут. А Принцесса трясется, главная мысль — дочь, родители. Напомнила им о мобильном телефоне, но они все ее пояс обсуждали, такой ли будут теперь надевать или более соответствующий менталитету.

Снова куда-то звонили, она просила пить, ее вывели из аэропорта и возили по улицам, был вечер, дождь, или показалось. Ее вывели из машины, снова спросили документы, которых не было, она попросила позвонить, ей ответили, что скоро будет возможность. Ее ввели по коридору, над головой лампы, и болело, где пояс. Ее остановили возле двери, она смотрела на дверь, черная, ручка позолоченная, сердце стучало, сейчас разорвется, она стала смотреть на ручку, чтобы успокоиться, даже брови не подкрашены.

Дверь открылась. Света внутри было немного, за столом человек, лица не видно, над бумагой, только лоб, немного носа, подбородка. По телевизору мелькают без звука российские новости. Сбоку маленький аквариум, в искусственном свете плавают две черные рыбки.

За столом подняли на нее глаза. Два глаза, излучавших холодный аквариумный свет. Через секунду были уже другими: расширенными, удивленными...

Они лежали в чужой квартире. Дождь лил, не стесняясь, взалел. Мокрые ветки дергались в окне, на столе упаковка сока и бутылка коньяка, сквозь которую просматривалось все то же окно, ветки. Бесшумно показывает телевизор. Парфюмерный запах взятого по дороге коньяка. Остатки хлеба, шашлыка, салата. Свеча, мебель.

Все вокруг чужое для нее, кроме ее Принца. Он лежит рядом, цветные тени бродят по его лбу, шее, груди. Он тоже был в нее влюблен. С самой школы, да, с восьмого класса, боялся открыться. Не знал, как это сделать, фильмов об этом не было, только книги, в которых тоже ничего. Историю про листок в поцелуях слышал, не знал, что листок был для него, долго думал, не знал. После школы старался ее забыть, не смог, достает из брюк бумажник, показывает ее стершуюся школьную фотку. Вернулся из армии, болел, узнал, что ее уже выдали, резал вены, устроился в органы. Работа в органах отвлекала от мыслей. Ему давали задания. Сон четыре часа в сутки, ноль мыслей. Наводил о ней справки, его пытались познакомить с другими, с одной даже спал, пауза, две складки на лбу, потому что она этого хотела. Нет, голая физиология, даже не физиология, а физика, механика, ледяные шары трутся друг о друга, тук-тук, тук...

Тук-тук, шумит дождь. Он тянется, чтобы обнять ее. Его подбородок и ее плечо. Его колено и ее колено. Тени от телевизора на ковре. Ее скомканное платье, скомканный платок. Пояс невинности, который открылся сам, едва он к нему прикоснулся. Пояс лежит на ковре в квартире, в которую он ее привез, наверное, рискуя. Как только дотронулся до него, пояс раскрылся, упал в темноту.

Она слушает его голос, пытаюсь сомкнутыми веками придержать немного света внутри. Свет плывет в ней, переплетается с ее голосом, с тяжестью его тела, с шелестом воды. Открыть глаза — значит молча спросить, что будет дальше, завтра, потом. Сейчас не нужно этого «потом». Вспоминает двух рыбок в лунном аквариуме.

Придушенная счастьем, засыпает.

Лидия Петровна была русалкой. Единственной на весь Ташкент. О ее существовании почти никто не знал. Причиной были подводный образ жизни и природная скромность. В Ташкент Лидия попала еще почти ребенком в бочке с рыбой. Рыбу везли поездом в Туркестанский край для размножения и дальнейшего рыболовства. Вода в бочке была теплой и вонючей, Лидию несколько мутило. Она обмахивалась веером из водорослей, нервно шевелила хвостом и ждала, когда кончится этот кошмар и начнется комфорт. Приехали, открыли бочку. Вместе с рыбой Лидия вывалилась в канал. «Смотрите, профессор, русалка. Она могла съесть всю нашу рыбу». «Русалки, коллега, питаются планктоном», — возразил профессор и поправил пенсне.

Так началась жизнь Лидии Петровны вдаль от среднерусских рек и озер. Эти реки и озера, богатые илом, икрой и смазливими русоволосыми утопленниками, иногда наполняли ее сны. Реальная же ее жизнь была связана с каналами Ташкента. Жила в основном в Анхоре; летом наблюдала за прыгающими в воду детьми, зимой любовалась ленивым кружением снега. Когда комсомольцы вырыли яму, напрудили в нее воды и назвали в честь себя Комсомольским озером, перебралась туда. Днем сидела в самом глубоком месте, ночью выходила петь на луну и пугать молоденьких милиционеров.

Иногда из озера выпускали воду, чтобы прибраться на дне. В такие дни Лидия нервничала. С годами она раздобрела и самостоятельно перебраться в Анхор уже не могла; сидела, прикрыв грудь обломком весла. В таком виде она была замечена юными пионерами Эдиком и Ренатиком. «Русалка!» — обрадовались пионеры. «Как вам не стыдно, дети, верить в такое суеверие! — слегка в нос сказала Лидия Петровна, — русалок не бывает». «А вы кто тогда такая?». — «Я — первая в Ташкенте женщина-аквалангист. А это мое снаряжение». И показала на хвост. Ребята согласились перенести сексапильную женщину-аквалангиста в Анхор. По дороге задавали ей вопросы. «А какой вы нации?» «А почему вы без лифчика?» По нации Лидия Петровна оказалась метиска, а про лифчик сказала, что, если много будут знать, скоро подохнут.

Кстати, один из них, Эдик, уже комсомольцем приходил к ней и приносил транзистор, чтобы вместе послушать музыку и поговорить на научно-популярные предметы. Современная музыка Лидии Петровне не нравилась, а Эдик, наоборот, нравился так, что хотелось шепнуть ему в оттопыренное ушко: «Друг мой, давайте нажмем на кнопку *выкл* и предадимся безумству. Пятьдесят лет для русалки — это не возраст!». Но недогадливый Эдик все задавал ей вопросы, в основном про речную флору и фауну, и готовился поступать на биофак. Потом лет через десять, разочаровавшись и в флоре, и в фауне, приполз к ней. Был нетрезв, тыкал в лицо букетом, позаимствованным с Монумента Мужества, и щекотал ее по чешуе. Особенно ее растрогал вопрос, как им предохраняться. «И чему только вас там на биофаке учат?!», хохотала Лидия...

Распад СССР поначалу не внес в подводную жизнь Лидии Петровны ощутимых перемен. Меньше стало русских, больше милиционеров. Ей выдали новый паспорт — зеленый, это ей даже больше нравилось: зеленый цвет напоминал ей родную тину и ряску в стоячей воде. Относились к ней хорошо, национализма на себе не чувствовала. Но однажды заметила незнакомку, которая прогуливалась по дну с детьми. Не знакомка была замотана в платок, из платка торчали два клыка, как у моржа, только золотые. «Здрасьте пожалуйста, — сказала Лидия Петровна, — вы кто будете?». «Мухаббат», — ответили из платка.

Русалка Мухаббат была настоящей местной русалкой, по-русски понимала плохо, жила раньше в Амударье. «Теперь Амударья узкая, как арык, всю воду на хлопок берут», — жаловалась Мухаббат. «А я не знала, что у узбеков тоже русалки есть», — удивлялась Лидия Петровна. «Много есть, — кивала Мухаббат, — раньше в Аральском море много жили, теперь воды нет, русалка кто умер, кто больной». И Лидии Петровне становилось стыдно за свою жизнь в столичном водоеме.

Постепенно вся семья Мухаббат-опы переехала в Комсомольское озеро, которое теперь носило имя какого-то Ануширвана, и жить в озере стало тяжело от шума и танцев русалочьей молодежи. Лидия Петровна глотала валерьянку. Она решила уйти из озера. Писала Эдику: «Забери меня отсюда! Я согласна жить даже у тебя в ванне». Но письма оставались без ответа. «Русские о своей нечистой силе совсем не заботятся, — отпаивала ее чаем Мухаббат, — в нашем народе к нам уважения все-таки больше». «Говорят, снова хотят сибирские реки в Аральское море направить, — рассуждала Лидия Петровна, — тогда можно будет в Россию прямо отсюда переплыть, без взяток». «Можно, — соглашалась Мухаббат. — Только куда я поплыву со своим давлением? И ревматизм, и целый букет... Молодая была — хвостом бы махнула, только вы меня и видели. А теперь кому я нужна, пенсионерка подводная?» «Да, сестра, сиди уж здесь, — говорила мудрая Мухаббат, — может еще повезет, утопленник солидный встретится». «Да ну, — отмахивалась хвостом Лидия Петровна, — все они барахло, одни комплексы. Мне нужно живое, для души...».

Так и сидели, пока не выпивали чай, и над водой не зажигалась луна, и все русалки, жившие в стоячих водах, независимо от национальности, поднимались над водой и пели, каждая на свой лад, прекрасный гимн ночному светилу...

Ким дочитал последнюю сказку Кучкара и закрыл тетрадь.

Сунул в сумку, снова занялся статьей.

Он возвращается в электричке. В окне — все то же самое. На коленях — стопка листов, читает, морщится, правит. Другой рукой придерживает баклажку с остатками чая, заваривает каждое утро, зеленый, кладет в сумку на день. Сегодня встретился со свекровью этой женщины, с мужем не удалось — в бегах. Свекровь гуляла с девочкой, Хабибой, охотно делилась. Хочет подать на «грин-карту», спрашивала, может ли он, как журналист, с этим помочь. Когда прощались, плакала, хотя только одним глазом, другой сухой, деловой. Дерево, возле которого попрощались, показалось знакомым. Проводил взглядом женщину с коляской, посмотрел: джида. Надо же, дерево-мигрант. Статья почти готова. Вторая, про Кучкара, затормозилась: тот, кто мог что-то рассказать, долго отмалчивался, а теперь...

Ким поднял голову.

В вагоне наметилось движение.

«Контролеры», подумал, и снова в листки, билет у него был.

Нет, что-то не то. Наверное, разносчики. Сейчас начнется: самоклеющиеся иконы, несгораемые спички, все для дома. Тоже не угадал...

А, «певцы». Карнавальная военная форма, гитара, бритые черепа. «Певцы» что-то выкрикивают, судя по напрягшимся связкам, патриотическое. Пара неряшливых аккордов, поехало: «Не слышны в саду даже шо-ро...» Топают бутсами по вагону с вещмешком для сбора дани, к некоторым пристают, крича песню в самое ухо, подсаживаясь, бодая локтем. «Все здесь замерло-о до утра-а!..» Ким съезживается, хотя губы автоматически повторяют слова песни, въевшейся в сознание еще с хора... Кто-то в вагоне начинает подпевать. «Ес-ли-бзна-ливы!..»

Вещмешок уже рядом. «Ребят, глядите, таджик!» — «Как мне до-о-роги...» — «Какой таджик — у таджиков глаза, как у хачей, узбек это!» — «Подмоско-о-вные вещи...» На него облакачиваются всей тушей сверху: «Ну че, чучмек, платить за песню будем?»

Ким поднимает глаза. Неожиданно дает пощечину, быструю и неловкую...

Ветер разбросал листки по вагону. Ким выпал на перрон. Было пусто, только один человек в конце. Увидев Кима, помахал. Ким попытался подняться. Он сам не понимал, куда вышел, куда поедет. Небо было темным, как перед грозой, но деревья освещены, и листья и ветки белые. Все как в негативе, черные рельсы, белая насыпь, бледно-серые пятна крови. Человек подошел, склонился: «Здравствуй, Тельман! Не узнал? Я — Кучкар, Куч...» Черное лицо, белые волосы. Помог подняться, отряхнул. «Сейчас перестанет болеть. Надо только отойти подальше от рельсов». «Кучкар... Скажи, я умер?» Спустились с перрона, стало и вправду легче. «Не знаю, Тельман. Это уже как там решат. Меня просто послали встретить и проводить». Пошли по черной пыли. «А ведь мы где-то под Ташкентом», — задумался Ким, почувствовав знакомый вкус в воздухе. «Не разговаривай, иди просто и смотри, и береги силы, ладок?». Ким кивнул и стал беречь силы. По небуплыли еще более черные, чем само небо, нефтяные тучки. Жарко. «Дада велел все вырубить, — сказал Куч, — и посадить вместо этого две арчи и одну голубую ель». Ткнул на три выгоревших хвойных скелетика. Ким хотел спросить, тот ли это Дада, который возглавлял министерство духовности, или здесь свой Дада. Промолчал. Начались здания, черный пластик плавился на солнце, пылали галогенные лампы, возле которых было совсем темно. «Нам не сюда... Не сюда...» — говорил Куч. От солнца горела голова, но, видно, местный Дада поработал и здесь, кругом остатки пней, темневших, как недовырванные зубы... «Нам сюда». «Что это?» Поднимались по дымящемуся мрамору. «Дом Печати». Надпись над входом: «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей...». «Дом Печати. Покажи свое удостоверение, только сам не гляди в него, ладок?» Ким пригнулся, что у входа их тормознет милиция и погонит в бюро пропусков. Но, видно,

здесь до такой бюрократии еще не дошли; старичок-вахтер в тюбетейке приоткрыл левый глаз, кивнул. Куч вел знакомыми коридорами. Остановился. Табличка «Редакция». За дверью гудело. «Что там?» «Не знаю. Сейчас больно быть не должно». Ким постучался, кашлянул, вошел. Дверь захлопнулась. Сотни, тысячи, миллионы мух налетели на него, так, что он через секунду был уже в темной жужжащей каше, отбивался, они залетали ему в рот, нос, уши, закрывался, упал. Сколько он пролежал так, в этой массе, не помнил; распахнулась дверь, он выполз, выплевывая мушиные комья. Кучкар помог встать. «Что это было?» — Во рту и ушах все еще гудело и жгло. «Мухи. Наверное, те, которых ты убивал». — «Так много?» — «Может, вместе с нерожденным потомством». — «Они мстили мне?» — «Почему "мстили"? Наоборот, ласкались. Запомни, здесь все друг друга любят. Самое страшное, что все друг друга любят. До безумия. И от этого...» Замолк. Ким провел по волосам; вылетели две мухи и исчезли. Снова шли по коридорам. «Хорошо, что меня на время от этого освободили, — говорил Куч, — ты даже не представляешь, Тельман, что бы я с тобой сделал... как с человеком...» Остановился, вытер черные капли пота. «Некоторые, говорят, привыкают, кто через триста лет, кто через тысячу, кто через две, если вашим временем. Перестают испытывать любовь. Я в это не могу поверить...» Помолчал. «Был бы ты, Тельман, верующим, может, у тебя бы и по-другому было». «Бог у каждого свой», — выдохнул Ким. «Ну-ну! Одному тут показали его бога. Так же, в кабинет завели и показали. Знаешь, что с ним творилось?..» Он обошел еще пару кабинетов. Уже плохо понимая, не чувствуя, не помня. В одном кабинете пел их детский хор, «ма-мэ-ми-мо-му...», но что-то было с хором не то, потому что Ким кричал так, что чуть не вылезли из орбит глаза. В другом был редакторский кабинет, наполненный фалангами, и в одной фаланге он узнал себя. А Куч снова хватал его ледяной рукой и тащил по коридорам, под темными лампами. «Последняя», — шепнул и втолкнул его... Ким стоял в дверях класса, за серыми партами сидели дети, у доски учитель-кореец что-то увлеченно объяснял. Все это было похоже на его сельскую школу, только дети сидели слишком спокойно. Раздался звонок, никто не шелохнулся. Учитель откашлялся и произнес: «Ким, к тебе пришли родители, можешь на минуту и двадцать секунд покинуть парту». Один из учеников как ракета вылетел из парты и бросился к Тельману. Остальные смотрели на них, моргая карими глазками. Мальчик подбежал, обнял. «Папа, папа... Только не бойся меня, хорошо? Когда приходят родители, они очень нас боятся. Особенно мамы. А здесь, понимаешь, никто не помнит зла, никто никого не ругает, все только хвалят и любят. Ха-ха! Ты ведь правда думал, что у тебя не будет детей, да? А дедушкина молитва возьми и дойди! Папа, папочка, ну, не надо так плакать, я думал, ты будешь сильным, как Джеки Чан, я знаю сколько тысяч раз представлял, как ты сюда придешь... Папа, ну не надо так! У нас тут хорошо, у нас кружки разные, по выжиганию, по всему! Папочка, я тебя так люблю! Так рад, слышишь!» Когда Ким открыл глаза, школьника уже не было. Выполз на четвереньках. За дверью в малиновом пиджаке стоял Куч и ковырял стену. «Тельман, они сказали, пока все. Для начала хватит. Вернешься пока туда, допишешь статьи, ну, может еще что-то... Так что, саломат бул! Личная просьба. Встретишь моего друга... Передай ему, что я его очень люблю. Что не помню зла и очень люблю его». «А разве он...» — начал Ким. «Нет. Пока еще нет». «Кучкар, — Ким прислонился к стене, — скажи, это был первый круг? Первый?» «Да нет, это даже... Какой еще!..» Махнул рукой, зашагал прочь по коридору. Остановился: «Люблю... Люблю!» Еще что-то, нечленораздельное. Лампы погасли.

Ким достал блокнот. Послуживил по старой привычке карандаш.

— Я извиняюсь, времени осталось немного. Кто первый дорасскажет свою историю? Вы?

Москвич сидел, уткнув голову в колени. Дул ветер, выдувая золу, огня не было, два-три уголька краснело и тут же остывало.

— Или вы? — Ким повернулся к Принцессе.

Она проснулась среди ночи. Ее принц рядом, еще не спал. Наверное, правда, что умеет спать всего четыре часа. Прижалась к нему, встала, подошла к окну. Он

наблюдал за ней из постели. Открыла окно, зажмурилась от радости. «Закрой, тебя могут увидеть». — Приподнялся на локте. Закрыла. Остро захотелось, чтобы он встал и подошел к ней, обнял. Он смотрел в телевизор. На экране шевелил зелеными ртом Дада. Хлопковое поле. Подошла к постели, отыскала губами его губы. Они были жесткими и неподвижными, с кислым коньячным привкусом. Он выключил пульт, откинулся на спину. Ее глаза быстро привыкли к темноте, но было почему-то страшно. Где-то вдалеке промяукала сирена. На полу отпечатались тени ветвей, тени капель, спускавшихся по стеклу. Чувствовала, что он не спит, боялась его молчания. Набрала воздуха. «Что будет дальше?..» Он погладил ее. «Завтра я отвезу тебя обратно. Должен отвезти, понимаешь?» Она молчала. «А ты что думала? Дело заведено, остановить все это я не в силах. Я тебе все скажу, где и что говорить. Но про мужа придется рассказать. Все, поняла? И про его друзей. Все напишешь, ты же умная девочка...». Лицо исказилось зевотой. Втолкнул ее под себя, сдавил, лбом, носом, подбородком. Его глаза: «Запомни: все как было...»

Через несколько минут рядом шумел храп, тяжелый, как удары пневматического молотка. Принцесса испуганно слушала; ее Тахиржон не храпел, спал смирно, да и спиртного пальцем не тронет... Встала, подошла к окну. На подоконнике чистый лист бумаги, взяла. Завтра ей, наверное, выдадут такой же. Чтобы все написать, и про Тахиржона, и про друзей... Прошлась по квартире, одна комната, кухня. На кухне порнографический журнал, полистала, груди, ноги. Пальцы замерзли, она дула в них, а он все храпел в комнате.

Нащупала в его куртке мобильный; просила ведь его, дать ей позвонить домой, сказать родителям, он все кивал, целовал ее, боялся, наверное, что выдаст его как-нибудь словом. Вышла на кухню. Стала набирать, ошиблась, снова. Внезапно мобильник завибрировал, чуть не уронила. Загорелась надпись: Жена. Стояла и смотрела на эту надпись. Телефон успокоился, «Жена» исчезла. Бросила на стол, ладонь горела от ожога.

Вернулась в комнату, натянула платье, подмазала губы. Взяла с подоконника листок, чмокнула его несколько раз, положила рядом с кроватью. На ощупь обулась, помучилась с замком. Прошлепала вниз по лестнице, вышла в дождь. Постояла под водой, стуча зубами. Холодный песок, черный, синий, бордовый. Тахиржон, Хабиба. Вернулась, скинула мокрое, прислушалась к храпу, бросилась на кухню.

Открыла все четыре конфорки, газ зашумел, ударил запах. Проверила, закрыты ли форточки, окна. Вернулась в комнату, закрыла дверь в коридор. Зажгла две свечи на столе, спички сыпались из рук. Запах уже чувствовался. Осторожно перенесла свечи к их постели. Поставила. Вот так, теперь все правильно. Пояс невинности. Листок с поцелуями. Принц, которого ждала. Все здесь, все на месте. Тихо легла в его ногах, стараясь задержать дыхание, чтобы не дышать сладковатой вонью, наполнявшей комнату.

Карандаш остановился. Ким посмотрел на Принцессу.

— Дальше не помню, — улыбнулась.

— Неудивительно, — поднял голову Москвич. — А я думал, там шахидка постаралась. Взрыв, жертвы... Я, кстати, знал этого парня, та еще сука.

— А, судя по рассказу, романтик, — Ким закрыл блокнот.

— Самые большие суки получают из романтиков.

— Это вы по собственному опыту?

— Вы это о чем?

— О том, что вы еще не все рассказали.

— Бросьте ваши журналистские намеки! Тоже мне, папарацци с Куйлюка! Что вы вообще знаете!

— Что я знаю? Ну, например, то, что компромат на Куча, для той самой статьи, дали именно вы.

Москвич молчал и тер глаза.

Принцесса поднялась, подошла к Москвичу:

— Вы же мучились, вы же не хотели... Расскажите об этом. Другого раза не будет!

Подул ветер. Костер, еле дышавший, разгорелся, заплелся огнем, затрещал...

Да, он не хотел. Хотя после того сеанса, в девяносто девятом, все поначалу складывалось, тьфу-тьфу. Дада еще посидел годик в своем Животнодухе, повышая духовность и улучшая поголовье, и отбыл послом в США. Через три месяца рейсом «Ташкент—Нью-Йорк», с кратковременной посадкой в Киеве, вылетел Москвич. В Джи-Эф-Кей его встречал Куч; друзья вдавили по мартини за встречу, прошвырнулись по Большому Яблоку, вскарабкались на башни-близняшки и понеслись на посольской машине в Вашингтон. В посольстве его уже ждал Дада; старик еще больше раздался, отрастил серебряный ус; встретил по-американски демократично; фразу про больного дедушку выговорил по-английски, с оглушительным ферганским акцентом. Началась работа, пока еще немного. Москвич гулял по городу, привыкал к ландшафту, заглядывал к Кучу, который жил здесь с очередной, второй или третьей, семьей: стандартная красавица-жена (90 x 60 x 80), барашки-детки.

Встретился с теми американцами, которые давали мастер-класс в Москве в девяностом. Они свозили его в ночной клуб, принадлежавший их профсоюзу; к Москвичу отнеслись вначале скептически, но, когда он, смеясь над какой-то их дурацкой шуткой, как бы случайно высунул язык и сделал несколько филигранных пасов, дяденьки переглянулись. Предложили небольшой компетишн, после компетишна хлопали по плечу, стали присылать приглашения на свои симпозиумы и заседания профсоюза. На заседаниях жаловались на застой в профессии, что молодежь стала вшивать себе в язык микрочипы...

Тут грянул найн-элевен; башни-близняшки, с которых они с Кучем пели гимн СССР, чихнули и рассыпались пылью. Посольство загудело; Дада расхаживал по кабинету, соображая, что можно из этой трагической ситуации выдоить; от расхаживаний похудел кило на два. Вызвали Москвича: «Дедушке плохо...» Москвич сдул прядь со лба и приготовился. «Не этому...» Ткнули в окно, на серое яйцо Капитолия: «Тому!» Обогнув Дюпон-серкл, машина полетела в Белый дом; там, похлебывая содовую воду, уже топталась группка знакомых экспертов, еще пара цветных типов из дружественных посольств и — упс — Ваню из Тбилиси, который посмотрел на него и постарался не узнать. «А это наш гений из Узбекистана!» — приветствовал Москвича седой красавец-госдеповец; наклонившись к зардевшемуся уху Москвича, протелеграфировал: «We really appreciate...»

В те дни международная бригада отлизала весь их «хай-левел», сняв последствия шока. Москвич пахал, как международный стахановец; Узбекистану был обещан кредит, Дада сообщал журналистам, что «Вашингтон и Ташкент нашли общий язык». Москвич уже готовился обнаружить у себя на счету круглую сумму, а на пиджаке — скромный орден за заслуги в области пусть сами придумают чего. Куч, правда, кривил губы. «Из зависти», — думал Москвич, расслабляясь в очередном особняке, после очередного, неизвестно уже какого, сеанса.

Потом все кончилось. Объявили, что Москвич должен срочно вернуться в Ташкент. Он ломился к Даде; Дада не принял. Бросился к Кучу. Куч молча сгреб его и накачал водкой; накачивая, учил: «Молчи, и все обойдется». «Послушай, я же...» — «Именно поэтому. Старик не прощает конкуренции в любом виде, ни в твердом, ни в жидком, ни в газообразном. Понял?» — «Но он же сам меня им...» — «Именно поэтому» — «А деньги?...» — «Упадут на его счет... Ну что, еще по сто?».

Тогда у него в третий раз разболелся язык. Распух, пожелтел. Он катался по полу, кусая ворс ковра. Но нужно было срочно собираться, наелся обезболивающих. Куч отвез его, уже никакого, на обычном такси в Джи-Эф-Кей. Помахал рукой.

В Ташкенте язык перестал болеть, родина всегда действовала как анальгетик. Начал приходиться в себя. Попротирал немного штаны в МИДе, занимаясь «аналитикой» (тырил из интернета). Дада к тому времени уже посольствовал в Москве, причем, с Массачусетс-авеню он тоже не был отозван; порхал туда-сюда через Атлантику, там обещал это, здесь обещал то; дал осечку всего раз, в Москве: «Мы с Джорджем Владимировичем...». Кремль «Джорджа Владимировича» проглотил; все-таки Даду считали своим, хотя он и объезжал за километр ВДНХ, в лабораториях которой был

некогда выведен мичуринцами. Правда, ходили слухи, что с самими мичуринцами Дада имел секретную встречу, на предмет выращивания на каком-нибудь дереве, желательно на арче или лучше пальме, себе преемника... Москвич следил за этими зигзагами Дады, ожидая, что «вот-вот»; но «вот-вот» не происходило. Дада вернулся в Ташкент, стал командовать архитектурой; увековечил собственные ягоды в десятках куполов, возведенных там и сям, заодно повырубал деревья вокруг, чтобы созерцанию куполов не мешала никакая зеленая дрянь.

Москвич все видел, все понимал и ждал: вот-вот... Москвича не то чтобы забыли; иногда приглашали, к какому-нибудь министру; от одного благодарного клиента даже пригнали свеженький, в масле, «Матиз». Иногда звонил Куч, он был в Нукусе, координировал спасение Арала. Писали и коллеги из Вашингтона: жаловались на застой в профессии, советовали подавать на грин-карту...

Москвич раздобыл, забросил футбол; плюхаясь в «Матиз», чувствовал, как машина проседает под его весом. Пару раз ездил на кладбище к отцу; протирая могилу, напевал, как просил отец в завещании, «Миллион алых роз». Потом перестал ездить и протирать.

Все вдруг стало все равно: родители, друзья, бабы, спорт; все желтело и выдыхалось, как лужа на июльском асфальте. Вернулся Куч; он снова вошел к Даде, который приехал его к пузу и поручил какое-то направление. Но Москвичу было уже почти все равно; проводил дни, глядя то в окно, то в телевизор, предпочитая местные каналы, где, как и в окне, ничего не происходило. Женщины его уже не волновали, когда начинала беспокоить физиология, вставал под душ и решал проблемы. Только язык иногда тревожил; тогда Москвич шел полоскать рот содой, а иногда и мочой, помогало.

Так же безразлично он воспринял свой перевод в область, «мертвой душой» в один из хакимиятов: какая разница, в какой точке мирового пространства продавливать собой диван, раз в две недели отправляясь на вызов? Ну, еще три-четыре мастер-класса для молодой смены, это святое. На крайний случай еще попросят отредактировать какой-нибудь документ — в областях с русским языком труба... Шел год очередного Барана, одни говорили — водяного, в других газетах — каменного, или глиняного, или черного, какая разница? Год Барана завис, как антициклон, над ними, и следующий год будет тоже годом Барана, и следующий тоже... Он поработал в одной области, потом его перевели в другую, с повышением на пару миллиметров. В Ташкент не тянуло. Здесь, правда, бывали перебои с водой, светом, газом, но он привык, и хоть какое-то разнообразие. Даже боль в языке во время сеансов стала доставлять ему неожиданное удовольствие. Иногда звонил Куч, они «разговаривали»; говорил Куч, уже выброшенный из политики, подогретый, словоохотливый; Москвич держал мобильник, пытаясь вспомнить, как называлась повесть Достоевского, о которой они тогда, молодые и потные, спорили в спортзале...

Потом все-таки стало плохо, на одном сеансе боль стала нестерпимой, он застонал. Отправили в поликлинику, в областную больницу, диагноз скрывали, намекали, что надо в Ташкент. «Есть родственники?» Дал телефон Куча. Сам ему позвонил, глухо; настучал эсэмэску, тишина. Приходили проведывать с работы, молодежь натащила целое ведро роз. Куч, сволочь, не проявлялся. Зато пришли какие-то типы, передали на словах большой привет от Дады, задали несколько вопросов о Куче, о его биографии. Для чего? Он плохо понимал, язык сам что-то отвечал, с трудом, помимо его воли; гости ушли, пожалел, что не попросил показать удостоверения, впрочем, хрен с ними и их удостоверениями, во рту горело, он бился головой о подушку. Затрещал мобильный. «Ал-ло...» Звонила мать, ругала, что сам ей не звонит, не давая ему оправдаться, спрашивала о делах и здоровье, не давая ответить... «Что ты молчишь, как пень?.. Что-то на работе?» Через минуту с ней уже говорил главврач, правда, за дверью, но «рак языка, запущенная форма» — Москвич услышал. Ему вернули мобильник. «Я приеду! — кричала изнутри мать, — всех их на уши, сволочей, поставлю! Я им самим языки пооткусываю!...». «Мама... Расскажи лучше, как вы с отцом меня зачали...» — «Ты что, рехнулся? Зачем тебе?» — «Скажи, это было по любви? Вы же поженились, когда ты уже ждала меня, ты говорила». — «Да, уж по такой любви... Ох, по такой любви, усратья можно...»

Приснился сон: его привозят к Даде, Дада лежит в холодильной камере, как окорочок Буша. «Как же так? Как же он теперь руководит министерством?» «Ему нет альтернативы, — объясняют ему, — ему просто нет альтернативы». Москвич сдувает челку, касается языком ледяного объекта, три источника и три составные части, язык прилипает ко льду...

Проснувшись, лежал с закрытыми глазами, думал: одиночество — это когда тебе некому рассказать свой сон: Куч так и не проявился; Москвич позвонил одному из общих знакомых. Еле ворочая языком, спросил. «Ты что, не в курсе? Да, позавчера, возле самого его дома...» Москвич откинулся на подушку и завыл. Прибежали, вкатили укол.

Больше разговаривать уже не мог.

Приехала мать в рыжем парике, бесполезно «ставила всех на уши», плюхнула перед ним баночку с каким-то песком, который «успокаивает», подружилась с больничными кошками, гладила их. «Кожа да кости». — Показывала на Москвича ногтем. Несмотря на боль, он чувствовал, что что-то в его жизни еще должно произойти, вот-вот, и ждал этого.

И дождался. В одно светлое утро в палату вошла делегация в белых халатах, накинутых поверх костюмов мышиного цвета. Тот, кто помоложе, держал букет повядших гладиолусов, а кто постарше и потолще зачитал указ о награждении Москвича медалью «Олтын кучкар» за добросовестный труд и вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения... Медперсонал захолопал, мать прослезилась. Москвича приподняли, всунули в пиджак, прикололи медальку, попросили улыбнуться для истории, потом попросили не улыбаться, поскольку качество улыбки не устроило, а просто подумать о чем-то большом и высоком. Москвич выпучил глаза, в лицо плеснула первая фотовспышка, боль вдруг ослабла, он высунул им почерневший язык и улыбнулся.

Тишина. Ким убрал свои записи, водитель принес еще саксаула и пытался наладить костер, Москвич и Принцесса просто сидели.

— Холодно, — сказала Принцесса.

— Сейчас будет теплее.

Москвич поднялся, прошелся.

Вернулся, сел.

— Может, все-таки споем?

— А что?

— Только не «Подмосковные вечера». — Принцесса посмотрела на Кима.

— И не «Миллион алых роз».

Москвич наклонился к Киму, что-то сказал на ухо.

— Не обижаетесь, Тельман?

— Да нет, — Ким пожал плечами. — Сам люблю, говорил же. Я, правда, сейчас без распевки.

— Подхватим.

Ким приподнялся, пригладил волосы.

— Выступает лауреат республиканских конкурсов детских хоровых коллективов...

Закашлялся.

— Давай, давай, ну не надо... Можешь не объявлять, — похлопал его по спине Москвич.

Ким посмотрел наверх. Набрал воздуха:

Висит на заборе, колышется ветром,
Колышется ветром бумажный листок:
«Пропала собака! Пропала собака!
Пропала собака по кличке Дружок!»

— Пропала собака... — подхватил Москвич. — Пропала собака!

Стал подпевать водитель. Принцесса просто хлопала, потом поднялась, прошлась в медленном танце.

Второй куплет пели вместе:

Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна,
Лишь рыжие пятна и кисточкой хвост.
Он очень занятный, он очень занятный,
Совсем еще глупый доверчивый пес!

— Он очень занятный... — пела Принцесса, подсев рядом.

Последний куплет допевали все вместе, сидя рядом, обнявшись.

— Глупая все-таки песня, — поморщился Москвич. — Может, еще что-нибудь споем? Я лет двадцать не пел.

Спели. И «Выхожу один я на дорогу». И «Учкудук». И даже многострадальные «Подмосковные вечера». В конце Москвич, попросив не смеяться, если вдруг забудет слова, спел Strangers in the night. Слов не забыл. Ему хлопали, а Принцесса даже поднесла букетик из каких-то веточек. «Вас бы в наш хор», — вздохнул Ким. В конце концов, уговорили спеть «стренджерсов» на бис. И он спел, даже еще лучше, и ему снова хлопали.

— Интересно, а почему наш водитель ничего о себе не рассказал, — спросил Москвич, когда все отхлопали.

— А что о себе рассказывать? Биография бедная. Не то что у вас. Ехал в том самом автобусе. Который потом вот тут закопали. Не доехал, получается. Потом там временно отпустили, по той же системе, как присутствующего товарища Кима, сказали: иди, повози еще немного туда-сюда. Я говорю, я не умею. Они говорят, кто у нас побывал, теперь все умеет, может даже в космос слетать. Да, вернулся, быстро сдал на права, «Нексию» взял в аренду, на хлеб хватает, спасибо.

— Ясно. А та женщина, которая ехала с нами, а потом ушла?

— А, — махнул водитель. — Никуда она далеко не ушла.

Сунулся в машину, зажглись фары дальнего освещения.

Вдали стала видна женская фигура в белом. Постояла, отошла в темноту.

— И другие сопровождающие лица... — пробормотал Москвич.

Повернулся к Киму:

— Что теперь у нас по программе? Костер развели, сказки рассказали, песенки спели. Что еще?

Ким молчал.

— Кажется, светло становится, — сказала Принцесса.

— Но вот и утро в розовом плаще росу пригорков топчет на востоке...

Ким посмотрел на Принцессу:

— Так что вы решили?

— Попробуюсь...

— А вы?

Москвич пожал плечами.

— Да нет, наверно. Я туда, к Кучу. К Кучкару. Может, он сочинил там какие-то новые сказки. А что мне возвращаться? Да и некуда.

Помолчал.

— Скажите, Тельман, а там задниц нет?

— Там — нет.

Тишина.

— Смотрите...

Песок начал светлеть.

— Смотрите! — повторила Принцесса.

Она стояла, показывая на восток. Вначале казалось, что там кто-то зажег еще один костер, только нестерпимо яркий. Поднялся Ким. Запинав угли песком, подошел водитель.

— Вы-то, наверное, уже привыкли к этому, — повернулся к водителю Ким.

— Привык — не привык, а солнце — это, все-таки...

— Красота... Как красиво... Подождите!

Сбегала, вернулась с мобильником.

Поджала губы:

— Нет, на снимках все равно не так...

Сияние уже выплеснулось с востока и затопило пески; лужицы синеватых теней испарялись; люди застыли, только ветер шевелил волосы и одежду.

Один Москвич все еще сидел возле засыпанного костра, глядя на обгорелые ветки, торчавшие из песка.

Машина марки «Нексия», из Бухары. В машине шофер и клиенты, которых он подобрал в Бухаре и теперь везет в Ургенч со средней скоростью 110 км/ч, кроме тех случаев, когда нужно объезжать барханы, наплывавшие на асфальт. Тогда он сбавляет скорость до 80 и цыкает языком. Проехали порядочно, подъезжают к Турткулю.

— Здесь мобильный уже ловит, — поворачивается к клиентам.

Женщина сзади расщелкивает сумку, достает мобильный.

— Алло, Хабиба. Хабибочка... Доченька, это я, мама. Да, приеду скоро. Да, скоро-скоро. А что тебе привезти? Зайчика? Какого? Такого? Бабушку позови. Да, зайчика привезу и чупа-чупс. Бабушку, говорю, позови!

Дремавший кореец открывает глаза, долго оглядывает всех, по-детски моргая. Он тоже сидит сзади. И еще одна женщина спереди. Три клиента, одного так в Бухаре недобрал. Но эти сами торопили: поехали, поехали. Ладно, тогда с носа будет больше, что же водителю, самого себя наказывать? Согласились.

Вот еще один бархан, водитель сбавляет скорость, объезжает. Слышно, как хрустит придавленный песок. Снова газует, стрелка ползет к ста двадцати. Машина летит; блеснув на солнце, сворачивает, исчезает.

Ташкент, ноябрь 2009 — октябрь 2010

Людмила Бакирова

Такой переплет

* * *

Шаг — за порог.
Отошли разговоры.
И на вопрос под вопросом ответ.
Может быть, где-то есть точка опоры, может, вообще ее нет.
Словно мгновенные кадры из клипа, мысли мелькают, заводят в тупик,
вдруг замечаешь — до донышка выпит осенью теплой арык.
Ветер твой вздох в подворотни уносит, в листьев скребущую жечь,
можно прожить, не задуматься вовсе, можно подумать: а кто же ты есть?
Где тебя носит судьба по орбите, каждый быстрее виток,
сверчены, сцеплены, скручены нити и не распутать клубок.

* * *

Что рождает в сердце смуту,
Не понять людей вовек.
Сам себе через минуту-
незнакомый человек,

То вдруг ищешь день вчерашний,
то клянeshь проклятый быт,
чьей-то просьбой ошарашен,
чьей-то болью с толку сбит.

Дни мелькают в круговерти,
утекают, как вода,
Смерть страшна,
страшнее смерти
чувство жгучее стыда.

* * *

Вышить бы розы стихами на бледной тумана канве,
но тараканы снуют и снуют в голове,
где-то внутри обрывается тонкая зябкая нить,
боль на разрыве,
и некого в этом винить.
Может быть, мебель расставить в доме по фен-шу...
Вряд ли поможет....
Скелеты закрыты в шкафу.

Бакирова Людмила — поэт. Родилась в Кировской области. Окончила медучилище и факультет журналистики Ташкентского ун-та. Работала в области медицины, редактором, в Республиканском обществе книголюбов и др. Много публиковалась в журналах («Новая юность», «Звезда Востока» и др.), альманахах («Малый Шелковый путь», «Арк», «Анор»), в антологии «Соловей в клетке». В ж. «Дружба народов» публикуется впервые. Живет в Ташкенте.

* * *

То пчелкой тружусь,
то на бежевой рубчатой ткани дивана,
лежа читаю, что вредно, особенно вредно, для слабого зрения,
Дни-близнецы друг на дружку похожи, как братья Ивана.
Кажется, где-то у Бродского было такое сравнение.

Вечером поздним — ночная сова — мельтешу у цветного экрана,
кто там и с кем там — сбиваюсь с киношного курса я,
Ну, а во сне отправляюсь в далекие разные страны:
в прошлую ночь заблудилась на узенькой улочке Турции.

* * *

Кто-то горько заплакал в толпе,
кто-то машет рукой на перроне,
расхватили плацкарт и купе,
жизнь трясет тебя в общем вагоне.
И в пространство летит паровоз,
промелькнут то граница, то вежа;
А куда? — задаешь ты вопрос,
А куда... — откликается эхо.

* * *

Миг иль годы здесь ты не был...
Может, минули века....
Перевернутое небо — звезды, рыбы, облака.
Тротуар.
С горы — дорожка,
вкруг колодца, вкруг куста,
за деревьями — окошко обмелевшего пруда.
На песке чернеют бревна.
Утро тихо и светло
белым с синькою неровно побелило все село.
И тумана невод зыбок не утешил рыбака,
на звезду клевала рыба и ныряла в облака.

* * *

Вот этот путь мой из варягов в греки,
он пройден был в каком — не помню — веке,
о нем лишь знают древние руины,
а ныне путь заказан мне в Афины,
и там, с пригорка, там где ты стоишь,
не виден Рим и не видать Париж,
так плотен дым отечества,
как стриж,
ныряет ветер в глубину деревьев,
ах, в глушь бы, в тишь,
смотреть бы из деревни,
как осень птичьи тормозит кочевья
да по ночам скребется где-томышь.

* * *

Что нагадают тебе зеркала?

В комнате той, где четыре угла,
вяжешь себе из дремучей тоски,
джерперы, шапки, перчатки, носки,
улицу вяжешь, деревья, забор,
поле, дорогу, киоск, светофор.

Образ на миг отпечатан в мозгу,
черная птица на белом снегу
кошку не видит и зерна клюет...

Не попадайся в такой переплет.

* * *

Во мне таится множество людей:
друзей, родных и близких, и детей.

И между кухней, потолком и залом
стою большим числом под радикалом.

Из-под него — сейчас об этом речь —
никак себя я не могу извлечь.

* * *

Улица, ночь и, конечно, аптека,
мимо пройду, в темноте, человека,
рядом фонарь, но не видно лица,
вот он тот дом и ступеньки крыльца,

черточкой света очерчена дверь,
чуть приоткрыта,
но ты ей не верь.

Обыденное

Утро

Раннее утро.
Зевнув просыпается медленно двор.
Там, где шашлычные, в воздухе можно вешать топор.
Дворник метлой шебуршит по асфальту шир-быр...
(Образно) — белый халат на колесиках катит к арыку тандыр.

Полдень

К полудню в комнату солнце глядит из-за тюлевых штор,
как ты в ней штопаешь, гладишь и чистишь от пыли ковер.
В чайник набрав изподкранной холодной воды,
— дав отстояться — в горшках поливаешь цветы.

Вечер

К вечеру сходишь не важно за чем в магазин,
и остаешься с собою один на один.
Сам для себя открываешь себя, как футляр —
— что там внутри под воронье — над улицей — кар.

Ночь

Как одеяло с кровати с округи сползает жара,
в ночь полнолуния не можешь уснуть до утра.

Утро

См. начало.

Роман Сенчин

Пусть этот вечер не останется...

Рассказ

В половине седьмого — пошли.

Нет, покупатели были в течение всего дня, но в основном домохозяйки и пенсионеры, не спеша выбиравшие сорта колбасы и сосисок, спрашивавшие о качестве, о степени свежести, иногда просившие попробовать «ветчинку» или «карбонатик». А в половине седьмого от станции метро двинулись возвращающиеся с работы. Они без раздумий и сомнений становились в очередь, без лишних слов четко бросали в окошечко: «Полкило "Сливочных"... Килограмм "Докторской"... Триста грамм "Любительской"...» И Лена автоматически открывала нужную дверцу холодильной камеры, доставала требуемое, старалась отрезать именно столько, сколько заказывали, — знала, что этим, вечерним, не нравится брать больше или меньше. Впрочем, спорили редко — спорить им было некогда.

Ей легче с вечерними, вообще лучше вертеться в тесном нутре тонара, чем вести изматывающе долгие диалоги с дневными. И в этом верчении скорее, незаметнее приближается конец смены... Вот еще час-полтора аврала, запарки, а потом поток схлынет, пойдут одинокие, запоздавшие, а в девять придет Рагим, снимет кассу, закроет тонар, и Лена тоже отправится домой отдыхать, как все...

— Мне «Чайной» колбасы на сорок семь рублей, — голос пожилого мужчины.

Лена поморщилась — такой заказ не сулил ничего хорошего. Сейчас начнется высчитывание каждого грамма.

Сунулась в тот отдел холодильника, где должна лежать «Чайная». Ее там не было. А, да, днем хорошо покупали — у пенсионеров дешевая «Чайная» пользуется популярностью. Остался лишь тот полукружок на витрине.

Достала его, положила на весы. Щелкнула кнопками калькулятора. Сказала:

— На семьдесят два рубля выходит.

— На сколько?

— На семьдесят два.

— Мне надо на сорок семь.

Говорить было тяжело, но Лена решила объяснить:

— Это последний кусок. Больше нет... Куда я эти сто граммов?

— Ну, девушка, пожалуйста.

— Давайте я «К завтраку» отрежу? Цена та же почти, тоже вареная...

— Мне «Чайной» надо.

— «Чайной» не получается.

На улице зашумели и, видимо, оттеснили старика от окошечка. Снова пошли четкие заказы: «Полкило "Домашних"... Четыреста ветчины... Полкилограмма грудки... Упаковку заливного...» Лена доставала, резала, взвешивала, но легкости автоматизма уже не возникало, мешала мысль, почти раскаяние: «Надо дать ему

Роман Сенчин — прозаик. Родился в г. Кызыл. Учился в Ленинградском строительном техникуме, Кызылском пед. ин-те. Окончил Литинститут. Работал монтировщиком в театре, вахтером, сторожем. Автор кн. прозы: «Афинские ночи. Повести и рассказы». (М., «ПиК», 2001). Печатает прозу в ж-лах «Знамя» «Новый мир», «Сибирские огни» и др. Постоянный автор «ДН». Финалист премии «Русский Букер» (роман «Елтышевы», «ДН», № 3—4, 2009), премии «Лит. России» (1997), премии фонда «Знамя» (2001), первой премии «Эврика» (2002).

было сколько просил. Остальное забрала бы себе на бутерброды утром». Хотя колбасу она не любила в последнее время — вид ее на столе иногда даже вызывал отвращение: надоедала за время работы. Впрочем, когда торговала молочными продуктами, почти не ела ни творог, ни йогурты...

Лена окончила торговый колледж и с тех пор десять с лишним лет работала в магазинах, тонарах, палатках. Родители настаивали, чтобы получила среднее образование, но она ушла из школы после девятого — с детства хотела стать продавщицей... Нет, нельзя сказать, что это было ее мечтой. Просто... Просто одним из главных воспоминаний из детства была вечная экономия, разговоры о том, что вот до зарплаты еще неделя, а холодильник пустой. И маленькая Лена представляла себя продавщицей в гастрономе, окруженной банками со сгущенкой, булочками, конфетами. Любимой ее игрой была игра в магазин: Лена делала в своей комнате прилавок из табуреток, раскладывала на них кубики и карандаши, нарывала кусочки бумаги и звала родителей покупать тортики, батоны, сосиски, печеньки... Играла в магазин и в садике, и настолько часто, что воспитательницы жаловались.

Тяжелое начало девяностых Лена, тогда девочка десяти—двенадцати лет, часто переживала в памяти. Тогда голод, казалось, бродил совсем рядом с их домом и готов был ворваться. Папу сократили, он искал новое место, мама часто плакала; варили пшеничную кашу, от которой потом пекла изжога, ходили на Коломенский мясокомбинат за дешевой «некондицией»; вечера были тяжелые и тревожные, а утра нервные, почти злые. Собирая Лену в школу, мама умоляюще говорила: «Поешь там хорошо, ясно? На ужин не знаю что будет». И тогда, наверное, в те дни, Лена и решила всерьез стать продавщицей.

Но ела совсем немного — и в детстве, и сейчас к пище не испытывала жадности. Ей нравилось ощущение, что вокруг вдоволь продуктов. Они были самой надежной вещью, самой верной защитой...

После восьми вечера покупателей становилось меньше, и Лена начинала томиться в своем тонаре. Присаживалась на стульчик, но то и дело поднималась, протирала разделочную доску, заглядывала в холодильник, проверяя, сколько чего осталось, нет ли залежавшегося, на грани просрочки, товара. Вынимала из кармана халата сотик и расстроено-удивленно надувала щеки — время ползло очень медленно.

Из открытого окошечка тянул ледяной сквозняк. На улице метался ветер, кружа сухие крупинки снега... Хорошо, что ей до дома всего две трамвайные остановки — минут десять быстрым шагом.

Лена задумалась, вспоминая, что там на ужин, на завтрак, нужно ли в магазин заходить... Творожная масса есть, вчерашний рис в кастрюльке, яблоки. Креветок можно сварить... Да нет, выбор есть — что-нибудь приготовит. Сделает ужин, отнесет в комнату, устроится на диване, включит телевизор.

Еще раз взглянула на часы. Без семи девять. Пока перечислит Рагиму, что привезти завтра, пока снимут кассу, закроют тонар, пройдет полчаса... Успеть бы к комедии на «ТНТ».

— Есть кто? — голос в окошечке; мужской, молодой голос.

— Да. — Лена поднялась со стульчика. — Заказывайте.

— А это что у вас, кровяная колбаса, что ли?

— Да. Новинка нашего предприятия.

— М-м! А вкусная?

Лена не пробовала кровяную колбасу — страшновато было: колбаса из крови, — но ответила: «Очень вкусная». В качестве того, чем торговала, она была уверена, тем более что ни разу никто серьезно не жаловался. Лишь домохозяйки иногда недовольно ворчали — «что-то "Краковская" мне вчера не понравилась, возьму сегодня "Одесскую" лучше»...

— Ну, взвесьте палочку. Поем, о родине вспомню.

Лена выбрала побольше, положила на весы. А невидимый человек на улице (чтобы увидеть его, Лене нужно было наклониться) продолжал говорить:

— Я сам-то родом из Тувы. Это в Сибири, южнее Красноярского края есть республика. Не бывали?

Зная, что с покупателями нужно быть вежливой, Лена с доброжелательной грустинкой в голосе ответила:

— Нет, к сожалению, не бывала.

— Зря. Представится возможность, побывайте. Самое красивое место на земле. Горы, Енисей, степи... И там такую кровяную колбасу делают — м-м! Называется хан. Вкуснее ничего нет. Я хоть русский, но очень люблю.

— Шестьдесят три рубля сорок копеек, пожалуйста.

Рука положила на стеклянную плошку для денег сторублевку. Лена отдала колбасу в целлофановом пакетице, стала набирать сдачу.

— Три сорок есть у вас?

— Да есть где-то, — голос с улицы, — холодно искать.

Ее кольнуло раздражение. «Хоть бы уж наврал просто, что нету». Насчитала монеты...

— Держите.

— Спасибо.

— Спасибо вам.

— Сейчас возьму водочки, порежу колбаски и побываю в Туве.

— Приятного вечера.

Тува какая-то... Лена нигде не бывала. Нет, в детстве родители один раз ездили с ней в Феодосию, но ничего не запомнилось — ей было неполных пять лет. От той поездки остались хранящиеся в серванте лакированный крабик с отломанными клешнями на подставке с надписью «Феодосия» и несколько бледно-розовых камушков в надколотой фарфоровой чашке.

В ранней юности Лена несколько раз заговаривала о том, что ей хочется куда-нибудь съездить, что вот в школе собирают группы то в Тарусу, то в Михайловское, то в Петербург, а родители грустно отвечали: «Но ведь это денег стоит, доченька... У нас до зарплаты — не знаем, дотянем опять или нет».

От прошлого светлыми лучами остались дни, проведенные на даче в Толстопальцеве. Бревенчатый дом, снаружи небольшой, но внутри казавшийся огромным из-за множества комнаток; просторный участок, где была и лужайка, и заросли малины, и настоящий еловый лес с орешником и покрытым ряской прудиком. Дача эта была старая, семейная, но в начале девяностых тетка, мамина сестра, которой дачу завещали (маме отошла двухкомнатная квартира, где сейчас жила Лена), продала ее — очень нужны были деньги...

Реальный мир для Лены ограничивался Москвой, да и то в основном одним районом — Нагатином. Здесь был ее дом, здесь она ходила в садик, окончила школу, здесь то в магазинах, то в тонарах работала. В другие районы и центр почти не выбиралась — не было повода. Разве что иногда в гости к подруге Маринке в Свиблово...

Пять минут десятого подъехал на «Жигулях» Рагим. Забрался к ней.

— Привет, — сказал, как всегда, тихо, устало. Отряхнул с головы, плеч крупинки снега. — Как дела?

— Нормально. Давай подсчитаем.

Лена доверяла Рагиму — кажется, честный парень. По крайней мере за те почти полгода, что она здесь, ни разу не пытался ее обмануть, подставить. И смотрит всегда как-то тепло и тоскливо, словно жалеет ее, хочет сказать важное, но не решается. Да и понятно в общем-то, что и Лена знает, что ответит ему, если он вдруг решится, — ответит сразу и твердо, — но все же каждый день ждет его слов. Волнуется, слегка путается, нервничает, когда Рагим рядом.

Друг о друге им почти ничего не известно. Он для нее — экспедитор, она для него — одна из нескольких продавщиц его участка. По утрам он привозит ей товар на своем «Жигуленке», вечером забирает деньги. Они закрывают тонар и прощаются.

Сегодня все было, как много вечеров перед этим. И попрощались обычно: Лена сказала «до свидания», Рагим кивнул, грустно взглянул на нее и залез в свою неказистую, помятую машину... Может, в свободное время он ездит на иномарке, но работает на такой вот, в которую девушку стыдно пригласить. Да и есть ли у него свободное время...

Через подземный переход Лена миновала проспект Андропова и по левой стороне Нагатинской улицы пошла к дому.

Дом был, наверное, сталинских времен. Пятиэтажный, из темно-серого кирпича, с полосками между третьим и четвертым этажами и под кровлей кирпича бордового. На первом этаже хозяйственный магазин (когда-то был магазин «Ткани»), окна там полукруглые, даже лепнина есть... Оказываясь в других местах Москвы, Лена замечала такие дома — они стояли по два-три и в центре, и на самых дальних окраинах. Слово их выстроили в одном каком-то месте, а потом разбросали по городу, туда, где они были особенно в тот момент нужны.

При виде этих пятиэтажек у Лены теплело в груди, она мысленно передавала им привет от дома, в котором жила; ей казалось, что они скучают друг по другу.

Возле подъезда остановилась, нашла в кармане плаща ключи, приложила один к кодовому замку. Замок запищал, дверь чуть приоткрылась. Лена вошла в подъезд, по бетонной лестнице поднялась на свой третий этаж.

В квартире пахло вкусно — Лена любила жечь ароматические палочки, клала на шкафы, полки надушенные ватки. Впрочем, сложно было сказать, что именно она это любила — это делала ее мама, а потом, после мамы, стала делать и Лена...

Сняла плащ и сразу почувствовала, как запах духов перебил тяжелый дух копченостей. Целый день в тоне его не замечала, а здесь ударил, неприятно защекотал ноздри.

Душ принять? Нет, завтра утром... Разделась в ванной, бросила белье на стиральную машинку, надела теплый халат, завязала пояс... Приготовить ужин, забраться на диван, посмотреть комедию... Десять минут осталось.

И через десять минут Лена уже была на большом мягком диване, купленном ею недавно взамен старого советского, со скрипучими пружинами.

Она любила этот момент — когда рядом на подносе горячий чай, фруктовый салат, стаканчик с йогуртом, печенье на тарелке, телевизор еще не включен, но дистанционка уже в руке и впереди три-четыре часа до сна...

И себе Лена нравилась в этот момент — вот она сидит, подобрав под себя ноги, маленькая, уютная, спокойная молодая женщина. Молодая, обеспеченная и свободная.

Но, наслаждаясь этим моментом, она, не желая того, помнила, что до встречи с Виталием еще целых два дня и что он сегодня ни разу не позвонил; что наверняка позвонит Маринка, и ее нужно будет терпеливо слушать, потому что она подруга с детства, самый близкий теперь ей человек...

Включила телевизор, присмотрелась и поморщилась — узнала комедию «Полицейская академия». Сколько можно ее крутить... Подавила на кнопку дистанционки, переключая программы, остановилась на передаче «Тайные знаки». Про Блаватскую... Ну, пусть это.

Но история жизни Блаватской не увлекала, а внутри постепенно росла, выдавливала остальные чувства тревога; Лена поглядывала на молчащий телефон — и тут же, будто опасаясь, что ее взгляд кто-то может заметить и едко усмехнуться, перевела его на сервант, с серванта — на шкаф с книгами, затем сразу — на столик с накрытой фанерным футляром швейной машинкой...

Комната была просторная (оставшись одна, Лена выбросила копившийся десятилетиями и раньше, видимо, кажущийся нужным хлам), но мебель, кроме дивана, старая. Сервант темный, напоминающий ящик, громоздкий книжный шкаф со стеклянными дверцами... Возле дивана торчал кривоватый торшер с лопнувшим абажуром, на стене — толстый, будто грозивший вот-вот сорваться и завалить пространство ковер...

Эту квартиру в пятидесятых получили ее бабушка и дедушка (мама и папа мамы), в этой квартире выросли Ленина мама и ее сестра, тетя Света. Сюда мама, уже немолодой, привела немолодого жениха, Лениного отца (тетя Света в то время уже вышла замуж, и та комната, девятиметровый пенальчик, где сейчас у Лены спальня, принадлежала маме).

Бабушка и дедушка умерли, когда Лене было чуть больше десяти лет, умерли друг за другом, не дожив до шестидесяти пяти. Так же почти одновременно и в том же

возрасте умерли потом и мама с папой; умерли тихо, почти незаметно, как и жили. И Лена осталась одна...

Передача про Блаватскую кончилась, начался «Мыс страха». Его Лена уже видела несколько раз, но фильм ей нравился, — решила еще раз посмотреть. Актриса хорошая в главной роли — Джульетт Льюис; она напоминала Лене ее саму. Или хотелось так, чтобы напоминала.

Несколько минут смотрела на экран и действительно увлеклась мастерски сделанными титрами и почти идиллическим началом ужастика, но тут пошла реклама. И сразу вспомнилось, что Виталий так и не позвонил. И Маринка тоже, — то по пять раз на дню, а то уже третий день молчит... Может, Виталий эсэмэску прислал, а сотик в плаще. Вполне могла не услышать сигнал.

Лена поднялась, отнесла поднос (посуду сполоснет утром), достала телефон. Проверила. Нет, пусто. Зачем-то пооткрывала-позакрывала «Звонки», «Галерею», «Контакты», «Органайзер»... Вернулась в комнату, снова забралась на диван.

Реклама еще не кончилась. Пенелопа Крус красила ресницы чудо-тушью...

Лена снова встала, взяла городской телефон с подзеркальника и переставила на диван. И тут же не выдержала — сняла трубку. Очень хотелось позвонить Виталию, и чтоб не сделать этого, набрала Маринкин номер.

Длинные гудки, и — недовольный голос подруги:

— Алле?

— Привет, Мариш, — уже жалея, что позвонила, сказала Лена. — Это я, извини, что отвлекаю.

— А, привет, солнце! — голос Маринки потеплел. — Ты как там?

— Да сижу, смотрю фильм ужасов.

— А-а, какие это ужасы. Вот у меня вчера день ужасов был — вот это действительно... Погоди, на кухню перетащусь...

Маринка с детства была говоруньей, и тихоне Лене это нравилось — она любила слушать.

— Поднимаю, в общем, Алинку в садик, — с привычным увлечением стала рассказывать Маринка, — и она сразу: «Мама, купи мне матушку». «Ладно, — говорю, — куплю». Главное — в садик собрать и увести. А она все: «Матушку купишь, да?»

У Маринки была дочка Алина, четыре года...

— Вышли на улицу, и она меня тянет к «Непоседе». Ну, это магазин игрушек у нас тут... «Купим матушку!» — «Да какую матушку? — говорю. — Я твоя матушка». «Нет, ты мама, а мне надо матушку». Блин, еле-еле ее в садик затащила, Алинка рыдает — надо ей срочно матушку какую-то. Прямо до истерики. «Алин, — говорю, — у меня такая сложная работа с деньгами, — Маринка работала кассиршей в сбербанке, — а ты такое мне устраиваешь. Как тебе не стыдно!» В обед позвонила, воспитательница говорит, всех там уже довела этой матушкой. И целый день как на иголках... Ну, вечером забрала, притащила домой под это ее: «Мне матушку надо!» Раздела. «Объясняй, — говорю, — что за матушка. Что это ты себе вбила в головушку». А она уже невменяемая, задыхается от рыданий своих. Пришлось валерьянку давать, лицо холодной водой... Но все равно: «Матушку надо!» «Да какую, блин, матушку?!» Лешка пришел, тоже с ней весь вечер... Он и придумал: «Нарисуй нам матушку, и мы сразу купим». Она села, полчаса там что-то пытела, приносит. «Да это матрешка, а не матушка никакая», — говорим. «Матрешка, матрешка, — Алинка нам, — купите?» «Купим, конечно. И надо было весь день с ума всех сводить?!» Короче, уложили спать, утром сегодня купили эту матрешку, а сейчас она про нее и забыла уже... Вот такой фильм ужасов в реальности. Представляешь, ребенок ходит, рыдает, и одно и то же: «Купите матушку! Купите матушку!»

— Да-а, — с не очень искренним сочувствием вздохнула Лена, — действительно...

И попыталась представить себя на месте Маринки; ей показалось, что она бы сразу догадалась, что нужно ее доченьке. Хотя... Вот вскакивают они всей семьей утром, скорее глотают кофе, собираются на работу, одевают ребенка, а он рыдает и требует неизвестно чего. А минуты бегут, и до того ли, чтобы сесть, спокойно расспросить, понять...

— И еще, Лен, слушай, — голос Маринки стал тише, слышались жалобные нотки. — Лешка что-то странный совсем стал какой-то. Даже не странный...

— А что?

— Молчит всё, в общем, ко мне внимания никакого. И на своем биатлоне помешался.

— На чем?

— Ну, — Маринка занервничала, — знаешь этих, на лыжах с ружьями катаются? Спорт такой.

— М-м, вроде да.

— Мужики когда, сидит просто, а когда девки — глаза прямо горят, и вдруг начинает: «Света, давай! Аня, давай!» — эта еще... «Зайка, давай!» И кряхтит так весь... Знаешь, как во время секса... Понимаешь... А, Лен?

Лена сдержала усмешку — «Ну, Маринку понесло!» и снова сочувственно вздохнула.

— Я сначала-то, — голос подруги стал еще тише и совсем уж горестный, — как шутку воспринимала, а тут в комп залезла — куча скачанных фоток их, переписка с какими-то, как он тоже... «Что, — говорю, — влюбился?» Он глазами хлопает. «Ну и живи с ними». Теперь на кровати по разным углам спим. Она же огромная у нас... сексодром, блин... И, знаешь, ни разу не пристал за это время. А уже недели две прошло... Что делать, Лен, а?

— Ну... — сразу не нашлась она.

— У тебя все «ну».

— У меня, — обиделась Лена, — тоже проблем полно, на самом деле.

— Каких проблем? — В Маринкином голосе слышалось любопытство и недомыслие.

— Я вообще одна. Сижу вот...

— А Виталик где? Вы же с ним, кажется, прочно...

— Прочно... На выходных только прочно.

— До сих пор, что ли, так?

Они не разговаривали об этом больше месяца, а с Виталием Лена как бы живет почти два года. Вот таким образом живет... От этих мыслей Лене стало обидно до слез.

— Да, до сих пор. И не знаю...

— Так ты скажи ему: «Слушай, милый, давай-ка решать. Мне уже двадцать восемь, мне пора ребенка делать, семью создавать». Правильно?

— Ну, правильно...

— Так действуй тогда! Правда, — Маринка сладковато вздохнула, — я так тебе иногда завидую.

— Хм! Это в чем же?

— Свободе твоей. Я бы сейчас на твоём месте поехала б в клуб...

— Да уж, после работы клуб — самое то!

— Выпила баночку энергетика, и все нормально. Помнишь, как я танцевать любила? А теперь... Лешке иногда говорю: «Поехали потанцуем». А он кривится только или: «Ну, езжай». Представь, одну готов отпустить хоть куда. Обидно так... Нет, была бы одна... Тебе когда на работу завтра?

— К девяти.

— Да? — Маринка задумалась. — Ты по полным дням, что ли, по-прежнему?

— Ну да.

— Что ты себя изводишь-то?! По двенадцать часов...

— А что еще делать? Дома тут киснуть? — Лена представила, что бы делала днем без работы одна в этой квартире, и на глазах снова выступили слезы; чтобы не расплакаться, стала себя успокаивать: — Да и полдня, даже больше, спокойные. С половины седьмого до восьми самый пик.

— Нет, зря ты так, Ленка. Здоровье сорвешь... Ты Виталику своему все выскажи. Не хрена! Поженитесь и — или ты к нему, или он к тебе. Одну квартиру будете сдавать, на жизнь деньги какие-то тоже...

— Он с мамой живет.

— Да? Понятно... Да, это хуже. — Голос Маринки погрузнел. — Но все равно, Лен, ты над собой не издевайся. Зачем, в самом деле?

— А что? Здесь тухнуть?

— Блин, заладила!.. Развлекайся! Потом локти будешь грызть, когда ребенок появится... И что Виталик этот... с мамой он живет... На каждом углу по миллиону мужиков — знакомься, выбирай... Погоди. — Маринка, видимо, зажала трубку ладонью, и Лена расслышала лишь интонации женского и мужского голосов — раздраженную интонацию. Видимо, Маринка разговаривала с мужем.

Они жили вместе шесть лет. В первый год Маринка минуты не могла прожить без своего «Лешика», только о нем и говорила — какой он замечательный, какие подарки делает; потом, когда родилась Алинка, стала часами говорить о дочке, жаловалась, что муж мало помогает. А в последнее время все чаще жаловалась на обоих, завидовала Ленкиной свободе. И никакие слова Лены, что от такой свободы тошно и тоскливо до слез, ответные жалобы ее не переубеждали. Лене же казались наигранными жалобы подруги...

— Заходил тут, — послышался в трубке Маринкин полусшепот, — по кастрюлям шарился. Поели же. И мяса нажарила, и спагетти целую пачку... Я тут опять на диету хотела сесть, но как с ним сядешь... «Давай, — говорю, — делать разгрузочные дни. Хоть два в неделю». Психует: «Я к мясу привык и буду его есть! И все!» А мне как его готовить? Нюхать и не есть?.. Была бы одна, мне бы двух яблок на день хватало, а так... Ты много ешь?

— Да нет, — пожалала Лена плечами, глядя в экран телевизора, где герой Де Ниро, прикидывающийся театральным преподавателем маньяк, разговаривал с наивной жертвой в исполнении Джульетт Льюис.

— Ну вот что ты ела на ужин? А?

— Так... Ничего почти... Ладно, Мариш, буду спать, наверно... Завтра вставать...

— Дав-ва-ай. А мне Альку в садик тащить. Скорей бы суббота. Хотя... Как пауки в банке в выходные тут...

Положив трубку, Лена некоторое время пыталась следить за отлично известным ей сюжетом, а на самом деле удерживала себя от звонка Виталию.

Встала, прошла по комнате, подняла с паласа несколько соринки, сунула в карман халата. Потрогала твердый, словно неживой лист росшего на подоконнике алоэ. Оно осталось от мамы, а палочку, которая поддерживает ствол, принес папа. Их нет, уже три года никого из них нет, а алоэ продолжает расти... Лена надавила на лист пальцем, и ноготь порвал пленочку, врезался в сочную мякоть.

Испугавшись сделанного, отдернула руку, попятилась от окна. Будто от кого-то скрываясь, завернула в соседнюю комнату. Остановилась, огляделась.

Кровать с деревянными спинками, на которой Лена спала лет с двенадцати. Письменный стол с отпадающей дверцей ящика-тумбы, за которым она делала уроки. Шкаф, большой, в четверть комнаты, в котором висели ее кофточки, платья, юбки, включая и те, что Лена носила ребенком. На стене полка с давным-давно не открываемыми книгами... В этой комнате, считающейся спальней, Лена бывала редко — ночи проводила в основном в большой комнате на диване. Очень тяжело было среди вещей, напоминающих о прежней ее жизни, о детстве, и Лена старалась их не замечать, но помогало плохо.

— Надо делать ремонт, — в который раз за последнее время, четко и убеждающе, сказала она. — Мебель на свалку, обои светлые, стеллажик зеркальный, комод хороший видела...

Но говоря себе это вот так, почти приказывая, в глубине души она не верила в ремонт. Если кто-то или что-то не подтолкнет к переменам, все так и останется, так и будет. И она сама, Лена, будет такой же, как сейчас и как год назад. То есть в таком положении, но не в таком же возрасте. Это в детстве время торопишь, а когда тебе недалеко до тридцати...

Хорошо, что встретился ей Виталий. Мог бы и не встретиться, и было бы тогда совсем, наверно, невыносимо. Спасибо Маринке — она в тот вечер вытащила ее в «Алмаз» — развлекательный центр — на бильярде поучиться играть, чаю зеленого выпить, потанцевать. Там с ними и познакомился молодой человек, высокий, симпатичный, в белой рубашке. Маринка и Лена сначала приняли его за официанта и велели принести чаю и пирожных. Он принес и подсел к ним. Маринка возмутилась, а

когда он объяснил, долго смеялась. Молодого человека звали Виталий, он работал бухгалтером в крупной торговой фирме. И после этих его слов вместе с Маринкой стала смеяться и Лена — в их представлении бухгалтерами должны были работать пожилые полные тетки или маленькие плюгавые дяденьки, как в клипе песни группы «Комбинация», но совсем не «такие симпатяги», как Виталий.

Поначалу Виталий выражал интерес к Маринке (да это и понятно — она всегда была заводилой), а узнав, что Маринка замужем, переключился на Лену.

Когда прощались, предложил ее проводить. Лена отказалась, но номер своего сотика дала... Виталий позвонил в следующую пятницу и позвал провести вечер вместе. Она согласилась.

С тех пор почти два года все шло без перемен: с понедельника до вечера пятницы лишь перезванивались, находясь в разных концах Москвы, а выходные проводили вместе. На работе Лену в эти два дня заменяла пенсионерка с медицинской книжкой Людмила, нервная, вечно усталая, долго пересчитывающая выручку. Рагим жаловался, что очень с ней трудно, но Лена не реагировала. Что, ей вообще все дни, что ли, в тонаре проводить? Многие приезжие так и работают, впрочем. Хотя Лена не думает, что ей предложат выбирать — или на семидневку, или увольняться. Но, не признаваясь себе, она ожидала чего-то, какой-нибудь перемены, встряски, ситуации, когда нужно будет очнуться, задуматься, пусть вынужденно проявить активность. Иначе...

В том же подъезде, этажом выше, жила Ирина. Лена отлично помнила ее еще девушкой — Ирина была лет на пятнадцать старше ее. Невысокая, но стройная, аккуратная, свежая. Скромная. Для Лены она была примером тогда... Жила Ирина одна — у ее родителей была другая квартира, — работала где-то переводчицей, давала уроки английского на дому. Иногда и Лена к ней поднималась, чтоб подтянуть знания в конце четверти, и всегда любовалась Ириной. Такой, в ее представлении, и должна быть женщина — аккуратной, скромной, спокойной.

И вот Ирине уже прилично за сорок, и она все так же одинока. И постепенно превращается в старушку.

Несколько раз Лена, вместе с Виталием, встречала ее во дворе или на лестнице и замечала в глазах Ирины завистливую злобу. Наверняка бессознательную и от этого тем более открытую, от которой у Лены пробегали меж лопатками ледяные мурашки.

А ведь у Ирины тоже бывали мужчины — Лена помнила ее счастливой, под руку с молодыми красавцами. Но они быстро исчезали, и теперь новые вряд ли уже появятся. Нет, может быть, еще кто-то будет, а вот дети...

Лена прошла по комнате раз, другой, третий. Ходила медленно и словно бы расслабленно, а на самом деле ее трясло. Казалось, так тошно, так тоскливо ей еще не было... Проходя мимо дивана, подхватила сотик и нашла номер Виталия. Нажала кнопку с зеленой трубкой.

Вместо гудков зазвучала приятная, успокаивающая музыка, — Виталий установил себе такую функцию, — но сегодня она не успокаивала Лену, а злила, будто над ней издевались...

— Алло, — сонный голос Виталия. — А, привет, Ленусь.

Она отозвалась не сразу — перед тем, как произнести хоть слово, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть.

— Привет... Как дела?

— Да ничего хорошего. Устал как гоблин.

— М-м...

— Извини, что не позвонил. Совсем замотался. Домой дошел — и рухнул...

«Совсем замотался, — повторила про себя Лена. — Сколько мужчин и женщин это друг другу говорят каждый вечер...»

И от этого стало не по себе — Лена будто оказалась не в более-менее защищенной, укрытой от остального мира квартире, а в прозрачном кубе. И в соседних прозрачных кубах сидели, лежали, стояли, бродили из угла в угол тысячи других женщин с прижатыми к ушам телефонами. И отовсюду — шелест: «Тяжелый день... Совсем замотался... Очень устал...»

— Квартальный отчет готовим, — продолжал снуло бубнить Виталий, — бумага горы. Аудиторы — дебилы. Надо другую контору искать... А у тебя как, малыш?

Лена собралась ответить так же, как и обычно: «Да нормально», — но вместо этого сказала сухо, колюче:

— Плохо. Ничего хорошего.

Виталий вздохнул. Помолчал и, кажется, с натушной ласковостью попросил:

— Потерпи чуть-чуть. Скоро уже выходные... Тяжелый год вообще, что ж... Вот сдадим отчет, возьму отпуск — и сгоняем на неделю в Прагу. Ты была в Праге?

— Нет.

— Чудесный город. Я тебя повожу...

— А ты ездил уже?

— Конечно! Самый любимый мой город.

Лена хотела спросить: «И с кем?» — Сдержалась. — «Глупо... Надо успокоиться». — Но в груди дрожало, в горле бились рыдания... Виталий что-то продолжал говорить устало-бесцветно; Лена не слушала, — не могла вслушиваться в слова. Наконец проглотила рыдания и перебила:

— Послушай, мне очень плохо... я не могу больше так... не могу больше одна...

— А? — удивленно-испуганный звук в трубке.

— Ведь это... согласишься, это ненормально, что так... что я здесь, а ты — там где-то. Если мы любим друг друга, то должны быть вместе. Да ведь? Да?

— Ну конечно, Лен. Конечно. Только... Понимаешь, Лен, с такой работой и так с ума сойдешь, а если еще каждый день по два часа в метро давиться... Я тут две станции проезжаю, и то... Давай после Нового года решим. Хорошо? Рождественские каникулы будут, будет время подумать. Хорошо, малыш?.. Алло, Лен? Ты где? Алло?

— Я здесь, — с трудом сказала Лена. — Не знаю, что мне ответить. Что ж... — продолжила, глотая и глотая бьющиеся в горле спазмы, — что ж, буду ждать Нового года. Что еще остается...

— Ле-ен, зачем ты так? Я тоже очень хочу быть с тобой... Надо, Лен, надо что-то придумать... Может, квартиру здесь где-нибудь снимем...

— Нет! — вскрикнула Лена, будто ее действительно поволокли куда-то. — Я хочу жить в своей квартире!.. Я, — она заставила себя говорить медленно и четко, — я хочу здесь, в этой квартире, жить со своим мужем, и чтобы у нас были дети, и чтобы... — Рыдания прорвались на волю; Лена говорила сквозь слезы и спазмы. — И... и чтобы все... чтобы все у нас было хорошо! Я не хочу больше так. Не хочу! Это ненормально! И... и если ты хочешь, чтобы мы были вместе...

— Лен, Лен, что с тобой?! — испуганно спрашивал Виталий. — Лен, ну ты что?!

— Дру... другие как-то... Другие из Подмосковья каждый день... а здесь не можешь на метро...

И чтобы не наговорить оскорблений, она нажала кнопку с красной трубкой, бросила сотик и долго плакала, ткнувшись в подушку. Плакала, захлебывалась и давилась слезами и удивлялась себе — с ней никогда такого не было. Всегда старалась держать себя в руках, даже на похоронах родителей. И — вот прорвало...

Кое-как поднялась, всхлипывая, дошла до ванной, умылась, вытерлась полотенцем. На кухне выпила воды. Постояла возле холодильника, внимательно глядя на наклейки на его дверце. Казалось, совсем-совсем недавно, будто несколько недель назад, она наклеивала этих динозавров, машины от жвачек, ромбики с мандаринок... Лет восемь ей тогда было, теперь — двадцать девять почти...

Торопливо, чтобы снова не разрыдаться, вернулась в комнату... Надо лечь и уснуть. Завтра к девяти на работу.

Сотик голубовато светился, на дисплее покачивался конверт. Эсэмэс. Лена открыла, слегка щурясь, прочитала: «Малыш, я очень люблю тебя!». Подписи не было, но номер был Виталика... Придумывая ответ, наблюдала, как по телевизору Джульетт Льюис со своими родителями отбиваются на яхте от маньяка Де Ниро... Придумала, набрала: «Прости. Пусть этот вечер не останется в нашей памяти. До пятницы».

Отправила. Подождала. Потом отключила телефон, погасила телевизор и стала стелить постель.

Михаил Каганович

Жертвоприношение речи

* * *

— Куда ходил ты, пилигрим?
— В страну, где всякий сыт.
— А что рассказывал ты им?
— Молчал. И не был бит.
— За что же бить тебя, бедняк?
И так ты наг и бос.
— Не все ль равно — за что да как?
Бьют даже за вопрос.
— А что ты видел, что искал?
— Я видел лес и дол.
— Ты крепко ел? Ты сладко спал?
— Я только шел. Я шел.
— И не вернулся сытым ты?
Зачем ходил тогда?!
— Ты глуп, мой сын. Вода свята —
Мы святостью сыты
А там — такая же земля,
Как в нашей стороне,
Такие ж тощие поля...
Да...
Белый свет в окне.

Credo

О, звуки утра! Звуки дня!
О, скрипы, скрежеты и гамы!
«Соседка снизу» моет рамы...
«Соседка сверху» долбит гаммы...
Неутомимая зануда!..
А я читаю про верблюда,
И нет счастливее меня.

Верблюд шагает по пустыне
В своей несуетной гордыне,
С одним желанием природным —
Как можно долее прожить.
Не караванный — а свободный,
И потому всегда голодный,

Но — все же! — грустно-благородный
Идет, плюет на миражи!

Он сам себе — верблюд и Бог!

А тишина вокруг такая,
Что змеи млеют, замирая,
Как снег сухой, скрипит песок
Под мягкой ногой верблюда...
Верблюд бредет из ниоткуда,
По направлению в никуда...
Он не торопится, покуда
Есть горький кустик и вода.

Каганович Михаил Вениаминович — поэт, прозаик. Родился в 1956 г., в Москве. Образование высшее медицинское. Автор книги стихов «CREDO» (М., 2008) и книг прозы «Начало романа» (М., 2009) и «На конной тяге» (М., 2009). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

А я читаю про верблюда,
И нет счастливее меня...
И умирают звуки дня.
Скрипит помытая посуда,
И тихо звякают ножи,
И время к вечеру бежит.

Играют вместо гамм Шопена.
Шопен — верблюд — какая связь?
А просто — в мире перемена,
И звуки накопили в пену,
И медленно уходят в стену,
Неугомонности стыдись...

Еврейская колядка

Ольге Оренбург

В светлом празднике Христова Рождества —
Только радость и несколько торжества...

Хоры ангелов и грохот тысяч крыл —
Это после...

А пока Господь открыл
Вздыхая, сопенье мудрое осла,
Стон:

«Иосиф!.. — я уже таки дошла...» —
Двери скрип... И пар с мороза... И в ответ:
«Горе мне! — другого места в мире нет...»

Два архангела выходят из угла,
Воздымая к небесам свои крыла.
Рукавом над головою Михаил
Застит меч, чтоб огонь соломы не палил,
Гавриил лилеей веет на навоз —
Дух вертепный чтоб скорее в той возрос...

И в две тысячи уже который раз
Миг таинственный свершается без нас...

Ах, евреи! — кто бы помнил нас, когда
Над губернией Давидовой звезда
Не случись в ту ночь... — и, Господи прости,
Через родовыводящие пути
Сороканедельный Бог был не дан нам —
Плод еврейский чрева Девы Мириам?..

Но явился Он — исторгнув первый крик —
Мукой родовой на крестную проник.

Меч принес с собой — не мир.
И с той поры
Ходит радость по еврейские дворы:
Не нарушить наш Закон явился Он —
Но исполнить! А для этого рожден
Всяк еврей, и кто пошел за Ним на крест —
Тот еврей — опреснок свой иль сало ест...

Потому что в муке смертной допьяна
Жизни вечной кривизна отражена...
Потому и в день Христова Рождества —
Только радость. И несколько торжества.

Фреска на два голоса

Истинно, истинно говорю вам — хорошо сидим.
Не суди меня строго — и не станешь судим.
Нам с тобою двоим ныне ведомо чудо,
Не грусти, спой, Иуда!

Плачет невеста, прячет лицо,
Рукавом закрылась и плачет,
Звякнуло о монисто запястье:
«Ах! — где мое счастье?»
Плачет невеста, прячет лицо:
«Подарил мне милый кольцо,
Я любила его. Я кольцом любовалась.
А поставил шалаш — испугалась...»
Плачет, рыдает невеста:
«Господи! Из какого я теста? —
И Тебе и мужу раба...
Рыба и та не так слаба!»
Плачет невеста: «Не кончится это добром!
Ну, зачем он осыпал меня серебром?
Я и так его сильно любила!
А теперь — закрыла лицо...
и забыла!..»

Истинно, истинно вам говорю —
Тороплю я сегодняшнюю зарю.
Новый свет вам откроется,
А пока что — хватит свечи...
Пой, Иуда, пой — не молчи!..
От огня ваши лица строги и мудры.
Нам осталось всего — до рассветной поры —
И попить, и попеть, и проститься...
Пой, Иуда, печальная птица,
Пой, любимый — твой голос любовью сладим...
Истинно, истинно говорю вам — хорошо сидим!

Вечная тема

Так угли вишен днем черны,
Но только ночь холодным паром
Окатит их, и тяжким жаром
Они во тьме раскалены.
И по усам стекает сок —
Се яд змеиного лобзанья...
И листьев легкие касанья
Пронзают холодом висок...
И сердце ухаёт совой...

И страхом дребезжит цикада...
И в глубине ночного сада
Я вижу
 темный голос твой...
Я слышу
 тень твою, в саду —
Сквозь яблок плотное гуденье...
О, дай мне Бог грехопаденья!
Как эту косточку во рту...

Поэт

Не стоит вытягивать горло
 И, клювом суча, стрекотать,
 Покуда под дых не подперла
 Подъемная сила — взлетать!
 Покуда, треща от усилья,
 И, грудь на манер корабля
 Согнув, не расправятся крылья
 Полета и трепета для.
 Покуда, за стайей далеких,
 Летящих на хлад высоты,
 Таких же, как ты — одиноких,
 Вдогонку не ринешься ты...
 Туда! —
 где в согласии строгом
 Парят они, каждый — сам друг...
 И слушают сосланных слогом
 В их светлый и проклятый круг...
 Закрыты крылами их лица.
 В их лицах не можно читать.
 И в чутком молчании длится
 Там вечность...

Велят лепетать,
 Но только что клекот кровавый
 Прослышат сквозь щебет щегла,
 Склонят благосклонные главы,
 На них же — сиянье и мгла.

И ты не вернешься оттуда,
 Несчастный свой дар беребя.
 И дар принимая, как чудо,
 И даром себя же губя...
 Вся жизнь твоя прочь пронесется —
 В несчастьях и в счастье странна...
 Но то, что другим не дается,
 Дано тебе будет сполна —

Ты узришь пространств колыханье!..

И перед началом конца
 Над ухом услышишь Дыханье,
 Как в детстве — дыханье отца.

Вместо некролога

Бессонница, Гомер, тугие паруса...
 О.Э.Мандельштам

Ничем груди не оградив
 От бдений промысла земного,
 И век на жизнь опередив,
 Не отступившись на полслова
 От истины, под знаком бед
 За год на десять лет старея,
 Он слишком русский был поэт
 Для столь тщедушного еврея.

Не оттого ль, что — на рожон,
 Что нищетою обеспечен,
 Что был, как все, не бережен,
 Но среди равных все ж отмечен;
 За голос хрупкий воробья
 Над волчьим бляньем народов —
 В края, где тешится семья
 Мученьями своих уродов;
 За то, что колебать кумир
 В России слаще несть удела
 Вздыхает тихо: «Вэ из мир!» —
 Его измученное тело.

Гомер считает корабли,
 И свиток смертников на плечи
 Течет...

Но нет иной земли
 Для жертвоприношения речи.

Владимир Шпаков

Два рассказа

Мусорный остров

1

Уборка начинается с террасы. Опоясывающая коттедж по периметру, терраса прикрыта навесом, но ветер и сюда заносит листья, так что настил из мореного дуба сплошь усеян разноцветными пятнами. И газон усеян, и мощеные дорожки, и кровля гостевого домика, и баня, и причал — все засыпано опавшей листвой.

Природное воспроизводство мусора огорчает Петровича. Будь Петрович художником, он бы любовался желтыми и красными узорами на зеленой траве, глядишь, еще и картину бы живописную наваял. Но Петрович не художник, его обязанность — поддерживать порядок на территории, а как поддержишь, если высшие силы против тебя? Кажется, будто некий небесный командир запил, и вверенная ему воинская часть медленно, но верно погружается в хаос. А хаос и Петрович — две вещи несовместимые, поэтому метлу с граблями в руки, мешки за пояс — и полный вперед!

Методично очищая пространство и набивая черные пластиковые мешки листвой, Петрович думает: лучше бы поставили дом на берегу, в сосняке. Хвоя осыпается не в таком грандиозном количестве, как листья с дубов и лип, настоящих генераторов мусора. И мост тогда возводить не пришлось бы, потому что как без моста, если усадьба на острове? Точнее сказать, на островке, от которого до берега рукой подать, но все равно ведь — водная преграда...

Закончив с газоном, Петрович приставляет лестницу к бане и, вооружившись щеткой, прикрепленной к длинному шесту, сметает с рыжей черепицы отходы матушки-природы. То же самое проделывается с кровлей гостевого дома, с ангаром для гидроциклов, после чего Петрович переходит на причал. Эту границу земли и воды он выметает особенно тщательно, не оставляя на таком же, как на террасе, мореном дубе ни единого листочка. После чего вынимает из кармана тряпку и до блеска натирает установленные вдоль причала металлические поручни.

Блестящие поручни пробуждают в душе что-то забытое, с чем Петрович распрощался семь лет назад. И вода пробуждает, хотя эта вода, спокойная, будто в ванной, — совсем не та, к которой привык Петрович. Самое же острое «пробуждение» наступало, когда он поднимался в мансарду, под конек крыши, и озирали оттуда усадьбу. Сверху были отчетливо видны границы крошечного, в полгектара, островка, окруженного водой, и казалось: он вот-вот отчалит от берега и пустится в свободное плавание...

Свободное плавание мичмана Василия Петровича Лапина закончилось в день, когда волновалось море и его МПК (малый противолодочный корабль) «Отважный»

Владимир Михайлович Шпаков — родился в 1960 году. Автор книги прозы «Клоун на велосипеде» (1998). Проза и статьи публиковались в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Аврора», «Крещатик» и др. Последняя прозаическая публикация в «ДН» — роман «Счастливый Феликс», № 10—11, 2009. Живет в Санкт-Петербурге.

вздымало на волне. Корабль приказали отшвартовать у заякоренной бочки, и сделать это был обязан мичман. Так было принято: швартуется — Петрович, красит облезшую рубку — Петрович, даже продукты посвежее на базе выбивает Петрович. Официально, конечно, к нему обращались иначе, в соответствии со званием, но в обыденном общении он был Петрович, а еще «наш боцман». До лампочки нам официальная табель о рангах, мы по-человечески привыкли, по-простому. Что всегда палка о двух концах. То есть от «человеческого» до «бесчеловечного» нередко бывает один шаг.

Сделал шаг молодой (гораздо моложе Петровича) кап-три, назначенный новым командиром корабля. Невзлюбил молодой командир немолодого мичмана, и тому были причины. Молодой с отличием закончил военно-морское училище, сразу был назначен командиром БЧ (боевой части) на тральщик и вскоре стал капитан-лейтенантом. Еще через пару лет звездная россыпь слетела с погон, и там обосновалась одна большая звезда, сигнала: вот, мол, новый капитан третьего ранга! А поскольку чину должна соответствовать должность, молодого (все еще молодого) поставили командовать «Отважным», где душой экипажа был Петрович. А кто такой Петрович? Сверхсрочник, училища вообще не заканчивал, от старшего матроса до главного корабельного старшины рос пять лет, а потом еще пять — от старшины до мичмана. И это все, потолок, без образования выше не прыгнешь, можно разве что стать «нашим боцманом», к которому еще и не подкопаешься. Петрович был озабочен порядком на корабле, как образцовая хозяйка — чистотой своей кухни. По его распоряжению матросы драили палубы так, что с железа отслаивалась шаровая краска, а само железо, казалось, протиралось до дыр. Поэтому корабль буквально блестел, а командир хотел, чтобы блестела его репутация, чтобы ценилось его умение ставить задачи и их решать, ну и т.д.

Так вот о финале свободного плавания. Не стоило бы связываться с бочкой, когда штормит, да только приказ есть приказ. Чтобы завести швартов, спустили шлюпку, куда вместе с Петровичем попрыгали матросы-срочники. Забираться на бочку предстояло мичману, так что управление шлюпкой было передано матросу. А тот возьми и неправильный маневр сделай! А еще МПК «Отважный» винтами отработал, ну, чуть вперед двинулся, в итоге «малый» (а на самом деле — очень большой!) корабль так шандарахнул маломерное судно, что сразу оверкиль!

По счастью, никто не утонул. Но в рапорте молодого командира мичман предстал во всей красе: дескать, и сам не умеет, и других не обучил, и вообще тут сплошь преступная халатность, несовместимая со службой в краснознаменном флоте! Когда честный (я, мол, анонимных кляуз не пишу!) командир зачитывал эту галиматью мичману, тот менял цвет лица, будто хамелеон. То бледнел, то серел, то вдруг краской наливался, а в висках стучало: как же так?! Это же враки, это несправедливо!

А в глазах молодого читалось: понял, кто ты такой? Никто, и звать тебя никак, скажи спасибо, что под суд не отдаю, а просто списываю на берег. Мичман мог бы попросить командование перевести его на другой корабль, но ему порекомендовали вообще уволиться с флота. Карьера не светит, возраст опять же, да и сокращения грядут в связи с тяжким экономическим положением страны.

Когда мичман, сойдя по трапу с чемоданом, оглянулся на родной корабль, несправедливость в очередной раз захлестнула горло, словно удавка. И, освобождаясь от этой унижительной петли, он мысленно открыл кингстоны. Будь он сейчас на борту, точно бы открыл, чтобы пустить корабль на дно, а там — будь, что будет!

Слабым утешением было то, что молодому так и не удалось сделать блестящей карьеры и выйти в адмиралы. Тяжкое экономическое положение вначале приковало МПК к причальной стенке, а затем и вовсе перебросило его (за совсем небольшие деньги) в состав военно-морских сил Индии, где «Отважный», надо полагать, сделался каким-нибудь «Шивой многоруким». Лапин же сделался «дембелем», коего безжалостная эпоха перемен в упор не видела.

В маленьком поволжском городке, где они жили с женой, на работу не брали, и жена, в конце концов, заявила:

— Ну, кто ты такой? Никто! Сухопутный моряк — с печки бряк! Мало того, что ждала тебя месяцами, пока ты по морям болтался, так теперь еще зубы на полку класть?! Извини, не хочу!

Расстались мирно, благо детей у них не было. Проявив благородство, жена уехала к родителям, оставив Петровичу двухкомнатную квартиру с мебелью и пустоту на душе. Еще, правда, загородный участок остался, но заниматься им не было никакого желания. Иногда Петрович приезжал туда, без охоты ковырял землю, а еще подыскивал халтуры, ну, рукастый же был. Один из таких халтурных подрядов и привел Петровича на этот причал — и в буквальном, и в переносном смысле.

«Вот именно: причал...» — думает Петрович, докуривая «беломорину». Другой без зазрения совести кинул бы папиросу в озеро, он же, загасив окурок аккуратным плевком, сует его в пластиковый мешок. На родном причале не мусорят. И рядом с жильем не гадят, поэтому мусор будет отвезен куда положено — в контейнеры.

Пластиковые мешки под завязку забивают багажник старенькой «девятки». Петрович отпирает ворота, заводит мотор и какое-то время прислушивается. Двигатель работает ровно, без перебоев, значит, включим первую и аккуратно выедем за территорию. Еще один выход из машины, чтобы запереть ворота, дальше десятиметровый мост, соединяющий остров с берегом, и вот он уже катит по дороге, искоса поглядывая на домишки, окруженные штакетниками.

Из-за штакетников время от времени высовываются головы аборигенов, в свою очередь, провожая взглядом машину. Петрович догадывается, какие мысли возникают в этих головах, но ничуть не расстраивается. Думайте, что хотите, только не свинячьте у себя (и у меня) под носом! Он знает: если доехать до оврага, служившего границей поселка, то сразу захочется прикрыть окно. Такой запах в носшибанет, что мама не горюй! Почему? Потому что местные свинтусы устроили из оврага натуральную помойку, отчего вонь по всей округе. Лень им, видишь ли, протопать два километра до контейнеров, что установлены возле поворота на трассу! Лучше нюхать говно, ага, чем сесть на велосипед (если ног жалко) и выбросить мусор куда следует!

«Девятка» тормозит у края оврага. Зачем Петровичу лицезреть помойку? Не верит же он, что в один прекрасный день она исчезнет, а на ее месте возникнет благоухающая клумба? Ну да, не верит, он просто воспитывает себя на отрицательном примере. Так сказать, отталкивается от противного, сам же являет собой исключительно положительное начало. Петрович застегивает на все пуговицы бушлат (можно сказать, демисезонную свою одежду), одергивает его и, вполголоса выматерившись, направляется к машине.

Машину подарил Вадим Олегович — владелец этого «причала». Хозяин усадьбы когда-то приютил отставного мичмана и с тех пор ни разу не пожалел о своем решении. Столкнулись они на строительном рынке, где Петрович подрабатывал грузчиком, а Вадим Олегович закупал материалы для стройки. Погрузишь за столько-то? Нет вопроса. А на месте — разгрузишь? Без проблем. Так он и оказался на островке, где в то время стояли одни лишь фундаменты.

— Прораба уволить пришлось, — говорил Вадим Олегович, — подворовывать начал, сукин сын. Теперь сам занимаюсь строительством, хотя времени совершенно нет. Дела у меня за рубежом, и они требуют личного присутствия. А ты, я вижу, флотский?

Петрович отрапортовал по форме, мол, такое-то звание, служил там-то, потом оказался на берегу.

— Ну да, вашему брату сейчас нелегко, это известно...

Вадим Олегович приглядывался к человеку в бушлате, прикидывая: годится тот в прорабы? Не пустит ли налево немецкую черепицу вкупе с финским клеевым бруском? Опасения оказались беспочвенными, Петрович и сам не зарился на чужое, и другим не позволял. Хотя предлагали позариться, ага, и на флоте, и на строительстве усадьбы.

Предложил вожак белорусской бригады, нанятой Вадимом Олеговичем в один из кратких приездов. Мол, хозяин далеко, в Германии, а на другом берегу тоже коттедж строится, и не перебросить ли туда десяток-другой мешков с цементом? Петрович все это выслушал с невозмутимым видом, затем подошел к воротам (уже стояли ворота) и распахнул их во всю ширь:

— Пять минут на сборы и — шагом марш отсюда. Всей бригадой.

Белорусы повозмущались, мол, не ты нас нанимал, не тебе и увольнять. Но

бывший мичман был настроен решительно. Потом он пахал как папа Карло, до приезда хозяина одолев фронт работ, рассчитанных на целую бригаду. И Вадим Олегович это оценил. Он позволил Петровичу самому нанимать рабочих (теперь это были таджики), выделил для него личный вагончик и подарил «девятку», правда, сломанную.

— Починишь — твоя будет, — сказал он, залезая в Land Cruiser и отбывая в очередной германский вояж. Петрович перебрал движок, заменил масло и вскоре уже пылил по окрестностям, доставляя стройматериалы и вывозя строительный мусор на свалку. Таджики безропотно выполняли строгий приказ: в конце рабочего дня собрать мусор в плотные бумажные мешки, завязать и выставить у ворот. Бывало, и контейнер заказывали, но в основном Петрович справлялся своими силами.

Дом рос не по дням, а по часам: первый этаж, второй, стропила, кровля, дымовая труба; потом котел заработал, электричество подключили, а там уже и баню пора строить. Когда постройки были закончены, взялись за причал и ландшафт. Раскатали рулонные газоны, дорожки замостили, после чего озаботились альпийской горкой. Лишней земли на островке не было, и тогда Петрович первый и последний раз наступил на горло собственной песне. А именно: высыпал на месте предполагаемой горки десятка два набитых мусором мешков, ждавших своего часа у ворот. Поверх подсыпали чернозема, посадили цветочки, уложили камушки, в общем, горка как горка, очень живописно смотрелась.

Вскоре из вагончика Петрович переехал в дом, где ему была выделена комната между котельной и бильярдной. Он фактически забыл, что в городке у него есть квартира; и про участок забыл, так что вместо теплиц и моркови там рос один бурьян. Зачем ему это все? Здесь гораздо уютнее, опять же природа, свежий воздух, а главное — вода. Бывших моряков (как и бывших разведчиков) не бывает, вода — это любовь на всю жизнь, пусть даже озеро совсем не похоже на морскую стихию.

По большей части он жил здесь один, Вадим Олегович лишь изредка навещался с супругой или с шумной компанией, чтобы погулять несколько дней, попариться в бане, погонять по водоему на гидроциклах, и вновь за бугор, работать на износ. С течением времени Петрович сменил амплуа: теперь он соединял в своем лице охранную структуру и управляющую организацию. Иначе говоря, был сторожем и одновременно сантехником, электриком и уборщиком, поддерживающим усадьбу в идеальном состоянии. Без разрешения хозяина сюда ни одна собака не проникала, разве что местные, когда встречались за территорией, портили настроение.

Окрестные жители поругивали обладателей коттеджей на берегу озера, особенно тех, кто закрывал народу выход к берегу. Честно говоря, берег был народу по фигу, в местных селениях даже рыбаков не осталось, одни алкаши. Но это ведь дело принципа: обеспечьте нам выход к водной глади — и точка! Доставалось порой и Петровичу, мол, цепной пес, служащий «новым русским», прихлебала, за медный грош продавший честь военного моряка! Петрович на истерики местных люмпенов реагировал спокойно. Во-первых, усадьба никому не закрывала выход к берегу, поскольку располагалась на острове. Во-вторых, если человек сумел на *такое* заработать, то он вполне заслуживает уважения. А что? Живет сам и другим жить дает, например, Петровичу.

С течением времени выстроилась некая новая вертикаль, по мнению экс-мичмана, вполне здравая. Командиром корабля был Вадим Олегович, его жена имела статус командира БЧ, остальных же (прежде всего гостей) он попросту игнорировал. То есть просьбы, пожелания и приказы вначале передавались «начальству» и лишь после соответствующего распоряжения исполнялись. Бывало, возникали конфликты, но Вадим Олегович, смеясь, разводил руками:

— Такой вот у меня мажордом! Военная косточка, для него субординация — превыше всего!

Коллективных приездов, честно говоря, Петрович не любил. Эти глупые гости заезжали на своих джипах на мост одновременно, что небезопасно (мост мог попросту обрушиться). Только им хоть бы хны: стоят бампер в бампер и еще сигналият в нетерпении! А пьянки-гулянки? Сам Вадим Олегович выпивал умеренно, он больше о деле думал, но гости попадались такие, что туши свет! Один заснет посреди газона,

другой в сауне угорит, у третьего гидроцикл перевернется, так что приходится работать еще и сотрудником МЧС. Но самое страшное начиналось после пикников, когда Петрович инспектировал территорию, приходя в ужас от того бардака, в который погружалась усадьба. Стекланные и пластиковые бутылки, какие-то пакеты, сигаретные пачки и оброненные зажигалки, остатки жратвы (ее почему-то всегда оставалось много), и все это воняет, приводя «мажордома» в ужас.

Когда джипы выкатывали поутру за ворота, Петрович яростно набрасывался на мусорные монбланы, превращая их вначале в скромные холмы, а затем и вовсе сравнивая с землей. В финале битвы с мусором возле ворот выстраивался ряд черных пластиковых мешков, будто матросы-новобранцы, так что не терпелось командовать: «Напра-аво! Шагом марш за ворота!» Лишь после поездки к контейнерам на душу Петровича сходил покой — до следующего пикника.

— Ты куда мусор-то выбрасываешь? — спросил однажды Вадим Олегович. — В овраг, как остальные?

У Петровича вытянулось лицо.

— Обижаете, Вадим Олегович. Я по правилам действую, мне остальные не указ. Строительный мусор на свалку, бытовой — в контейнеры, а в овраг свое говно одни свиньи выбрасывают.

— Ладно, извини. Ты, случаем, его не сортируешь? Ну, мусор? Стекло отдельно, пластик отдельно и так далее?

— Зачем? — искренне удивился Петрович.

— Потому что так принято в цивилизованных странах. Мусор — это вообще тема, понимаешь? Очень перспективная тема!

Тыкая пальцем в кнопки портативного компьютера, Вадим Олегович удалился в дом, оставив Петровича в недоумении. Почему мусор — перспективная тема? Мусор — это мусор, его полагается утилизировать, проще говоря: выкидывать в специально отведенное место — и все.

«Что-то давно Вадим Олегович не звонит...» — думает Петрович, возвращаясь в усадьбу. Сам он хозяина не беспокоил, у того хватало забот и без него. Вадим Олегович отзванивался сам, если собирался приехать с супругой или с ордой гостей. А поскольку одним из неизменных пунктов «отдыха на природе» было катание по водной глади, требовался профилактический выезд на одном из гидроциклов.

Заехав на территорию, Петрович направляется к ангару. Отпирает, обводит взглядом трех красавцев и делает выбор: синий. В прошлый раз был красный, в позапрошлый — желтый, значит, сегодня надо синий погонять, чтоб не застаивался. Он наполняет бензином бак, переодевается в прорезиненный костюм и на специальной тележке везет гидроцикл к воде. Петрович до сих пор не мог унять восхищения этим замечательным плавсредством. Он начинал службу на ракетном катере, знал, что такое скорость, но с водным мотоциклом не могло сравниться ничто.

Вначале Петрович уютит акваторию на малых оборотах, вроде как проверяет работу в принципе. Вираз, еще один, что ж, руля слушается идеально. А тогда — подкрутим ручку газа и направимся к другому берегу. Озеро немаленькое, берег маячит где-то в отдалении, теряясь в дымке, но скоростной гидроцикл стремительно его приближает. Бывших моряков, как уже говорилось, не бывает, поэтому Петрович кайфует, иногда он что-то даже поет. Ветер в лицо, серебристые брызги, скорость — что еще надо?

Достигнув цели, он эффектно глиссирует вдоль береговой линии. В самом дальнем конце, где высятся кроны вековых сосен, озеро истекает протокой, соединяющейся с Волгой. Бывало, Петрович углублялся в протоку, но затем всегда возвращался. Чтобы добраться до Волги (до «большой воды», как говаривал Петрович) и вернуться обратно, бака не хватало, надо было брать дополнительную канистру, так что путешествие пока откладывалось. Зато никогда не откладывался проезд мимо домика, что высится на берегу неподалеку от острова. Берег тут застроен хаотично, скромные «хижины» вперемешку с помпезными «дворцами», но Петровича интересует лишь одно строение. Точнее, та, что живет в строении, вскапывая грядки на даче и высматривая своего моряка. Петрович притормаживает, движется на малой скорос-

ти, но участок, как видно, пуст. И свет в домике не горит, хотя дело к вечеру, значит, Нина сегодня не приехала.

2

С Ниной они познакомились возле контейнеров. Петрович привез мешки со стружкой, а она принесла старую пленку, снятую с дачной теплицы. То, что женщина пешком отправилась за несколько километров, не выкинув по малодушию отходы в овраг, сразу внушило уважение. Петрович пригласил ее в машину, чтобы довезти обратно, по дороге разговорились, так и завязались отношения. А чего не завязаться, если Нина была в таком же положении, что и ее новый знакомый? Безмужняя, бездетная, она точно так же не могла терпеть свою городскую квартиру (тоже, между прочим, двухкомнатную) и предпочитала проводить время на прибрежных шести сотках.

Встречались тоже на ее сотках, хотя Петрович имел в распоряжении полгектара. То есть вроде бы имел, а на самом деле... Нет, его никто бы не упрекнул, приведи он к себе женщину, да и не узнал бы никто. Что-то, однако, мешало, поэтому их любовные свидания проходили в «хижине», причем в дневное время. Усадьба была подключена к сигнализации, но Петрович предпочитал находиться по ночам на боевом посту. А Нина изредка приходила сюда как на экскурсию: посмотреть баню, обстановку в доме или полюбоваться на то, как ее возлюбленный ловко управляется с газонокосилкой, подстригая лужайку.

— Надо же! — всплескивала она руками. — А я траву сорную — только руками, потом так спину ломит...

— Это еще что, — говорил Петрович, — мы с тобой как-нибудь на гидроцикле прокатимся.

— На котором ты по озеру носишься?! Да ты что, я же забоюсь!

— Почему забоишься? Я же с тобой буду.

И вот звонок, а затем и появление хозяина, на этот раз одного и очень озабоченного. Когда Петрович, по обыкновению, приносит для отчета товарные чеки и оставшиеся наличные (деньги ему выдавали в каждый приезд), Вадим Олегович машет руками: верю, Петрович! Он не отнимает от уха трубку телефона, постоянно что-то подсчитывает на компьютере, только к вечеру третьего дня беспокойство с лица исчезает.

— Все, — говорит, — сделка проведена. По русскому обычаю надо бы обмыть такое мероприятие. Выпьешь со мной?

Петрович не злоупотреблял, но под хорошую закуску и в хорошей компании — почему не выпить? Он не спрашивает про сделку, ждет, пока хозяин сам расскажет. И тот, конечно, не выдерживает, хвастает, мол, купил мусоросжигательный завод!

— Ну, я же тебе говорил, что мусор — это серьезная тема? Так вот я приобрел такой завод в Германии. Мусорная проблема в Европе — одна из самых острых, только они, в отличие от нас, научились ее решать.

Завод, говорит он, может сжигать 100 тысяч тонн мусора в год, при этом еще и тепловую энергию будет давать! Энергия Петровича мало интересует, а вот 100 тысяч тонн — это впечатляет. Сколько же, думает он, лежит на дне оврага? Больше? Или меньше?

— Давай еще выпьем! В общем, грамотно подходят к этому делу немцы. Они проблему утилизации еще в Освенциме решили.

— Как это? — не понимает Петрович.

— Они же там людей сжигали, для них заключенные — тот же мусор.

Они выпивают, закусывают, и Вадим Олегович опять наливает.

— Да что немцы? Вон, в Сингапуре целый остров из мусора создали, он им свалкой служит. Только на этой свалке никакой вони и никаких бомжей, там даже птицы гнезда вьют.

Петрович дожевывает салями и, кашлянув, говорит:

— Я тоже мусорный остров видел. Когда на ТОФе служил.

— Где служил?

— На Тихоокеанском флоте. Мы тогда в дальний поход ходили, в район Гавайс-

ких островов. Так в одном месте из пластиковых бутылок целый остров образовался! Их круговым течением прибывает друг к другу, и с каждым годом их все больше, больше...

— А я о чем?! Проблема, причем острейшая! Выпьем за ее быстрое разрешение!

Ночью беседа оборачивается кошмарным сновидением. Малый противолодочный корабль, на котором опять оказался Петрович, причаливает к огромному мусорному острову. И молодой командир, имеющий почему-то обличье Вадима Олеговича, командует: мичману Лапину сойти на берег! «Какой же это берег?! — хочется возопить. — Это ж пластиковые бутылки!» Только приказ есть приказ, и Петрович осторожно спускается по трапу. Бутылки пружинят под ногами, но худо-бедно держат, и мичман движется вперед. Внезапно остров вспыхивает синим пламенем. Путь назад отрезан, и впереди все горит, а с корабля доносится усиленный мегафоном голос:

— Мусор — острейшая проблема! Ее надо решать!

— Но я же не мусор! — отчаянно кричит Петрович.

— Кто тебе сказал? Ты ничем не лучше этого пластика, тебя тоже надо в мусоросжигательную печь!

В следующее появление Вадима Олеговича они вдвоем отправляются в сауну. Хозяин чем-то озабочен, он опять наливает одну за другой и, наконец, выдает: все, мол, закончил дела в родном отечестве. Переезжаю в «фатерлянд» — окончательно и бесповоротно!

— Постойте, но ведь здесь...

— Здесь родина, сам знаю. И Волга-матушка поблизости протекает. Но дела, увы, надо руководить работой предприятия. И жена у меня там, и дети учатся в Кельне, так что... Эх, не хочется, а — надо!

— А как же... — Петрович обводит руками предбанник. — Это все?!

— Придется избавляться. Там у меня есть домик, но небольшой. А теперь мне по статусу положен большой, так что этот продам.

— Кому? — упавшим голосом вопрошает Петрович.

— Кому? Да хоть бы тебе. Почему нет? Ты же все это строил, своими руками, столько труда вложил...

— Шутите, Вадим Олегович? Где же я такие деньги возьму?!

— Ну, какая-то недвижимость у тебя имеется?

— Квартира, — отвечает Петрович. Вспомнив про Нину, он добавляет: — И еще одна квартира.

— Вот! А еще участок есть, верно?

— Два участка, — уточняет Петрович.

— А еще кредит в банке можно взять, ну а если уж не хватит, получишь от меня индивидуальную «ипотеку»!

Вадиму Олеговичу, видно, самому приятно выступать в роли благодетеля, но Петрович все еще не верит в свалившуюся удачу. Будто стукнутый пыльным мешком, он передвигается по территории, выполняет текущие работы, не осознавая пока новых возможностей. Неужели эта огромная двухэтажная махина с мансардой и террасой окажется в его собственности? Ему бы и гостевого дома хватило, если честно, но, как говорится: дают — бери, бьют...

Бьет цена, которую называет Вадим Олегович, увы, не имеющий права дешевить.

— Потянешь? В общем, действуй, это дело откладывать нельзя.

Следующий день он проводит в переговорах, судя по обрывкам беседы — с супругой. Они о чем-то спорят, похоже, по вопросу продажи дома, после чего хозяин быстро собирается и уезжает.

А Петрович, получив приказ действовать, как и положено, берется его исполнять. Едет в город, в риэлторскую контору, и вскоре его «двушку» выставляют на продажу. Он тоже не может дешевить, но и цену задирать нельзя, иначе квартира зависнет. Выставляется на продажу и участок, на котором ради будущих покупателей пришлось вырвать бурьян.

Затем в известность ставится Нина. Получите, дескать, предложение руки и сердца, а еще личный остров в придачу.

— Господи! — всплескивает руками Нина. — Да разве ж такое возможно?!

— Вполне, — скромно отвечает Петрович. — Надо только объединить усилия, ну и кредит, наверное, придется взять.

На этот раз Нина остается ночевать в усадьбе, пока что в скромной комнатке Петровича. Он вроде как привыкает к предстоящей новой роли, хотя получается не очень. Он даже подругу не ласкает, полночи смоля папиросы и таращась в окно. Полная луна заливает лужайку и постройку призрачным светом, и перспектива владеть этим всем тоже кажется призрачной, нереальной...

Процесс вживания требовал постепенности. Петрович поднимался в спальню, осознавая: вот здесь, на шикарной двуспальной кровати, они будут спать. Спускался в гостиную, видел камин — и опять: здесь они будут греться у живого огня долгими зимними вечерами. Или, если захотят, погоняют шары в бильярдной. Петрович, иногда приглашаемый в спарринг-партнеры хозяином, уже научился владеть кием, научится и Нина. Ее квартиру взялась продавать та же риэлторская фирма. Договорились продать и участок, но в последнюю очередь — слишком много скопилось на даче консервации, а перевозить пока некуда.

Нина тоже заразилась мечтами, только они имели свой, женский уклон. «Сколько земли пропадает! — думала она, глядя на огромный газон, где из растительности было высажено лишь несколько декоративных кустарников. — Надо здесь смородину посадить, а еще крыжовник!»

3

Забрезжившая на горизонте новая жизнь провоцирует новые идеи (пусть и слегка сумасшедшие). В один из приходов Нины Петрович долго думает, поглядывая на нее, затем выдает:

— Слушай, а может, нам с тобой потомством обзавестись?

Нина, по обыкновению, пугается.

— Да ты что?! Ты на возраст наш посмотри!

— Ну, какой у нас возраст? Я, честно говоря, еще вполне...

— А я? В моем возрасте некоторые уже бабками становятся! Хотя... Есть, в общем, случаи, когда рожают и после сорока.

Между тем квартиры продаются со скрипом, потому что запущенные, не жилые. Риэлторы просят снизить цену, иначе, говорят, до второго пришествия будем продавать. А Петровичу не надо до второго, ему требуется выложить деньги на бочку до пришествия Вадима Олеговича. Не все деньги, конечно, хотя бы часть.

Наконец, первая сделка заключена, следом — вторая, итогом чего становится внушительная пачка валюты (оплату попросили в евро). То есть внушительная она с точки зрения Петровича, он, честно сказать, таких денег никогда в руках не держал. А вот с точки зрения Вадима Олеговича денег было маловато, даже с учетом реализованного участка. Покупатель участка вылупил на Петровича, мол, где я тебе эти самые «евры» возьму?! Бери рубли, пока не передумал! Пришлось взять, потом самому менять, в итоге получив совсем небольшую прибавку к предыдущей пачке.

Кредит оформляют на Нину. Зарплата у нее «белая», но маленькая, так что обогатиться не получается. Если на круг, то они едва половину стоимости осилили, и остается одна надежда — на «ипотеку» от Вадима Олеговича.

Тот собирается приехать в конце августа, потом в начале сентября, да только дела, как всегда, не пускают. Завалили, то есть германцы своим мусором, только успевай включать горелки для его утилизации. Уже и участок Нины продается, а хозяина нет и нет.

Наконец, как-то под вечер на мосту за воротами — нетерпеливо клаксонят. С радости кажется, что сигнал подает хозяйский Land Cruiser, и машина такая же черная. Но, когда внедорожник въезжает на территорию, видно, что это Land Rover. Да и вообще Вадим Олегович без звонка никогда не приезжает, не его стиль.

Из джипа вылезает он и она, молодые совсем, и просят показать дом.

— Для чего показать? — тупо спрашивает Петрович.

— Чтобы купить, — отвечает он. — Ну, если понравится.

— А-а... А разрешение на осмотр у вас есть?

— Разумеется, — дергает плечом она. — Покажи ему факс, что мы из Германии получили.

Петрович долго вертит в руках бумагу, на которой написаны какие-то немецкие буквы, русские, но и те, и другие почему-то не складываются в слова. Есть, короче, разрешение, а значит...

Значит, надо водить парочку по дому и по участку, разъясняя: это, мол, баня, это дом для гостей, а здесь место для барбекю, с жаровней и навесом. Петрович дает пояснения, а самому кажется: это говорит не он, а кто-то другой, «Петрович № 2». В то время как номер первый оглушен, раздавлен, сбит с панталыку и совершенно не понимает, что происходит.

— А там что? — кивает молодой.

— Где? — не сразу вникает Петрович.

— Вон там, спрашиваю, что за сарай у воды?

— Это не сарай, это ангар для гидроциклов. Но туда заходить нельзя.

— Почему это нельзя?!

— Там горюче-смазочные материалы. По технике безопасности не положено. Парочка переглядывается.

— Ты свою технику безопасности засунь знаешь куда? Пойдем, посмотрим ваши гидроциклы!

Но Петровича как заклинило, мол, не положено — и все!

— Слушай, ты кто такой?! Ты сторож, понял?! А мы — покупатели! Так что давай, отпирай!

— Ладно, — говорит молодая, — и так все ясно. Мне тут нравится, да и просят недорого... Поехали обратно.

Перед тем как залезть в джип, молодой сплевывает.

— Ты, я вижу, тормоз. Ладно, пока охраняй имущество, но когда проведем сделку... Чтoб духу твоего здесь не было, понял?!

После отъезда покупателей Петрович дрожащими руками тычет в кнопки мобильного, но телефон Вадима Олеговича не отвечает. С пятого (а может, с седьмого) раза удается дозвониться лишь до супруги. Да, отвечает, продаем срочно, потому что требуются деньги, причем в полном объеме. Ипотека?! Не смешите меня, наша семья не ипотечная компания, мы кредиты не выдаем!

Палую листву Петрович сгребает по привычке. Хочется себя занять, чтобы утишить жжение, что разгорается в груди, растет и пухнет, как тогда, на мотоботе. Петрович безуспешно карабкался на перевернувшееся суденышко, всякий раз сползая в воду, а из рубки на него поглядывали с усмешкой, мол, знай свой шесток, сверхсрочный мичман! Сейчас родное и обжитое пространство тоже (так казалось) хохотало и улюлюкало: кто ты такой?! Ты — мусор, который вскоре выметут отсюда поганой метлой! Когда перед мысленным взором встает сцена предстоящего объяснения с Ниной, жжение перекидывается на лицо. Стыд буквально сжигает Петровича, он знает, что не вынесет этого; а еще предстоит суета с покупкой квартир...

Петрович (или «Петрович № 2»?) погружает мешки в багажник, выезжает за ворота и тупо едет к месту назначения. Но по дороге вдруг останавливается, достает мешки и направляется к оврагу. Встав на краю, он озирает клоаку, этот огромный мусорный «контейнер», что годами заполняли жители окрестных поселков, и без всяких эмоций швыряет мусор вниз. Да, это нарушение (точнее — вопиющее нарушение!), но если правил нет, то мешком больше, мешком меньше — не важно.

Он еще раз вопиюще нарушает правила, когда лезет в хозяйский бар. Достает литровую бутылку водки, наливает стакан и залпом опрокидывает. Надо же, как вода! После второго стакана в голове начинает шуметь, после третьего кажется, что шумит море. Петрович выгребает из дома, озирается, но моря нет, вокруг один мусор. И дом, и баня с ангаром, возведенные некогда Петровичем, представляются обычным мусором, вызывают отвращение. «Мусорный остров! — вспыхивает в затуманенном мозгу. — А что делают с мусором?! Правильно, его...»

Через полчаса от причала отваливает гидроцикл. Он движется тяжело, неся человека в прорезиненном костюме и две огромные канистры, что привязаны по бокам крепкими морскими узлами. По карманам костюма рассованы документы и деньги (много денег!), то есть человек рассчитывает на долгую и нелегкую дорогу.

Сделав вираж, гидроцикл останавливается. Отсюда, с озера, остров всегда смотрелся классно, а сейчас, охваченный пламенем, он выглядит просто фантастически. Отчетливо различаются несколько больших факелов: основной дом, гостевой, баня и ангар, подожженный в последнюю очередь. Неожиданно ангар (по совместительству — склад ГСМ) взлетает на воздух, расцветая огненным цветком. Лишь после этого человек, будто выполнивший свою миссию всадник Апокалипсиса, разворачивает водного коня и удаляется по озерной глади.

Человек нетрезв, но держится в седле уверенно, еще бы, столько тренировок прошел! Вскоре он достигнет протоки, а дальше — Волга, по которой можно двигаться, пока не кончится горючее. Или не найдется другой причал.

Экскурсия

Г.Г.

Немцы прибывали к Медному всаднику поодиночке. Первой из арки Сената показалась Моника, помахала рукой, и я помахал в ответ. Оказалось, махала она Францу, который двигался от Адмиралтейства. Сойдясь посреди площади, они начали бурный обмен впечатлениями, и тут я увидел, как со стороны Исаакиевского приближается Томас. Конная статуя вроде бы находилась в прямой видимости, однако Томас то и дело сверял маршрут с картой, которую держал в руках.

— О, mein Got! — раздался за спиной голос Кристины, подошедшей непонятно откуда. — Он и здесь не может обойтись без карта! Он боится потеряться в этом совсем простом городе!

— Думаешь, этот город простой? — усомнился я.

— Я говорю про планировку, она очень простая. В Москве — очень сложная планировка.

«Зато там жизнь проще...» — подумал я, вспомнив про московские заработки. Питерские заработки были гораздо скромнее, из-за чего приходилось постоянно халтурить или ждать помощи по «ленд-лизу», то есть грант от какой-нибудь западной конторы. Меня, к примеру, осчастливил институт Густава Штреземана, позволивший сорок дней прожить на полном обеспечении в Бонне и Кельне. О, счастье! На целых сорок дней я выпал из питерской жизни, сознательно оборвав все контакты и связи, изрядно мне надоевшие. Когда же пришла пора собираться на родину, Кристина вдруг тоже решила отправиться в Россию с компанией таких же русофилов.

— Мы будем в Питере, потом в Москве, — сказала она. — Москву я знаю, сама сделаю экскурсию, а вот в Питере... Я хочу, чтобы ты придумал какой-нибудь литературный маршрут. Придумаешь?

Просьба застала врасплох. «Что придумать?» — мучился я, зная, что приедут не лохи: эти немцы что-то читали, что-то знают, и надо не ударить в грязь лицом. Озарило в самолете: буду иллюстрировать в ландшафте генеалогию «маленького человека»! А поскольку первым «маленьким» был пушкинский Евгений, я и назначил randevу именно здесь, на Сенатской.

Русофилы продолжали разрозненное движение к памятнику; а кто-то, как выяснилось, уже давно пасся в месте сбора. Я не всех знал в лицо, кого-то вообще видел впервые, что явно не прибавляло уверенности. Допустим, причуды Томаса мне были известны, он действительно был из тех, кто на ровном месте подстилает солому. В самолете он укладывал специальную надувную подушку под голову (не дай бог шея затечет!), мыл руки раз по десять на дню, а недавно на полном серьезе спрашивал меня об электронном навигаторе, с которым хотел передвигаться по Петербургу. Судя по тому, что в настоящий момент он вперялся в карту, медленно (очень медленно)

но!) приближаясь к цели, навигатор приобрести не удалось. Томас сделал хитрую петлю вокруг монумента, оторвал, наконец, взгляд от схемы и облегченно заулыбался.

Монику с Францем я тоже знал, эта парочка представляла собой единство и борьбу двух сходных начал: мужской свободы и женской эмансипации. Франц был человеком мира, работоголиком и вечным командировочным. Моника, в свою очередь, руководила собственной фирмой, отрицала брак, но любила Франца. И хотя тот отвечал ей взаимностью, ничего у них не вытанцовывалось: коса находила на камень, так что искры сыпались. Когда искры гасли, парочка усаживалась за барную стойку, накачивалась пивом, после чего, обнявшись, они долго обливали друг друга слезами.

Немцы вообще любили рыдать: та же Кристина, вроде бы рациональная и педантичная, не могла спокойно слышать рассказы о немецкой оккупации, тем более — о блокаде. Покаянные слезы текли по ее лицу потоком, раздавались громкие всхлипы, из-за чего рассказчик (как правило, подвыпивший русак) в смущении сворачивал тему. Остальные тевтоны были, по выражению их великого соплеменника, вещь в себе. Успокаивал разве что неподдельный интерес гостей к русской литературе: в конце концов, тащиться за тридевять земель (за свои, между прочим, деньги!), чтобы оценить мой дебют в роли экскурсовода, — это дорогого стоило.

Когда тевтоны собрались в плотную группу, Кристина их пересчитала и подняла руку.

— Моника, komm zu uns! Франц! Мы начинаем экскурсия!

А там, как видно, впечатления уже закончились, то есть опять сыпались искры. Тоненькая хрупкая Моника яростно наседала на здорового грузноватого Франца, тот пятился, но вдруг встал. И, набрав в легкие воздуха, начал наступление, подкрепляя бурную речь жестами в итальянском стиле.

— Парочка... — покачала головой Кристина. — Как это у вас говорят? Баран да ярочка? Они меня сведут с ума, эта Моника и этот Франц! Начинай без них!

— Неудобно как-то... — сказал я. — Пойду приведу эту ярочку...

— С этим бараном? Ха-ха-ха! Иди, ты хозяин, тебя они, может, послушают!

Беглую немецкую речь я понимаю с трудом, вот и здесь понималка полностью отказала. Я понял лишь одно слово: «эгоисмус», которое со змеиным каким-то приставом несколько раз произнесла Моника.

— Ну, и что вы сегодня увидели в нашем городе? — спросил я примирительно. — Ты, Франц, что смотрел?

— Что я смотрел? — Франц умерял учащенное дыхание. — Я смотрел атланты.

— И как они тебе?

— Das ist fantastisch! Очень большие!

— Наш Франц любит все большое! — ехидно проговорила Моника. — Большое, как он сам! Франц, зачем ты сюда пришел?! Здесь будет экскурсия про маленького человека! Про очень маленького! А ты иди, смотри атланты, большие, как... Как твой эгоисмус!

Когда Франц опять набрал воздуха в легкие, я скрестил руки над головой.

— Брэк. То есть предлагаю сделать перерыв, закончите после экскурсии.

Мой «мессидж» был призван объединить литературу с городским пейзажем. Дескать, взгляните, друзья, на сие имперское величие! На памятник самодержцу, на Сенат с Синодом, на громаду собора и почувствуйте собственное ничтожество! Это все красиво, спору нет, но где тут найти место герою поэмы «Медный всадник»? Нет ему места, увы, — в этом парадизе Евгений не только маленький, но и, не побоюсь этих слов, лишний человек! А если еще стихийное бедствие, то есть бич этих мест — наводнение?! Вы знаете, какое страшное наводнение описал в поэме Пушкин, между прочим, сам его переживший?! Да эта площадь тогда превратилась в озеро, в кусочек Финского залива, тут на лодках плавали!

— Озеро было глубокое? — нервно спросил Томас. Я поднял руку над головой, для убедительности привстав на цыпочки.

— Вот такой примерно глубины оно было. Мы бы, короче, все утонули!

Повисла эффектная, но несколько тягостная пауза. Ее нарушила Моника:

— Франц не утонул бы. Потому что он большой, как... — она указала на памятник. — Как этот бронзовый монстр!

Не дожидаясь очередных искр, я продолжил сопрягать Захарова и Фальконе с несчастным Евгением, потерявшимся в блеске стольного града Петрова. Я цитировал автора поэмы, вспоминал каких-то историков, удивляясь своей памяти, а также игре воображения. Представьте, говорил я, что люди взбирались на стены зданий, на фонари; а ветер был такой, что с крыш срывало кровлю, и ее куски, будто огромные птицы, кружили в воздухе над площадью! Следующая пауза была еще эффектнее: все задрали головы вверх, будто ожидали увидеть там парящий кусок кровли (вообще-то я это придумал, то есть Остапа понесло). А вон там, продолжил я, находится тот самый дом со львами; на одном из этих львов, как вы помните, и сидел спасшийся Евгений, наш маленький человек, пока что — абсолютно беспомощный...

Физиономия поэта Гурьева мелькнула среди строгих немецких лиц неким фантомом — и тут же исчезла. «Показалось?» — думал я, не прерывая патетическую речь. Когда фантом возник еще раз, речь споткнулась: ну вот, приехали! Сорок дней никого не видел, и надо же: нарвался на Гурьева! Закон подлости в высшем проявлении, непруха в кубической степени! И хотя Гурьев опять исчез, пафос в моем голосе сменился обреченной интонацией.

Когда я завершал речь, поэт нарисовался в полный рост. Он вроде как соткался из воздуха, возник из-под земли, как всегда бывало, если где-то по какому-то поводу наливали. У Гурьева был нюх на такие события, и хотя сейчас он прогадал, это не успокаивало. Немцы вполголоса переговаривались, кто-то кому-то переводил, Гурьев же в недоумении, будто стукнутый пыльным мешком, вслушивался в чужую речь.

— Слушай, это кто? — подойдя, спросил он тихо. — Откуда они вообще тут...

— От верблюда. Ты давай или не мешай, или топай куда-нибудь!

— Куда ж я потопаю? — растерянно ответили. — Я вообще не понимаю, что к чему...

Складывалось ощущение, что поэт с бодуна, причем не слабого, наступавшего после недельного, не менее, запоя. Лицо было бледное, даже прозрачное какое-то, и в глазах — тьма египетская плюс жажда опохмелки. Выглядел он по-гурьевски: вытертые мешковатые джинсы, серая вязаная хламида, некогда бывшая свитером, и висящая паклями шевелюра. Этаким клошар, опустившийся на социальное дно богемный деятель, к чему в тусовке вообще-то привыкли. Однако сейчас, как я не без оснований полагал, могло не хватить даже европейской толерантности.

— Какой у нас будет маршрут? — спросил Томас, разворачивая карту. — Я хочу отмечать его на схема!

Показывая маршрут, я краем глаза наблюдал за Гурьевым. Кажется, тот приходил в себя: приглаживая пакли, нахально озирал моих экскурсантов, но пока не решался на активные действия.

— Решил торгануть архитектурным наследием? — спросил он. — Подхалтурить то есть?

Я промямлил: дескать, это мои немецкие друзья.

— Ах, вот как... Значит, грант у немцев зарабатываешь?

— Скорее уж отрабатываю. Слушай, я же тебе сказал...

А на лице Гурьева уже играла знакомая дурашливая ухмылка; нюхом чуя поживу, он даже порозовел.

— Немец-перец-колбаса... — пробормотал он, затем протянул руку Томасу. — Здорово, камрад!

Тот, однако, не обратил на него никакого внимания — то ли брезговал пожимать не самую чистую (надо признать) ладонь, то ли вообще исключал возможность контакта с обитателем социального дна.

— Надо же, буржуи, приехали — и нос задирают! — Гурьев растерянно сунул руку в карман. — Ты им, случайно, про меня не рассказывал?

— Случайно нет, я тут больше про Пушкина.

— Ну, так расскажи! Когда он узнает, кто с ним познакомиться хочет, он неделю руку мыть не будет!

— Будет, — сказал я. — Томас моет руки по сто раз на дню.

— А после знакомства со мной — плюнет на гигиену! В общем, давай, содействуй знакомству. Глядишь, и мне какой-нибудь грантик обломится...

Поэт ненадолго исчез, вроде как скрылся за памятником, потом появился опять.

— Я вообще-то не понял: в чем фишка?

— Рассказываю о «маленьком человеке» русской литературы. Провожу, можно сказать, экскурсию по его следам. Пойдешь с нами?

Гурьев оглядел компанию, о чем-то размышляя.

— Пойду ли я? Ну вообще-то если дадите на «маленькую», я готов и по следам «маленького»...

Я обреченно вздохнул. Гурьев клянчил выпивку всегда и везде, ему уже наливали, не спрашивая, хочет ли он. Казалось, спиртное было его горючим, толкавшим вперед некогда пламенный, а ныне — до предела изношенный мотор поэтического сердца. Закусывать он давно перестал, разве что занюхивал выпитое прядью длинных невымытых волос и ждал, когда проставят следующую порцию горючки. В кратких промежутках между запоями на Гурьева нисходило «сатори», и тот выстреливал полтора-два десятка отличных (а подчас — просто замечательных!) стихов. Потом он читал их всем, кто проставит, пьяно бахвалясь, дескать, мастерство — не пропьешь! Это одетое в грязные обноски, дурно пахнущее тело было, как говорил классик, божественным сосудом, который иногда наполнялся нектаром и амброзией. Хотя в основном, конечно, в нем плескалась бормотуха, из-за чего многим хотелось расколоть сосуд вдребезги. То есть дать Гурьеву в морду; и таки давали, но себе же во вред, потому что Гурьев уползал в свою нору, утирая кровавые сопли, чтобы через неделю выползти с эпиграммой такой язвительной силы, что обидчика потом обсмеивали на каждом углу.

Вскоре Гурьев решил напомнить о «маленькой». Как назло, я не взял с собой денег, резонно рассчитывая на немецкое угощение в финале. Гурьев такого резона не имел, зато имел необоримое желание выпить.

— Трубы горят, надо мне... — он нервно оттягивал и без того отвисшее горло хламиды-свитера. — Может, у фрицев бабок стрельнешь?

— С какой стати они должны тебя поить?!

— А ты думаешь, не должны?

— Думаю, нет.

— А я считаю, что они с нами еще за Сталинград не расплатились. И за Пулковские высоты!

Гурьевская наглость, как всегда, не имела границ. Я представил, как он напоминает о долгах немецкой нации перед пострадавшим русским народом, как по лицу Кристины начинают струиться потоки, и Мойка (мы как раз переходили Мойку) выходит из берегов. Вознамерившись стрясти должок, Гурьев сновал между экскурсантами, будто челнок, как-то умудряясь никого не задевать. Но надо ли было ему задевать? Бомжеватый облик сопровождал соответствующее амбре от Гурьева, из-за чего особо брезгливые предпочитали слушать его шедевры с приличного расстояния. И то, что брезгливый Томас от него не шарахается, вызывало немалое удивление. Когда Гурьев шмыгнул мимо меня, я принялся и с облегчением отметил: не пахнет, совсем не пахнет!

Не дожидаясь позора, я пообещал, что сам попрошу немецких друзей дать денег. Но позже, когда повод подыщу.

— Подыскивай поскорей... — тяжело задышал Гурьев. — Трубы — они же перегореть могут, не железные...

Избрав вторым пунктом новый памятник Гоголю на Малой Конюшенной, я готовил по пути очередную речь. Мол, именно из гоголевской «Шинели» вышел следующий «маленький», Акакий Акакиевич. Тоже абсолютно беспомощный, этот чиновник низшего разряда, тем не менее, сопротивлялся, говорил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?!» Увы, не оставили, загнали человека в гроб, ухайдакали. Но случилось невиданное: чиновник стал появляться в обличье мертвеца, чтобы сдергивать шинели со значительных лиц! Вы скажете: подумаешь, шинели! А я отвечу: тут «маленький человек» впервые стал доставать людей больших, пусть даже с того света! Поднимать, то есть начал голову!

— А ты, брат, целую концепцию состряпал... — едва поспевая за группой, бормотал Гурьев. — Надо же, чего выдумал! Сначала Медный всадник, потом памятник нашему гениальному хохлу... Ты ведь к Гоголю их ведешь, генау? А дальше, натюрлих, вы потопаете к Сенной площади. Туда, где жил один сумасшедший мокрушник, нихт вар?

Я оторопел: этот поганец разрушал плод стольких усилий!

— Ты тише можешь говорить?! — прошипел я. — Иначе...
— Нихт шиссен! — вскинул руки Гурьев. — То есть дружба — фройндшафт!
— Давай условимся: ты мне не мешаешь, а я соответственно... Слушай, но как ты догадался?!

Гурьев пожал плечами, кажется, скрывая растерянность.

— Сам не знаю... Интуиция поэта, надо полагать.

— А немецкие словечки откуда? Ты вроде с этим языком не дружишь...

— Я не дружу?! Да я Готфрида Бенна переводил, если б ты знал!

Последняя фраза заставила Кристину отстать от группы.

— С кем это ты разговариваешь? Про перевод Бенна?

— С кем, с кем... С ним!

Кристина воззрилась на поэта с таким видом, будто обнаружила его присутствие секунду назад.

— Откуда он взялся?! И вообще я думала...

— Что ты думала?

Склонившись к уху, Кристина проговорила:

— Что Топоров выглядит лучше.

— При чем здесь Топоров?!

— Потому что Готфрида Бенна переводил Виктор Топоров.

Как-то умудрившись расслышать шепот, Гурьев гомерически расхохотался.

— Витька?! Топоров?! Да что он может перевести?! Только у меня настоящие переводы, ясно вам?!

— Так вы, значит, не...

— Я — не. Не Байрон, не Топоров, я — Гурьев!

— Почему твой Гурьев врет? — опять склонилась к уху Кристина. — Помнишь, я дарила тебе толстый красный книжка? Там же написано: Готфрид Бенн, перевод Топорова...

— Да помню я... Но Гурьев, наверное, тоже переводил. Он вообще многое может, ну, когда трезвый...

После этого Кристина начала проявлять к Гурьеву интерес. Внимательно приглядывалась к нему, мельтешащему среди экскурсантов, и, когда тот внезапно исчезал, беспокойно вертела головой.

— Куда он все время пропадает?! — вопрошала она, но я отмахивался: не пропадет! У него трубы горят, поэтому будет идти как привязанный!

— Горят трубы?! Я не понимаю, если честно...

— Потом объясню.

Я погружал гостей в глубь веков, пытался соединить наши «священные камни» с плодами их воображения, но то — прошлое, здесь же вылезало настоящее, причем в таком виде... Когда мои экскурсанты добрались до монумента Гоголю, Гурьев, указывая на него, громко произнес:

— Полное говно!

— Was ist das? — вопросительно уставился на меня Франц. — Что есть — говно?

Моника что-то проговорила ему вполголоса, и тот озадаченно воззрился на монумент.

— Ну-ка, зачитаем имена тех бандюков, кто помог это говно соорудить! Вот список, оставшийся, можно сказать, в веках!

Пока Гурьев с наслаждением, будто стихи на своем вечере, читал на заднике постамента имена-фамилии спонсоров, Кристина внимательно оглядела памятник. После чего тихо сказала:

— А ведь он прав. Scheisse этот ваш Гоголь. То есть я хотела сказать: в Москве памятник лучше.

Пока я произносил скомканный спич, Гурьев опять исчез. Обойдя памятник и не найдя поэта, я обратился к Кристине, мол, не видела моего приятеля?

— Видела, он только что был здесь... — она покрутила головой. — Но сейчас его нет!

«Может, и к лучшему? — думал я. — Пусть идет по своим делам, кто-нибудь да нальет страдальцу...» Увы: приблизившись к Невскому, Кристина указала рукой на переход.

— Вон твой приятель! Возле светофора!

Гурьев беспечно двинул на красный свет, в то время как машины неслись

сплошным потоком. Вот он преодолевает два метра, пять, машины мелькают, он на середине, одна из машин едва не задевает (точнее, задевает!) его, и я зажмуриваю глаза...

Этот козел все-таки благополучно перебрался на другой берег ревущего потока. Кристина, в отличие от меня, не зажмуривала глаз и сейчас пребывала в высшей степени удивления.

— Это странно, очень странно... Такое делают все, у кого это... Горят трубы?

— Ага, — отозвался я. — Дуракам и пьяницам, как гласит наша народная мудрость, везет.

Кристина помолчала, потом задумчиво проговорила:

— Der Geist... Дух. Дух этого непростого города, верно?

— Возможно... — пожал я плечами. — Раньше Пушкин был духом, но его давно нет. Зато есть Гурьев.

— Думаешь, он есть? Твой Гурьев? А мне вот кажется... Нет, ерунда! — Встряхнув головой, она рассмеялась. — Ну, как там поживает маленький человек? Идем дальше по его следам?

По дороге к следующей ключевой точке в районе Сенной площади поэт все-таки нашел алкашей, снизошедших к его тяжкому состоянию. Гурьев исчез в подворотне, так что появилась возможность, затерявшись в сутолоке, достойно завершить культурную акцию.

Но тут, как назло, Томасу приспичило в туалет.

— Надеюсь, там можно помыть руки? — осведомился он, вставая в очередь к синенькой кабинке.

— Там можно даже принять душ! — с досадой ответил я.

Вскоре из подворотни показался Гурьев. Его торжествующий вид не предвещал ничего хорошего: опохмеленный Гурьев был не лучше Гурьева с бодуна, в эту прорву приходилось вливать еще и еще. Гурьев блаженно улыбался, то ли чувствуя кайф, то ли его предчувствуя. Но чем дальше мы двигались по набережной, тем более обеспокоенным становилось его лицо. Охваченный тревогой, он попросил меня остановиться.

— Слушай, тут такое дело...

— Какое дело?

— Не берет! Совсем не вставляет!

Ну вот, так и знал, что ему мало! Однако Гурьев и впрямь был испуган: вместо ожидаемого лихорадочного румянца на его лице растекалась мертвенная бледность. Он сделался почти прозрачным, его шатало от ветра; дунь тот чуть сильнее — и поэта унесет в темные воды канала...

— Наверное, ты просто допился, — предположил я. — Ну, организм привык и теперь не реагирует на спиртное. Отсюда вывод: надо завязывать.

— Наверное... — рассеянно отвечал Гурьев. В мрачной задумчивости он поднялся вслед за всеми в антикварную лавку, что попала на пути, где бродил с потерянным видом между вазами и столешницами, рядом с которыми на ценниках круглились многочисленные пузатенькие нули. Я опять несколько раз закрывал глаза, представляя, какую стоимость придется выплатить заезжим гостям, случись чего.

По счастью, ничего не случилось. На улице Гурьев ковылял в арьергарде, вскоре начал отставать и, к моему облегчению, опять пропал. Теперь я мог реабилитироваться за кашу во рту, с которой докладывал про Акакия Акакиевича. Да и тема была вполне боевая или, как нынче говорят, адреналиновая. Итак, «маленького человека» начинает переполнять адреналин тщеславия, он метит в Наполеоны, не меньше. А чтобы утвердиться в том, что он большой, «маленький» тихо выкрадывает топор в дворницкой. И — хрясь этим топором по кумполу гадкой старушонки! А потом ее сестрице по черепушке — хрясь! Вот он, звездный час «маленького человека», взлетевшего над собой, ставшего, как говорил один ваш немецкий философ, Сверхчеловеком. Also sprach Zarathustra! Потом, правда, нашего недоделанного Наполеона совесть замучила, но курок спустили, и процесс, что называется, пошел...

Все это я с блеском произнес во дворе дома Раскольниковова, сопровождая слова показом: мол, вот отсюда он взял топор, а потом — топ-топ по улице, ровно семьсот тридцать шагов до жилища старухи-процентщицы. Если хотите, можем пройти, считая шаги — все совпадет! Ах, вы хотите попасть в каморку под крышей?! Вот с этим

труднее, жильцы парадной установили кодовый замок, так что попасть туда невозможно.

Томас подошел к двери и подергал ручку, дабы удостовериться в правоте моих слов. Я же завершал тему, дескать, вскоре «маленькие люди», отринув муки совести, начали настоящую охоту за большими людьми и в один прекрасный день грохнули царя-батюшку. А потом собрались в кучу, взяли Зимний дворец, и началась эпоха маленьких людей, их царство...

В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Гурьев! Интересно, когда он нас обогнал?! Он устало опустился на ступеньки.

— Ну, чего замолк? Давай продолжай...

— Да я вроде закончил... — смутился я.

— Ну, тогда я продолжу. Ты вот о «маленьких» тут трендишь, а сам ты кто? Думаешь, что большой? То есть если чего-то там прочитал, да еще что-то сочинил и напечатал, то вырос? Дудки! И я такой же «маленький», хотя когда-то рассчитывал быть большим. Примерно как вот этот сочинитель, поселивший сюда своего Родиона... Надо же: адрес придуманный, а народ прет в этот дом рядами и колоннами, так что жильцам круговую оборону держать приходится! Только и ему, Федору Михалычу, в нынешнее время не поздоровилось бы. Ни хрена бы у него не вышло; появись он сейчас, тоже в «маленькие» бы записали!

Гурьев опять становился прозрачным; вот он встал со ступенек, вот двинулся к арке, и я сам не понял, почему пошел следом. Хотелось что-то сказать, вроде как напоследок, но в голове было пусто.

— Я ведь и впрямь Бенна переводить пытался, — сказал Гурьев, когда вышли на улицу. — Языка я не знаю, но с подстрочника иногда тоже неплохо получается... Только кому это нужно? Твои фрицы в оригинале прочитают, если захотят, а наши... Скучно здесь, скажу тебе. Линять надо отсюда, понимаешь? Ноги делать. Так что я пошел, а ты давай, возвращайся, там тебя заждались...

Он удалялся по тому пути, который отмерял Раскольников, вроде как тоже считал шаги. Фигура становилась все меньше и меньше, пока не растворилась в воздухе, не дойдя до Вознесенского проспекта.

Пивной ресторан не смог развеять мое тоскливое настроение. А тут еще Франц с Моникой, что после двух бокалов роняли слезы в третий...

— Знаешь, я пойду, наверное... — сказал я Кристине.

— Своего Гурьева забыть не можешь? — спросила она. — Да, странный человек. Я так и не поняла: был он или нет? Как это один ваш писатель спрашивал: а был ли мальчик?

Дома я прилег, почти задремал, когда вдруг раздался телефонный звонок: знакомый автор приглашал в литературное кафе.

— Как жизнь германская? Не заскучал по родным осинам? Ладно, приходи, расскажешь... Да, про Гурьева-то слышал?

— Я его даже видел сегодня.

На том конце провода хмыкнули.

— У тебя с головой в порядке? Как ты мог его видеть?!

— Элементарно. Он еще денег хотел выпросить у моих знакомых иностранцев — ну, как всегда...

Пауза длилась минуту, не меньше.

— Ты, я чувствую, паленого шнапса на неметчине перебрал. Подходи вечером, нормальной водки выпьешь, помянешь вместе с нами грешную душу. Сегодня же сороковины! Сорок дней, как Гурьев того... В общем, знаешь, куда подходить.

Санкт-Петербург

Даниил Чкония

Бахва

Рассказ

Господи, пришло бы мне в голову в советские времена, когда мы все сидели невыездными, что буду я разгуливать по европейским столицам как по своему двору, зная всякие закоулки Люксембурга или Амстердама, или тем более Кельна, в котором уже, оказывается, так давно живу?!

Но речь, разумеется, не об этом.

Вот и сегодня я приехал с утра на автовокзал, чтобы везти экскурсионную группу в однодневную поездку в Брюссель. Утро нынче выдалось неказистое, и это тревожит гостей: какая, мол, погода в Брюсселе?

— Солнечно, сухо, — с деланным безразличием бросаю я.

— А вам, что ли, все равно? — неуверенно улыбается турист.

— Все равно, — согласно киваю я, — матч состоится при любой погоде.

Бывает, бывает, ненастным днем кто-то бурчит: вы нас под дождь тащите, разве нельзя переждать в автобусе! Мне даже лень объяснять, что в однодневной поездке в тот же Брюссель или Антверпен переждать дождь, который в любую минуту прекратится и тут же польет снова, бессмысленно. Что за характер у человека, реагирующего на обстоятельства с животным инстинктом! Сорвавшийся ливень, забастовка работников музея, пробка на автобане — такой громогласно возмущается: «Так и знал, неизвестно когда доберемся! Чего мы теперь не увидим?» Пробую объяснить, как строится экскурсия, убедить, что потерь в программе дня не будет. Главное — разрядить обстановку. Но, если тип не утихомиривается и вот-вот заведет весь автобус, лучше обострить ситуацию самому.

«Вы не из Житомира?» — живо интересуюсь я. «При чем тут Житомир? — он искренне недоумевает.

Действительно, бедный Житомир ни при чем, но Жмеринке и Бердичеву, а заодно и Черновцам уже столько раз доставалось. И не важно, откуда он: может, из Харькова или Днепропетровска, вовсе не исключено, что из разночинной Москвы. Но только не из Одессы — у них с чувством юмора все в порядке. И не из Питера, этих сразу выдает страдальческая улыбка ко всему готового интеллигента и правильная речь. «В Житомире, — сообщаю я, — никогда не бывает дождей и пробок!» Публика ухмыляется, в том числе посмеиваются и те, кто готов был поддержать брюзгу. Теперь они заодно с большинством и не выставлены на посмешище. Впрочем, я абсолютно не злопамятен, и капризный турист, успокоившись, сам пойдет на перемирие, начнет дружелюбным тоном задавать вопросы. Ну что — дождь. Стоит ли терять время...

Вокзал шумит, как улей.

— У нас не все! — говорит Катя. — Двоих нет, но они не проплатили.

Даниил Чкония — поэт, переводчик, литературный критик, родился 19 февраля 1946 года в Порт-Артуре. Жил в Мариуполе, Тбилиси, Москве. Окончил Литературный институт имени Горького. Автор восьми книг стихов. С 1996 года живет в Кельне (Германия). С 2005 года — главный редактор (соредактор) журнала «Зарубежные записки». Постоянный автор «ДН», также публикуется в «Новом мире», «Знамени» и других изданиях.

Подкатывает автобус. За рулем Джованни. Этот доброжелательный итальянский парень ездит быстро, но очень надежно, маршруты знает назубок, работает не механически: во время обзорной экскурсии по городу без всяких подсказок чувствует, где притормозить, а где и прибавить можно.

— Давай, Катя, рассаживай народ. Опоздавших ждать не будем, раз они не платили заранее!

Может, испугались дождя и остались дома, а может, стоят в нескольких метрах от нас, в другой группе. Вчера звонили в бюро, просили зарезервировать места, божились, что придут, оплатят поездку прямо в автобусе. А потом прозвонили конкурентам, получили скидку, переметнулись. Туристические агентства работают по-разному. Демпингуют, как правило, те, у кого дела идут не лучшим образом, или кто отмывает грязные денежки — русский бизнес. Поэтому равнодушно выслушиваю жалобы экскурсантов на конкурирующую фирму, дескать, деньги берут, а там, как придется: ни организации поездки толковой, ни работы гуда. Отмалчиваюсь. Про себя думаю: на дешевку потянуло, чего ж теперь жаловаться. Уводя группу к автобусу, озираюсь: кто у них сегодня работает? Этого знаю. Ходит впереди группы, пряча под пузо местного издания книжонку с идиотским названием, скажем, «Брюгге и его прелести» — так местные переводчики переводят слово «достопримечательности». Фотографии с церквами и уголками города, малосодержательный текст — продается в каждой сувенирной лавке. Так и водит группы, подчитывая брошюру на ходу.

У автобуса возникает перебранка.

В чем дело? — вмешиваюсь я. Катя — практикантка, ее послали работать самостоятельно, поскольку заболел штатный сопровождающий, она теряет, боится наделать ошибок.

А ситуация дурацкая. Двое опоздавших все-таки явились и обижаются, что их едва не оставили.

— Вас группа ждала пятнадцать минут, решили, что не придете, как часто бывает с людьми, заранее не платившими...

Вот, возвел мысленно на людей напраслину, дескать, к другим переметнулись, а их транспорт подвел. Но шум по другому поводу. В автобус ломится молодой парень с двумя девицами. Катя пытается остановить его:

— Автобус заполнен! Вашей фамилии нет в списке!

— Мы перлись сто километров! Нам вчера сказали: приматывайте, места будут! — настаивает он.

Уточняя название фирмы: может, не нам звонили?

— Не гони волну! — грубо обрывает парень.

— Вам, вам! — визгливо настаивают девицы.

Прошу Катю звонить в бюро.

— Успокойтесь, молодой человек, здесь какое-то недоразумение, мы разберемся.

— Че разбираться, разобрались уже! — базарные интонации в голосе девиц крепнут.

— Пошел ты! — парень грубо отталкивает меня, пытаюсь влезть в автобус. От толчка я чуть не ударяюсь о дверную стойку. Э нет, с такими нужно иначе! И я крепко беру его за запястье. Здоровый бугай, но такие при жестком отпоре, как правило, отступают.

— Во-первых, — цежу я сквозь зубы, — не тычь мне! А, во-вторых...

Здесь важно быть немногословным и убедительным. Парень слегка оседает.

— А кто мне башли вернет за дорогу до Кельну и назад? — бурчит он, вызывая улыбки окружающих, и, странное дело, из грозного хулигана, который выкобенивается перед своими спутницами, превращается в обиженного мальчишку.

Тем временем одна из девиц вспоминает: звонили все-таки в другое турагентство...

Мы отправляемся, и я неспешно начинаю свой рассказ.

Часа через полтора делаем паузу. Из автобуса не выхожу. Сегодня плохо спал, пытаюсь чуть-чуть расслабиться, подремываю...

— Земляк, с молодыми поосторожней! Они, генацвале, плохо предсказуемы!

Открываю глаза. Полноватый мужчина моих лет, может, чуть постарше, грустно улыбается и еще что-то говорит с ощутимым грузинским акцентом. Я согласно киваю, вспоминая утренний эпизод, кто знает, что мог выкинуть этот мальчишка. Встряиваю головой, чтобы отогнать сон...

Кажется, я задремал. Июльский полдень раскачивался в глазах белым пятном солнца. Едва не падая от головокружения, но подпрыгивая на обожженных пятках, поспешил к воде и тут же, на мелководье, рухнул, чуть не исцарапав лицо об мелкие донные камешки. Одурь отступила. Встал и медленно побрел прочь от берега, плюхнулся еще раз там, где вода по пояс, затем снова мешком свалился в воду там, где по грудь, проплыл несколько метров под водой и вынырнул. Отфыркался. Обернулся к пляжу. В ушах звенело от детского визга, взлетали волейбольные мячи — береговая песчаная полоса в этом месте расширялась, места хватало всем, неподалеку визжали девчонки, притворно возмущаясь пацанами-сверстниками, норовящими подплыть под водой, схватить за ноги. Им лет по восемнадцать—двадцать. Дело знакомое.

Один оглянулся. Перехватил мой понимающий взгляд. Бьюсь об заклад, в этом возрасте, заметь я рядом взрослого, испытал бы некое смущение, отвернулся, притти поубавил бы, давая незнакомому человеку возможность проплыть мимо. Нынешний смотрел на меня упорно и недружелюбно, о смущении речи не могло быть, он словно говорил взглядом: нечего, старый козел, на наших девок пялиться! Я перевернулся и поплыл. Засранец! Кому твои девки нужны, детский сад, плотва мелкая, да и та тебе не по зубам! Небось, днем с вами, недотепами, визжат и резвятся, а по вечерам млеют в руках у мужиков повзрослее...

Позволил себе разозлиться. Мысленно укоряю себя, стараюсь плыть несуетно, ровно, в хорошем темпе. Однако дышалки уже не хватает. Ну, еще несколько метров да потехничней — смотри, пацан, сам, поди, саженками гоняешь, башкой во все стороны вертишь! Я почему-то уверен — он смотрит мне вслед. Кролю моему приходит конец, даже на нормальный брасс сил не остается, затихаю на спине, изображая ленивое блаженство. Впрочем, отдышавшись, я и впрямь ощущаю прилив благословенной лени. Пляжный шум отдаляется, высокие холмы возникают сплошным зеленым фоном, сквозь который, где белым, где красным, пробиваются верхушки санаторных корпусов. Отпускное лето сорокапятилетнего бездельника на азовском берегу. Нечастая радость. И кто виноват, что мы все по ялтам-коктебелям, гаграм-пицундам отпуска растрачиваем, вместо того чтобы набираться сил на этом мелком ласковом песочке под щадящим солнцем у щадяще соленого моря. Не засни я по лени да глупости, никогда б это солнце в дурман не загнало! В детстве мы часами валялись на пляжном песке, оставляя места в тени деревянных грибков старушкам или женщинам с малышами.

Я плыву обратно к берегу вполне уверенным брассом. Меня должно хватить на то, чтобы пройти вплотную с резвящейся компашкой, демонстрируя полное безразличие к их игрищам. Обходить их по дуге я не намерен. Сопляк инстинктом молодого самца обозначил свою территорию, но пусть понервничает, раз уж старый козел может вызвать чувство ревнивой неприязни.

Однако им тоже надоело болтаться в воде, и вся стайка тянется к берегу. Достигнув мелкой воды, я лениво бреду, стараясь сориентироваться, где мои вещи. Мокрые ступни горячим песком не припекает, прихватив полотенце и сумку, я перебираюсь в краешек незахваченной тени под соседним грибком.

Самое любимое занятие моей жизни: лежать с книжкой на диване. А еще одно: вот так сидеть на пляже или на скамейке городского сквера и наблюдать за жизнью, кипящей вокруг.

Компания, в пределы которой я недавно вторгся, расположилась метрах в десяти. Чуть скосив глаз — благо, на свету стекла-хамелеоны моих очков сразу потемнели, — я наблюдаю за ними. Пара девчонок лежит в полном изнеможении. Две другие, наоборот, не могут уgomониться, задевая белобрысого мальчишку. Он простодушно отмахивается. Остальные сгрудились в кружок, кто вытянув ноги, кто подогнув колени и уткнувшись в них подбородком. Насчет мелкой плотвы я погорячился. Парни очень даже немелкие, спортивные, а девушки и вовсе оформившиеся, одно слово — южане!

Мой неосознанный недоброжелатель — рослый, мускулистый, с жесткой копной подсыхающих и щетинящихся волос — в центре внимания всей компании. И, хотя развлекает их своими байками другой, сразу заметно, что остальные реагируют на рассказ с некоторой оглядкой на жоака. Хозяин стайки держится солидно, но то и дело озирается.

Я проследил за его взглядом. Ага, голубчик, попался! — мне стало весело. Ровно на середине между мной и всей их бражкой возлежала она.

Лучшие в мире девушки и женщины сосредоточились в наших краях! Украина, Краснодарский край, Ростовская область и чуть западнее — южное славянство! Все! Остальные отдыхают! То есть собрать с миру по нитке себе на Голливуд вы можете! Но ежели выставлять тысячу на тысячу по месту прописки и без подставных — перестаньте, мужики, мараться в брачных конторах Европы! Летите, бегите, идите, ползайте, ну, хоть в неизвестный вам Мариуполь — за проклянувшимися невестами и зрелыми, как наливной плод, подругами!

Наливное дрожанье плодов...

С чего это всплыли давние строчки?..

А ведь, правда, они дрожали, эти плоды! И стояло марево Яблочного Спаса, и запах белых яблок смешивался с запахом августовского моря — от покатых холмов с ровными рядами садовых деревьев до обрывистой балки, кравшейся к самой воде, было несколько сотен метров...

Нам с Юркой было по шестнадцать, когда мы, накатавшись вдоволь на своих «Туристах», пришли в конце прошлого лета в велосекцию в надежде обзавестись настоящими гоночными «Чемпионами». Пришли в почти развалившуюся команду. Тренер, прихватив пару-тройку перспективных учеников, ушел в богатый клуб металлургического комбината, а здесь остались взрослые гонщики, не добившиеся больших успехов, теряющие форму мужики, да еще женская команда, которая почему-то не разбежалась. И вот еще мы, юнцы, не нюхавшие порошу, пригодные пока лишь для общего зачета.

Через пару месяцев нас повезли на областное первенство спортобщества. Дождливым октябрьским утром, под пронизывающим ветром, в открытом кузове грузовика-«технички» доставили команду на трассу. Старт был бы легким, потому что начинался на высоком холме и шел на спуск, потом — километра два равнины, можно было втянуться, поймать ритм пелотона. Беспрепятственный дождь, сильный боковой ветер, колдобины, грязь, которую нанесли с подступающего проселка колеса сельских грузовиков, делали стартовый спуск опасным. Перед нами только завершилась женская гонка, в которой первый «завал» случился через три десятка метров после старта. Ругань висела над трассой. Она извергалась из многочисленных женских ртов — гонщицы выясняли отношения между собой, не обращая внимания на суетящихся вокруг механиков. Слава богу, скорость не успели набрать, обошлось без травм и поломок, страсти улеглись, гонка пошла. Легковые «технички» команд побегаче, грузовые бедняцких клубов уважительно потеснились, уступая дорогу нашему грузовику: наша Елена завал проскочила и шла впереди одна, работала ровно, спокойно, пригнувшись к рулю, преодолевала сопротивление то бокового, то встречно-бокового — в зависимости от менявшегося направления дороги — ветра. Ладная фигурка слилась с машиной, и ощущение какого-то необъяснимого изящества таилось в ее полете над трассой.

— Повезло Ленке! — орал, перекрывая шум дождя и ветра, кто-то из наших и решил подогнать ее. — Давай, давай!

— Не ори, она свой темп знает! — осадили его.

Про себя я подумал, что дело не в том, что ей повезло. Елена была другая. Ни разу из ее уст я не то что мата, просто грубого слова не услышал. Но от прочих гонщиц она отличалась не только этим. Все они были типичные «силовики» — раскоченные, как у мужиков, бедра-галифе, мощные зады, мозолистые ладони, обветренные лица. Елена была невысокой, некрупной, женственной. Конечно, она была крепконогой, но икры ее ног не вздувались, даже когда она становилась в «мирное», как мы шутили,

время на каблучки. Она училась на втором курсе института, школу окончила едва не с медалью, и речь Елены — голос у нее был тихий, спокойный — отличала ее от других велосипедисток. При этом кожа у нее была такая, словно никаких многочасовых тренировок и гонок на осеннем ветру или под палящим летним солнцем она не знала. Нет, дело не в везении, уверен был я, она умнее других — я же следил за ней в момент старта: Елена чуть ушла в сторону, не побоявшись разбитого асфальта у кромки раскисшей обочины, а другие инстинктивно ринулись к середине шоссе.

Теперь она держала ровный темп, стараясь не потерять ритм, не сбить дыхание, сохраняя запас сил: пусть дергаются позади сильнеешие, они не сразу найдут общий язык, не скоро осознают угрозу реального отрыва, а потом начнут бешеную погоню, сменяя друг друга, понукая тех, кто лидирует короче остальных. Пусть выкладываются — одной ей в такой ветер не уйти, но соперницы должны считать, что она думает иначе. Вот приблизилась «техничка» областного тренера — поглядеть, как чувствует себя лидер. Елена пригибает голову, из-под руки видит его машину, приподнимается в седле, в самом начале холма начинает пританцовывать, издали кажется — энергично, агрессивно, но перед этим она сменила передачу на более легкую. Короткий спектакль удался: тренерская «Волга» отстает, сейчас он станет орать на своих подопечных, пугать их, хотя отрыв не растет, наоборот, медленно сокращается. А Елена на пологий холм взбирается, снова сидя в седле и сохраняя ритм и темп.

Гонка короткая — полсотни километров. Где-то на двадцатом ее достает головная группа. Наелись тетки! — злорадствую я про себя. До поворота едут дружной компанией, восстанавливаются. На обратном пути, все понимают, будет легче — ветер временами окажется попутным. Елена выглядит свежей других, пусть очень сильных и опытных гонщиц. На финише она вырывает третье место. Выпрыгиваем из кузова, бежим поздравлять ее. Наши обнимают Елену, целуют, что-то кричат.

Я тоже пожимаю ей руку — чего лизаться! Не могу же я признаться себе, что как раз больше всего хотел бы поцеловать ее!

Перед общим стартом мужской и юношеской гонки меня бьет дрожь. Ни ветра не боюсь, ни дождя, ни угрозы «завалов» — «Удобно, кладбище рядом!» — ржут мужики. Думаю об одном, не отстать совсем, не приехать в одиночестве, последним. И опять-таки не хочу признаться себе, что не насмешек товарищей боюсь. В конце концов, это моя первая настоящая гонка, никто от меня ничего серьезного не ждет, никто строго судить не будет, но не хочу опозориться перед Еленой. Впрочем, я даже не уверен, что она вообще замечает меня.

Финиширую где-то во второй половине юношеского пелотона, хмурюсь, делая вид, что недоволен собой, но тут же расплываюсь в улыбке: гонщики из мужской команды одобрительно похлопывают по плечу, и подбежавшие девушки целуют меня, а Елена, чмокнув в щеку, роняет: «Молодец!»

Оказалось, она живет на соседней улице. В следующем сезоне мы часто тренируемся вместе с женским составом, некоторые из опытных гонщиц не слабее нас, юнцов. Бывает, что возвращаемся вместе. Убей меня, не помню, о чем мы переговариваемся, Елена и домой едет в хорошем темпе — не до общения. «Пока!» — кивает она, сворачивая к дому. Приветливая улыбка при встрече, такая же — на прощание. Вот и все. Мне кажется, никто не замечает моего состояния, да я и сам не понимаю своих чувств.

Только Олег откровенно недолюбливает меня. Подначки, которые я, смеясь, выслушиваю от других, бесят, если задевает меня он. Иногда нам назначают тренировку с мужским составом — хотят «притереть» нас к мужской команде — вдруг понадобится замена в командную гонку. И тогда Олег мне спуску не дает — придирается, на смене лидирует с резким ускорением, так что не успеваю усидеть на колесе, цепочка рвется. Кто-то из старших упрекает его: ровней темп! Но Олег винит меня.

— Чего ты к нему цепляешься? — удивляются мужики.

— Да нужен он мне! — отмахивается Олег.

И, похоже, мы оба понимаем: дело в Елене.

Ну да, это был августовский день. Мы возвращались с тренировки в город. Несколько человек из команды взрослых, юноши и с нами Елена. Перед подъемом,

натужно ревя, нас обогнал колхозный грузовичок с кузовом, набитым арбузами — ровные темно-зеленые шары маленьких «огоньков». Их одной крепкой рукой запросто подхватишь. Мы, как всегда, переглянулись — с колхозной шоферней у нас вражда. Мы для них бездельники, болтающиеся на дороге: потому норовят обдать нас струей воды из лужи, выдавить на обочину, пугануть резким сигналом. В конце подъема этот грузовичок зависнет. Парни, кто половчее, обычно выкатывают прямо из кузова на ладонь арбуз, передают следующим. Три-четыре «огонька» на компанию — замечательный десерт, с которым мы управляемся в придорожной посадке. Вот и теперь веселимся: на подъеме от нас не уйти, а останавливаться он не будет, только чертыхнется, глядя в зеркало заднего вида. С гиканьем компания начинает набирать скорость.

Но я знаю, Елена в этих охотах не участвует, и не прибавляю хода.

— Чего не поехал? — улыбается она. — Вон какие «огоньки»!

— Неохота! — отмахиваюсь я.

— Чего вдруг? — в глазах у нее пробегают озорные искры. — Сладкого не любишь?

— Не люблю! — хмурюсь я и почему-то краснею.

— Смотри, белый налив! — Елена вдруг притормаживает у сада, который по склону спускается к дороге.

Я соскакиваю с велосипеда, вслед за ней перетаскиваю его через кювет, кладу в траву. Рога рулей чуть зацепили друг друга, они посверкивают в траве — мой потрепанный, но, какое счастье, настоящий гоночный, и ее новенький — два «Чемпиона». Мы бредем между рядами деревьев. Перестоявшие яблоки дразнят своим запахом! Порывы едва ощутимого ветра шелестят мелкими листьями. Елена надкусывает яблоко и передает мне. Жадно впиваюсь в него и ловлю ироничную улыбку: что ее смешит? Елена вдруг подтягивается к ветке чуть высоковатой для нее.

— Ну-ка, подсади меня!

Может, я перетренировался? Или запах дурманит голову? Отчего голова кружится?..

— Подсади же!

Это как в замедленной съемке: зайдя почему-то сбоку, обхватываю ее бедра и неожиданно высоко поднимаю девушку, она срывает яблоко, но я все держу, удивляюсь, какая же она легкая, и, хоть и кружится голова, я не хочу выпускать ее из рук.

— Опустите меня! — просит Елена. Голос у нее странно неуверенный, и улыбка совсем другая, тоже неуверенная.

Я невообразимо долго — ну, точно как в замедленном кинокадре — опускаю Елену, разворачивая лицом к себе. И — сам не понимаю, как это происходит — губы наши соприкасаются, я целую Елену, торопливо, по-детски, задыхаясь!.. И хотя она приговаривает: «Перестань, сумасшедший, отпусти меня!» — но лица не отворачивает, и рук моих не отводит. Потом вдруг чуть отстраняется:

— Сладкого он не любит! Ну-ну, сладкоежка! — и вдруг целует меня, долго, медленно, так что воздуха не хватает!..

Мы вздрагиваем и одновременно отстраняемся друг от друга, услышав хруст ветки под чьей-то ногой. Олег криво усмежается:

— Вас там все ищут. Арбузов набрали...

— А мы хотели яблок нарвать! — в голосе Елены слышны виноватые нотки.

Выходим к дороге все трое, не глядя друг на друга. Садясь на велосипед, ловлю на себе пристальный взгляд Олега. Взгляд спокойно-внимательный, взгляд взрослого врага. В город возвращаемся всей компанией, я жду, пока парни начнут разъезжаться, ведь с Леной (я впервые, даже про себя, называю ее так) нам по пути. Но неожиданно она сворачивает в боковой переулок одной из первых:

— Всем — пока! Я сегодня к подруге заеду.

Досадно. Только что ликовал — мы с ней целовались! — и казалось мне, Лена тоже ждала момента, когда мы останемся вдвоем... Но все равно на морде моей цветет довольная улыбка, и я нагло радуюсь тому, что Олег застал нас в яблоневом саду. Я даже готов встретиться с ним глазами, но вот и он жестом прощается со всеми, сворачивая к дому...

Через день у нас тренировка с женской командой, и я мчусь на трассу раньше назначенного срока. Я надеюсь, что потом мы с Леной снова притормозим у яблоневого сада... В условленном месте собираются все, нет только Лены. В таких случаях опаздывающих не ждут, сами найдут группу. Катимся по дороге, пока неспешно, перебрасываясь короткими фразами, кто-то даже успевает рассказать анекдот. Я все оглядываюсь, но знакомой фигурки на трассе не вижу. Настроение портится. О том, чтобы накануне заехать к Лене, позвать, скажем, на индивидуальную тренировку, а мысль такая была, речи нет. Я откровенно трушу. Но здесь, в группе, встретиться с ней заговорщицким взглядом — другое дело. А потом — яблоневый сад. Если, конечно, она притормозит — у меня самого духу не хватит.

На другой день отрабатываем езду в командной гонке, и я жду, что Олег снова будет пытаться сбросить меня с колеса: упрусь, но не дам ему оторваться, заранее злюсь я. Злюсь еще и потому, что Лены нет, — мимо женской группы, ушедшей на трассу раньше нас, мы пролетаем с ходу, и я убеждаюсь, что она снова пропускает тренировку. На Лену это не похоже. Как ни странно, Олег выходит на лидирование очень ровно, чуть прибавляя скорость, но усидеть за ним удастся без особых проблем. Сегодня он меня не дергает, но почему-то это не радует: кажется, я бы нашелся, что ответить, — непривычная уверенность проснулась во мне.

Спустя два дня все разъезжаются. Мужская команда на сбор, после которого лучшие едут на республиканскую многодневку, женщины отправляются на свои гонки в Крыму. Мы, юнцы, катаемся сами, все больше норовя не задерживаться на трассе, зато лихо возвращаемся на базу, к маленькому стадиону, примыкающему к городскому парку, куда ближе к вечеру тянется народ. Движения на этой улице почти нет, стайки девчонок и молодых парней выходят прямо на проезжую часть. Набрав скорость, мы перестаем крутить педали, на холостом ходу сухой звук наших «трещоток» — мы даже соревнуемся, чья звонче, — распугивает прохожих, и нам кажется, будто все только и смотрят на нас. Короче, не столько тренируемся, сколько валяем дурака без присмотра старших.

Но ведь мы с верным другом Юркой еще и в волейбол стучим, так что нам нагрузок хватает, и вскоре нашу волейбольную команду отправят на юношеский чемпионат области...

Лена так и не появляется. К концу сентября сезон идет на спад. Кажется, я уже не переживаю... Тем более, вскоре неожиданно для себя впадаю в новую влюбленность, и вечерами в закоулках опустевшего с приходом осенних дождей парка целуюсь с Наташкой, волейболисткой из институтской команды. Наташка постарше меня, но почему-то приходит на эти свиданья, иронично подтрунивает надо мной и периодически дает по рукам, поскольку границы дозволенного четко не определяются, все зависит от ее меняющегося настроения...

Мне все-таки хочется видеть Лену. Особенно после того, как встречаю в городе Олега. Он проходит со своей взрослой компанией и делает вид, будто не замечает меня. Это не задевает, наоборот, вызывает некое победное чувство. Спустя пару месяцев случайно узнаю, что Лена перевелась в университет областного центра и в этот же город перебирается Олег. А вскоре кумушки из женской команды, собравшиеся вместе с нами в спортзале на тренировку после январской паузы — надо было начинать подготовку к новому сезону, — разнесли новость: Елена вышла замуж за Олега.

Я сидел на скамейке будто обухом перешибленный. Как же так! А я? А поцелуи в яблоневом саду? А молчаливое — так мне казалось — признание Олегом моей победы?!

Конечно, переживания мои сдуло первым же весенним ветром, тем более что и сам не заметил, как Наташку сменила Алина. В смысле того, что парк был по-прежнему пустынен по вечерам, раньше апреля-мая жизнь в нем не начиналась, только целовался я уже с другой.

Жизнь так сложилась, что Елену я больше никогда не видел.

С Олегом мы встречаемся годом позже. Он подрастерял форму, ездит скорее по инерции, для командного зачета. Перед стартом как-то весело-небрежно приветствует меня движением руки: за этот год мы, юнцы, окрепли, с некоторыми из нас

теперь нужно считаться. На последней четверти гонки удастся уйти в отрыв группой из семи человек. По двое от каждой из трех главных соперничающих команд, поэтому пелотон сознательно отпускает нас. Олег идет седьмым, в придачу. Его присутствие никого не беспокоит. Темп высокий, лидирование каждый отрабатывает честно, откладывая разборки на финишный спурт. Через некоторое время Олег начинает сдавать. За год с лишним я пообтерся, почувствовал себя уверенней, с раздражением оглядываю на глазах сникающую фигуру Олега.

Бывает, попадает в отрыв умник, который пытается беречь силы за чужой счет. Если это соперник, способный вклиниться в финишную борьбу, или хитрован, сбивающий темп в пользу пелотона, ему быстро объясняют, что нужно работать, как все, или отваливать из группы. Но если человек не претендует на призы, а оказавшись в отрыве, хочет просто доехать до финиша, такого особенно не задевают. Едва Олег, в очередной раз сократив лидирование, отходит в сторону, я прикрикиваю на него:

— Чего косишь?

Олег молчит, да и сказать ему нечего. Видно, как трудно удерживает он темп. Шлея мне под хвост попала:

— Сиди в хвосте, не мельтеши под ногами! — злорадно припечатываю я после очередной его смены.

Кто-то из гонщиков удивленно оборачивается: чего, мол, прицепился к мужику?

— Да пусть едет, — укоряет меня Юрка, — кому он мешает!

Похоже, Олега Юркины слова деморализуют: он нервно озирается и, теряя скорость, постепенно отстает от нас. Запоздалый стыд обжигает меня. Вернуть бы Олега в группу, но куда там!

Потеряв концентрацию, упускаю момент перед финишем, когда Юрка начинает раскатывать меня. Он вынужден на мгновение сбросить скорость, и, пока я плотно сажусь на колесо, две другие пары соперников берут нас в клещи. Все! Они разбирают финиш между собой. Юрка еще отчаянно вертит головой, не видя выхода: он до последнего надеется, что я уйду влево или вправо, попробую с чужого колеса вырвать финиш, — я и пытаюсь, но уже поздно! Пролетаем над жирной белой чертой, и я осознаю, что не только сам бездарно проиграл гонку, но и разрушил все надежды на командную победу. А ведь там, в пелотоне, и Генка, и Леха, заправские финишеры, которые терпели и делали все, чтобы никто не ушел вдогонку за нами. Сквозь слезы стыда и обиды — я даже не пытаюсь прятать их, — обернувшись, с ужасом вижу, как на отчаянно сопротивляющегося Олега насаждает пелотон и поглощает его. Мог бы быть седьмым, а теперь какой — двадцатый, сороковой? — судьи определяют. Мы почти одновременно гасим скорость, поздравляем победителей, и один из них, именитый по нашим меркам гонщик, добывает меня:

— Помогло? Боялся Олегу шестое место проиграть?

Подъезжают наши.

— Юрка вовремя пошел, а я прозевал... — надо же объяснить, что дружок мой не виноват.

Кто-то из ребят кивает головой, принимая к сведению мою информацию, и все молчат...

Олега с тех пор я тоже никогда не встречал. Со временем о нем и Елене память, кажется, стала стираться... Что мне было вспомнить? Постыдное свое поведение в последней нашей с ним гонке?... Может, возникло когда видение жаркого полдня, почти прозрачных, дрожащих в мареве яблок...

«Наливное дрожанье плодов...»

К чему это я?.. А, вот оно в чем дело! Я проследил за взглядом парня и увидел ее. Она сидит как раз на середине между мной и его компанией. Я только, было, подумал о том, что лучше девушек, чем в наших краях, не сыскать, но иногда, будем справедливы, и северные столицы найдут, чем глаз порадовать. Именно такой экземпляр располагается в перекрестье наших взглядов, и парень мгновенно понимает: я прочитал его интерес к девушке. Малый слегка теряется. Оно и понятно, эту территорию он еще не пометил.

В отличие от его подружек, крепких, загорелых девчонок в готовых треснуть

купальниках, на огромном, ярко-зеленом, словно лужайка, полотенце полулежала северная русалка — хрупкое, белотелое, изящное создание. Впрочем, русалочка — лет двадцати пяти — цену себе знала: об этом свидетельствовала ее томная поза и едва заметное выражение высокомерия на лице. Тебе, мальчик, снова завелся я, она пока не по зубам!

Я даже не понял, по какой такой ассоциации вспомнил давнюю историю про Олега с Еленой, то ли «плоды» эти в голову пришли, то ли вечный мужской инстинкт соперничества связал нынешнюю ситуацию с воспоминанием о временах почти детских. Нет, ну смешно же, ни его девчонки, ни эта столичная ленивица, на самом деле ждущая серьезного мужского внимания, мне не нужны. Я дядя взрослый, солидный. Не прояви мальчишка своей неосознанной агрессии, дурацкого напряжения в нашем пространстве не возникло бы. Я даже не понял, кой черт меня дернул его дразнить: смотри, губошлеп, как это делается!

— Простите, вы не присмотрите за моей сумкой? Пойду, порезвлюсь с молодыми, давно мячиком не стучал...

Она приподнимает голову, снимает свои темные очки. Внимательно смотрит на меня — вопрос, который читается в ее глазах — кадрит или нет? — мне очевиден. Я тоже сдвигаю очки, она смущается...

И этот цепкий взгляд мужской
Пугает и тревожит...

Опять всплывают давние, написанные по другому поводу, строчки.

— Да, пжа-алста! — словно взяв себя в руки, ошастливливает она меня кивком головы.

Кто бы сомневался, барышня, что вы москвичка, усмехаюсь я и, двинувшись в сторону раззадорившегося кружка волейболистов, слышу за спиной:

— Пойду, мячик покидаю!

Ну, скучно даже! Что ж вы, ребята, такие предсказуемые! Влоборота и скосив глаз, оцениваю его вытянутую, сухую, но уже основательно накачанную фигуру. Хорош! Он мне определенно нравится, но азарт разобрал, и я раздвигаю кружок играющих. Внимание, пляжники! «Пляжниками» во времена волейбольной юности мы называли не отдыхающих, а неумелых любителей повозиться с мячом.

Итак, в бой идут старики! Я становлюсь против двоих недурно играющих молодых людей. Один — прямо напротив, другой чуть наискосок. Остальные не в счет. Как и полагается пляжникам, эти остальные то неловко принимают мяч, то неточно пасуют, то неуклюже пытаются гасить. Двое напротив — грамотно перепасовываются, у них хорошо расслабленные кисти, бьют точно в ноги условного противника. Ребята перекликаются, и я уже знаю, что их зовут Вадик и Вовчик. Сейчас, обращаюсь я мысленно к остальным, вы, голуби, узнаете, что такое защита! Увидите, как достаются в броске на грудь безнадежные мячи, как делается быстрый шаг навстречу атакующему, чтобы успеть поднырнуть под летящий мяч, и — прием сверху, прием снизу, решение почти автоматическое, — чуть амортизируя, — тело само складывается в падении назад или в сторону — руки не просто принимают мяч, а передают его по идеальной траектории для новой атаки! Не важно, с какой силой бьет нападающий, главное, чтоб точно — в ноги, и ты, кувыряясь, не только берешь эти мячи, но и вытягиваешь безнадежные, уходящие из игры после неудачного приема соседа-пляжника.

Мне снятся волейбольные мячи... — вдруг вспоминаю я строку.

Вошедшего в круг никто сразу атаковать не станет, мне просто перепасовывают мячик, я мягко, пробуя, подбрасываю его над головой, а затем резко, словно пружина, вытягиваюсь. Если замедленно прокрутить пленку, то выглядит это так: ноги приподнимаются на носки, дальше — через выпрямляющиеся плечи — энергия начатого движения передается на уходящие вперед-вверх руки к кистям ладоней — направление мячу придает все тело, и он зависает не слишком высоко и чуть впереди

над головой Вовчика. Вовчик подпрыгивает, бьет не сильно, но хлестко, я встречаю мяч и снова делаю передачу под удар, только теперь гораздо более высокую, и кричу ему: «Можно!» На языке волейболистов это означает, что я готов, и он с короткого шага выпрыгивает и бьет, мощно, зло, весело, я едва успеваю нырнуть под мяч, но в последнее мгновение меня хватает на то, чтобы сделать точную высокую передачу на Вадика, и, стремительно вскакивая на ноги, я снова кричу: «Можно!» И Вадик бьет, не так сильно, но и не так точно, поэтому мне приходится сделать два быстрых шага, прежде чем в падении я достаю и этот мяч, возвращая его Вовчику. Удар — прием, удар — прием, удар — прием! На какое-то время прочие выключены из игры, пока Вовчик, пропуская свою очередь на атаку, не откидывает мяч одной из играющих девушек, и она неудачно принимает его. Короткой паузы хватается на то, чтобы обменяться одобрительными взглядами, — мы как бы подтверждаем возникшее между нами взаимопонимание.

Вперед, парни, я готов, можете атаковать. Конечно, через десять минут я умру, но никто не осудит меня, если, пожаловавшись на возраст, я отойду в тень. Сделать это нужно вовремя, тогда все поймут, что я всего лишь кокетничаю...

— Привет, Димон! — улыбается Вовчик и чуть отступает назад, чтобы расширить круг и дать место моему юному недоброжелателю.

Димон хмуро кивает в ответ. Мяч в игре, Дмитрий — думаю, так его и зовут — будто нехотя отпасовывает мяч Вадиму, тот перебрасывает мяч кому-то из пляжников, который тоже делает пас в сторону Дмитрия. Резким движением кистей он выстреливает в меня, мяч летит прямо, без всякой траектории, чуть опускаясь с высоты его роста на уровень моей груди, — это скорее короткая баскетбольная передача. «Засранец!» — восклицаю я мысленно и успеваю отреагировать вполне солидно: вот тебе мяч под удар! Но он не атакует, а вновь повторяет свой маневр, и я, словно не замечая столь откровенного недружелюбия, делаю передачу под удар Вадика. Он бьет косым, будто обходящим блок, в сторону Вовчика, тот приподнимает мяч коротким пасом над соседом, и чертов Димон крючком вонзает его в песок передо мной! Я только и успеваю подставить ладони под мяч, чтобы на отскоке он не ударил меня.

Парень просто взбешен. Спрашивается, зачем я ищу приключений на свое жирное место? Что мне, нужны эти сопливые телки? Нужна эта — себе на уме — русалка? Кстати, как она там? Я, отряхивая песок, смотрю будто бы на свое плечо и вижу, что и она, и компания Димона, и загорающая вокруг публика, заметив оживление в игре, наблюдают за нами.

С трудом — но теперь я начеку — отбиваю два удара моего визави, отмечая его силу и технику, — Димон явно не любитель. И вдруг, получив высокий пас, он бьет со страшной силой, но не в ноги, а прямо мне в лицо — я едва успеваю подставить под мяч полуоткрытый кулак. «Говнюк ты, Димон!» — я еле удерживаюсь, чтоб не сказать это вслух.

— Ты чего, Димон? — удивляется Вовчик, пока кто-то бежит за далеко улетевшим мячом.

— Киксанул! — как бы сочувствуя, объясняя я Вовчику.

— Дури много! — испуганно бурчит один из чайников и выходит из круга. — Ну вас, инвалидом сделаете!

Димон отмалчивается. Игра продолжается, и мне пора сдаваться. Димон бьет еще раз, но совсем не сильно, а прицельно и точно, и я озорно подставляю под мяч голову, поднимая его над собой, и вновь головой пасую соседу. Народ одобрительно смеется. Димон опять бьет, точно и несильно, я возвращаю ему мяч под удар и снова кричу: «Можно!» Он резко замахивается и неуловимо быстрым обманном движением кисти опускает мяч в центр круга. Классическая «покупка», выполненная на высшем уровне. Это мой самый любимый в былые времена момент игры! Два стремительных шага для разгона — и я, вытягиваясь в полете, у самой земли завожу под мяч тыльную сторону ладони, продолжая скольжение уже по песку. Я знаю, со стороны это выглядит красиво: изящно выполненный обманный удар нападающего, красивый полет и приземление защитника! Мяч взлетает достаточно высоко. Я еще беззащитно распластан почти у ног Димона. Он слегка подпрыгивает и бьет в мою задницу, совсем

несильно, но как бы припечатывая меня к земле. Инстинктивным движением кисти за спину отбрасываю мяч в сторону. Аплодируют нам обоим... И под общий смех мы аплодируем друг другу, он — стоя надо мной, я — лежа на песке и подняв руки над головой.

Через пару минут сдаюсь.

— Все, мужики! Дыхалки нету! — мне не до кокетства, перед глазами кружатся мушки.

Они приветливо машут, и я бреду за своей сумкой. Димон оказывается рядом.

Наклоняюсь к своей сумке:

— Спасибо, что присмотрели! Вас как зовут? — спрашиваю я русалку.

— Анастасия!

Конечно, Анастасия! Как еще могут звать русалку! — улыбаюсь я про себя и оборачиваюсь к медленно идущему мимо нас парню:

— Тебя Димой зовут?

— Да! — дружелюбно отвечает он.

— Вот, Настенька, это Дима, — представляю его, — классный волейболист!

Димон смущенно улыбается, от былой агрессии и следа нет.

— Правда-правда, — подтверждаю я, — тут без дураков!

— Вы тоже играете! — кивает он.

— Играл! — поправляю я, возясь со своей сумкой и жестом приглашая его присесть. Он с готовностью садится на песок.

— Давно из Москвы? — спрашиваю Настю, и она без удивления отвечает:

— Я только вчера приехала.

— Надолго? — продолжаю допытываться я.

— Недели на три, наверно.

— Раньше здесь бывали?

— Нет. У меня здесь знакомые, мамина подруга...

— Значит, на косе не были? — выражаю я свое сочувствие. — Ну, Дима, грех будет косу гостю не показать! Ездите на косу?

— Ездим!

Господи, да у него же открытая, совсем детская улыбка!

— Я бы и сам показал, — развожу руками, — но мы с женой и детьми скоро уезжаем.

Точки расставлены, мне пора.

— Удачи вам, дети мои! — шутливым басом говорю я и застегиваю сумку. Жму руку Димону. Киваю Насте.

Она тоже кивает и почему-то кажется, что с некоторым сожалением. А может, это мне так хочется думать...

Вечером я с тоской думаю, что утром меня замучает крепатура. Пальцы рук уже ноют. Но особенно болят запястья. Где те времена, когда они были бесчувственными к ударам мяча, когда я ножницами срезал мозоли, набитые велорулем, когда суставы не ограничивали движения моего плеча. Жена безнадежно машет на меня рукой: кто заставлял тебя скакать, словно молодой козел!

А, действительно, кто? Чего мы с ним не поделили? И вообще, с молодыми нужно быть осторожным.

Да-да, так и сказал этот сегодняшний грузин.

Кстати, в Грузии в мои университетские годы до перехода на учебу в Москву это и произошло. И сам я был тогда совсем молодым.

Сема тиснул в молодежной газете стишки. Конечно, не смехотворный гонорар стал поводом для посиделки. Мы прикинули, что вскладчину, без особого шика, можем позволить себе однажды провести вечер в приличном ресторане. Несколько бутылок вина, сыр, зелень, овощи — что еще нужно, чтобы хоть на один вечер из небогатых студентов превратиться в кутящую компанию! Ресторанный зал интуристовского отеля был полон. Нам достался закулок позади объемной угловой колонны. Отсюда не очень виден был оркестр. И часть публики, которую нам было интересно рассмотреть, скрывала от нас колонна, но кого это могло опечалить! Настроение

у всех было шумное, беззаботное, спорили о чем-то, перебивая друг друга, иногда бестолковый шум перемежался тостами.

Еще один не совсем удобно расположенный столик, как и наш, таился позади колонны. Я иногда поглядывал туда. Двое принаряженных молодых людей — типичные горцы-провинциалы — обхаживали двух заезжих русских девочек. Ситуация была до неприличия банальной. Горцы приехали в большой город по каким-то своим делам. Ну кто бы еще сидел в такое пекло в черных костюмах, белоснежных рубашках с галстуком, в узких черных туфлях, из которых выглядывали белые носки? С девчонками все тоже было ясно. На профессиональных проституток — а что там ни писала советская пресса, таковые существовали и наезжали в Грузию сотнями — эти простушки не походили. Или отбились, познакомившись с настоящими кавказскими, как им казалось, джентльменами, от экскурсионной группы, или приехали, путешествуя самостоятельно, в поисках впечатлений. В свою очередь, и горные орлы считали, что им повезло на знакомство с настоящими блондинками-леди.

Мы с друзьями уже вступили в очередной яростный — и, как всегда, глупый — спор о литературе, о поэзии. Мы ярились-спорили, но я все же поглядывал на соседний столик: забавно было наблюдать, как жеманничали девицы и надувались их кавалеры.

Ресторанный зал все больше наливался шумом и гомоном, но даже сквозь этот шум слышно было, как будто дунуло каким-то ветерком, и со всех сторон стали долетать приветственные голоса.

Мы выглянули из-за колонны: с большой компанией приятелей и расфранченных дам за сдвинутыми столами устроился сам Реваз.

Кто же не знал Реваза! Разве что наши соседи-провинциалы, ревниво поглядывавшие в ту сторону, ибо их девушки не могли не обратить внимания на такое сборище золотой молодежи во главе с двухметровым, чуть погрузневшим красавцем. Официанты забегали, как ошпаренные, метрдотель почти не отходил от их стола. Вечер набирал силу.

Один из горцев за соседним столом — приятель звал его Бахвой — тщетно подзывал официанта, чтоб заказать еще вина.

— Потерпи немного, — огрызнулся официант, жирный короткопалый субъект, — не видишь, Резо пришел!

Резо был одним из городских баловней. Его отец, директор предприятия, доктор наук, депутат и орденосец, и мать, не столь уж талантливая, но небезызвестная актриса, были желанными гостями в любом доме. Резо учился неплохо, можно было предположить, что он пойдет по стопам отца, будет заниматься наукой. Но весь город считал, и не без оснований, что это будущая волейбольная звезда. Он действительно был одаренным игроком, но, увы, звездная болезнь посетила Резо раньше, чем настоящий успех. Он так и не достиг больших высот в спорте, что популярности его отнюдь не мешало. После института Резо пристроили на хлебное место — директором мебельного комбината. Работу делал, как и полагалось, главный инженер. Смешно, но, как это водилось, им был скромный трудяга-еврей, знавший свое место. Забота Резо заключалась в делании денег. Нужно было умасливать все контролирующие органы, от санитарной службы и пожарки до ревизоров и обэхэсэсников, и, разумеется, делиться с райкомом и райисполкомом. Короче, Резо был денежным, хлебосольным, с хорошими манерами и к тому же влиятельным родством, человеком.

— Он кто? — спросила девушка за соседним столом.

— Бездэльник какой-то! — досадливо поморщился приятель Бахвы, тоже напрасно призывавший официанта.

Казалось, за их столиком все шло по-прежнему, но барышни не могли скрыть своего интереса к происходящему в компании Резо. Горцы нервничали. Чутье подсказывало им, что надо потихоньку сматываться, пока девушки совсем не потеряли интерес к ним.

Вдруг официанты снова забегали по залу. Это был коронный номер Резо. Он повторялся не часто, в зависимости от настроения Резо, от желания покрасоваться перед очередной дамой, а за его столом порой оказывались известные в городе

красавицы или заезжие знаменитости. «Вчера Резо опять закрыл ресторан!» — с некоторым осуждением и нескрываемым восторгом говорили в городе и покачивали головами, вай, дескать, какой обаятельный шалун!

Это значило, что Резо объявлял всех присутствующих своими гостями. Отказаться было невозможно: нанесешь смертельную обиду! Если уж очень нужно было уйти, то лучше незаметно от Резо, объяснившись с его ближайшими друзьями, — тебя с большим сожалением отпускали.

Как водится в подобных случаях, официанты разнесли по столам заказанные Резо бутылки, гости наполняли бокалы, приподнимались, приветствуя Резо, некоторые подходили со своим бокалом к большому застолью, произносили здравицы в честь хозяина вечера, кого-то иногда приглашали посидеть разделить компанию.

В этом содоме нам, разночинным, так сказать, студентам, стало неудобно, но, ничего не поделаешь. Впрочем, нет такой жизненной ситуации, которая не была бы интересна литератору, а мы себя уже таковыми считали. Разговор за нашим столом оживлялся все больше. Сема, вертя своим ассирийским шнобелем, что-то горячо доказывал Жоре. Жорка, фанат-джазмен, удостоившийся в те уже годы короткой переписки с Уиллисом Кановером, в отличие от нас, бездельников, постоянно печатал статьи в газете ЗакВО — как она там называлась: «На страже Родины»? — или еще что-либо в том же духе — понятно, тоже метил в прозаики. Его армянские глаза светились мягким светом, на взрывного Сему (вообще-то Шумуном его звали) реагировал с улыбкой некоторого превосходства в житейском опыте. Шота намеревался стать историком, но был исправным читателем тогдашних «Юности» и «Нового мира».

О чем мы спорили? Странно, я так хорошо вижу нас всех: молодых, искренних, веселых и бескомпромиссных... Книжечка стихов Семы вышла после его смерти. Я уже в Москве жил, работал в издательстве. Жору из виду потерял, слышал, что он работал в той же газете штатным корреспондентом, где он теперь, не ведаю, надеюсь, что жив и здоров. Шота писал диссертацию, погиб в автокатастрофе. Самый из нас тихий, бессловесный Гогита, только, бывало, переводил взгляд с одного на другого, кивал головой, словно поддакивая, а когда его начинали укорять, мол, что ты, как китайский болванчик, киваешь, со всеми согласен? Он коротко отвечал: «Ни с кем!» Мы бесились. Все, по сути, были провинциалами, но этот деревенский балда, намеревавшийся стать литературным критиком, потому и принят был в компанию, что помалкивал, да и чего от него, деревни, ждать! Он и стал критиком. Слепил какую-то литературоведческую диссертацию, вполне конъюнктурную, связанную с анализом производственных романов, в которых повествовалось о доблестном труде руставских металлургов, зестафонских ферросплавщиков, чиатурских шахтеров. Читать его статьи было невозможно. Вот с ним-то я потом не раз виделся на всяких днях литературы, в просторечии называвшихся шашлычными десантами в Грузию...

Оно и удивляет: так зримо вижу нас за столом в шумном ресторанном зале, а о чем шла речь, не помню. И, кажется, понимаю — почему... Я все время отвлекался. Вот толстяк-официант поставил на стол бутылки: от Резо! Я кивнул: дескать, спасибо, ответим тостом попозже. (Ребята эти бутылки даже взглядом не удостоили: Резо так Резо! — главное, вино не иссякает.) Вот забежали первые желающие немедленно произвести здравицу в честь неожиданно возникшего хозяина застолья...

Зато горцы взбунтовались, потребовав счет.

— Отдыхай, радуйся, — приговаривал официант, всплескивая круглыми сосисками растопыренных пальцев, и смотрел на них, словно на недоумков, — Резо платит!

— Как здорово! — воскликнула одна из девушек.

Горцы помрачнели. Интересно, чем они занимаются, эти парни, подумал я, исподтишка наблюдая за происходящим.

— Посчитай! — упрямо повторил тот, которого звали Бахвой. При этом видно было, что оба нервничают. Мне стало жаль парней. Какого черта! Нашли ребята с девчонками общий язык, все у них шло на лад, зачем им этот Резо!

— Отпусти их! — попросил я официанта.

— Им что, трудно за здоровье батона Резо выпить! — возмутился тот и ринулся с доносом к дружкам Резо.

Два молодца из числа Ревазовых оруженосцев подошли к столу соседей, по пути мирно приветствуя нашу компанию. Как ни странно, в гвалте нашего застолья никто, кроме меня, не замечал разыгрывающейся по соседству драмы.

— Вы кто такие! — бросили подошедшие горцам. Это был даже не вопрос. — Не хотите пить за Резо-батону, уходите, — продолжали они по-русски. — Мы девушек за большой стол приглашаем.

Побледневшие горцы пытались сохранить достоинство. Они сидели внешне спокойные, отвечали сдержанно:

— Братя, мы же вас ничем не беспокоим! Хорошо, давайте выпьем за батону Резо и не будем в обиде друг на друга! — сказал Бахва.

— Нам вашего одолжения не надо! Мы девушек приглашаем!

— Тогда, извините, не по-братски себя ведете! — сердито, но, все же сдерживаясь, ответил приятель Бахвы. Он был прав: люди Резо нарушали общепринятый кодекс чести, наступать на достоинство человека — это уже чересчур!

— Кому ты здесь брат! Деревня, мать твою!

Это уже табу. Приятель Бахвы вскочил, хватая нож со стола, Бахва обхватил товарища своими крепкими лапищами. Один из двоих противников тоже стал оттащить зарвавшегося дружка. За нашим столом воцарилось напряженное молчание: мои приятели только сейчас заметили, что рядом что-то происходит.

— Чего они? — удивился Сема.

— Что случилось? — никто не заметил, как у стола появился Резо. Рядом с ним угодливо тянулся к уху тот самый официант. Резо, слушая его подобострастную скороговорку, мрачнел. Что толстяк наплел ему?

— А-ну, выпей бокал! — потребовал Резо. Он сам уже был в хорошем подпитии. — Выпей за свое здоровье! — злобно процедил Резо, — пока оно у тебя есть!

Даже в нынешние времена это называли бы беспределом. На лицах у девушек застыл животный страх. Горец, в руках у которого был нож, положил его на стол. Бахва сел. Он никак не мог проглотить комок, стоящий в горле, но, глядя в глаза Ревазу, отрицательно помотал головой.

— Сопляк! — воскликнул Реваз и щелкнул парня по носу. Горец побагровел. — Я, твою мать!.. — Резо сопроводил слова непристойным жестом. В этот миг мне самому хотелось бы прибить Ревазу.

Весь трясаясь, Бахва сунул руку в карман пиджака и достал пистолет. Никто не успел ничего понять: три пули подряд вошли в грудь и живот Ревазу. Второй парень, еще до выстрела, схватил в охапку дрожащих девушек и рванул к выходу. Отстрелявшись и размахивая пистолетом, побежал следом Бахва. На какое-то мгновение все замерли, многие не поняли, что произошло. Резо бился на полу в конвульсиях, пока не стихли судороги.

Примчалась «скорая помощь», гостиницу оцепили наряды милиции, подъезжали черные «Волги» со всяким начальством. Выходы и входы были перекрыты. Женщины рыдали, мужчины громко обсуждали происшедшее, милицейские вдруг выводили из зала кого-либо. Потом возвращали. Неожиданно ко мне подошел капитан:

— Можно вас на минутку?

Я встал.

— А что случилось? — заволновался Сема. — Мы все были вместе.

— Спокойно, молодежь! — остановил его капитан. Меня вывели из ресторанный зала.

— Вот он, наверно, его знает! — ткнул в меня пальцем официант. — Он его защищал! — в голосе толстяка ощущался отчаянный страх.

— Вы знаете стрелявшего? — спросили меня.

— Нет, первый раз видел! Они просто оказались соседями по столику.

— Вы смогли бы узнать его? Может, запомнили особые приметы кого-либо из их компании?

— Такого благородного человека загубили, собаки! — причитал официант.

«Ты и загубил, провокатор!» — мелькнула мысль.

— Узнать, пожалуй, узнал бы, — я пожал плечами, — а примет?.. Нет, не помню! Они записали мои данные, сказали, что вызовут, когда понадобится. Наконец

разрешили выходить, милицейский кордон понемногу выпускал людей из оцепления, у некоторых проверяли документы, образовалось что-то вроде очереди...

Вдруг я остановился как вкопанный! Я даже не человека увидел, только его ухо. Была, была у него особая примета: на левом ухе — заметная родинка. Сказать правду, когда милицейские меня о приметах расспрашивали, я этого не помнил. Словно почувствовав мой взгляд, Бахва обернулся. Конечно, это был он. Мы встретились глазами. Я и сегодня не знаю, как следовало поступить. Его выпустили из оцепления на мгновение раньше. Он уходил ровным шагом.

Ну и нервы, подумал я, откуда у него пистолет? Наверно, тоже бандит!

Я больше никогда в жизни не видел этого человека...

Реваза хоронили с размахом. Говорили проникновенные речи про его талант, красоту, щедрость и благородство. Правда, кое-кто в городе шепотком приговаривал, мол, все-таки Резо не совсем прав был, но зачем же стрелять?..

Экскурсия в этот день удалась, группа оказалась подвижной и любознательной, а в таких случаях у гида появляется кураж, и день пролетает на одном дыхании. На обратном пути, как обычно крутим старые и всеми любимые фильмы, а я вспоминаю события давних лет. Даже не замечаю, как автобус останавливается у вокзала: приехали! Катя произносит положенные прощальные слова, приглашает экскурсантов в новые поездки, народ, как водится, аплодирует.

Выхожу на платформу, разминая затекшие ноги. Гости в основном выбирают из задней двери автобуса, многие подходят со словами благодарности, обмениваемся любезностями...

— С молодыми, земляк, поосторожней! — напоминая о пустом утреннем конфликте с нагловатым парнем, веселый толстяк-грузин подмигивает мне. Рядом с ним светловолосая, явно русская, жена, тоже говорит какие-то приятные слова.

— Молодец, земляк, мы бы с тобой и в Амстердам съездили, но завтра уезжаем! — уже уходя, машет он.

Пристально вглядываюсь, и у меня в прямом смысле слова подкашиваются ноги: на левом ухе этого человека чернеет приметная родинка. Словно почувствовав что-то, он оборачивается:

— Что?

— Нет, ничего! — поспешно пожимаю плечами я и неожиданно для себя спрашиваю: — Вас как зовут?

— Бахва! — улыбаясь, отвечает он.

В поисках новых ценностей

Куда идет российская культура?

В «круглом столе», проведенном в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов совместно с Институтом философии РАН, приняли участие:¹

ГАДЖИЕВ Гадис Абдуллаевич — судья Конституционного суда РФ, доктор юридических наук, профессор

ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич — академик и член Президиума Российской академии образования, заведующий кафедрой философии и культурологии, ректор СПбГУП, доктор культурологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный артист РФ

КУДЕЛИН Александр Борисович — академик Российской академии наук, директор Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН, заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН, доктор филологических наук, профессор

МАКАРОВ Валерий Леонидович — академик Российской академии наук, директор Центрального экономико-математического института РАН, доктор физико-математических наук, профессор

ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович — член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии художеств, директор Государственного Эрмитажа, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, доктор исторических наук, профессор

РЕЗНИК Генри Маркович — президент Адвокатской палаты Москвы, член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой адвокатуры Академического правового университета при Институте государства и права РАН, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ

СТЕПИН Вячеслав Семенович — академик Российской академии наук, руководитель секции философии, социологии, психологии и права Отделения общественных наук РАН, научный руководитель Института философии РАН, доктор философских наук, профессор

ЮРЬЕВА Татьяна Семеновна — директор Музея современных искусств им. С.П.Дягилева, профессор Смольного института свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, доктор искусствоведения

Эпоха перемен

В.С.СТЕПИН

— Тенденции изменения российской культуры определены не только ее традициями, но и внешней средой, современным глобализирующимся миром, в котором встречаются и взаимодействуют различные культуры.

Современные цивилизации находятся в стадии радикальных качественных изменений. Обостряющиеся кризисы требуют новых стратегий развития. Многие историки, футурологи, социальные антропологи сравнивают сегодняшний этап с такими радикальными изменениями в истории человечества, как, например, переход от каменного века к железному, от варварских архаических обществ к первым сельским и городским цивилизациям древности.

¹ Публикуется с сокращениями.

В такие эпохи происходят качественные изменения культуры. Чтобы в них разобраться, надо предварительно уточнить понятие цивилизации в его отношении к культуре.

Говоря о цивилизациях, в истории человечества можно выделить два их типа. Первый и исторически более ранний — традиционалистский тип развития, представленный многообразием традиционных обществ. Второй, возникший намного позднее, обозначается разными терминами. Часто его называют западной цивилизацией — по региону возникновения. Сегодня этот тип развития представлен не только странами Европы и Северной Америки, но и Японией, современным Китаем, Индией, Россией и др. Я называю этот тип развития техногенной цивилизацией, учитывая, что определяющим фактором ее эволюции является ускоренный научно-технический прогресс.

Техногенная цивилизация начала формироваться в европейском регионе примерно в XIV–XVI столетиях. В эпоху Ренессанса, Реформации и Просвещения сложилось ядро ее системы ценностей. Оно включало особое понимание человека и его места в мире. Это прежде всего представление о человеке как деятельностном существе, которое противостоит природе и предназначение которого состоит в преобразовании природы и подчинении ее своей власти. С этим пониманием человека органично связано понимание деятельности как процесса, направленного на преобразование объектов и их подчинение человеку.

Можно констатировать, что ценность преобразующей, креативной деятельности в качестве доминанты характерна только для техногенной цивилизации. В традиционных культурах доминировало иное понимание, выраженное в знаменитом принципе древнекитайской культуры «у-вэй», который провозглашал идеал минимального действия, основанного на чувстве резонанса ритмов мира. Этот принцип был альтернативен идеалу преобразующего действия, основанному на активном вмешательстве в протекание природных и социальных процессов. Он ориентирован не столько на преобразование внешней среды, сколько на адаптацию к ней. Традиционные культуры никогда не ставили своей целью преобразование мира, обеспечение власти человека над природой. В техногенных же культурах такое понимание приоритетно. Причем оно распространяется не только на природные, но и на социальные объекты, которые становятся предметами социальных технологий.

Далее, в системе базисных ценностей техногенных культур можно выделить понимание природы как преимущественно неорганического мира, который представляется как особое, закономерно упорядоченное поле объектов, выступающих материалом и ресурсами для человеческой деятельности. Предполагалось, что эти ресурсы безграничны и человек имеет возможность черпать их из природы в увеличивающихся масштабах. Противоположностью этим установкам было традиционалистское понимание природы как живого организма, малой частичкой которого является человек.

В системе жизненных смыслов техногенной цивилизации одной из главных является ценность инноваций и прогресса. В традиционных же обществах доминирующей ценностью является традиция. Ее изменение оценивается негативно. Уместно напомнить древнее китайское изречение, которое в современном прочтении звучит примерно так: «Самая тяжелая участь — это жить в эпоху перемен». А для нашей цивилизации изменение и прогресс становятся самоценностью. Она вроде двухколесного велосипеда, который тогда устойчив, когда движется, а как только остановится — упадет. Инновации здесь — приоритетная ценность, чего не было в традиционных культурах, где инновации всегда ограничивались традицией и маскировались под традицию.

Далее, анализируя различия базисных ценностей традиционалистских и техногенных обществ, необходимо сказать о разном понимании личности.

В традиционалистских культурах личность определена прежде всего через ее включенность в строго определенные (и часто от рождения заданные) семейно-клановые, кастовые и сословные отношения. Здесь быть личностью — значит быть частью клана, касты, сословия. В техногенной же цивилизации доминирует иное понимание: в качестве ценностного приоритета утверждается идеал свободной индивидуальности, активной, суверенной личности, которая может включаться в раз-

личные социальные общности и обладает равными правами с другими. Только в контексте этого понимания формируется идея прав человека.

Наконец, среди ценностных приоритетов техногенной культуры можно выделить особое понимание власти и силы. Власть здесь рассматривается не только как власть человека над человеком (это есть и в традиционных обществах), но прежде всего как власть над объектами. Причем объектами, на которые направлены силовые воздействия с целью господства над ними, выступают как природные, так и социальные объекты. Они становятся объектами властного манипулирования.

Из этой системы ценностей вырастают многие другие особенности культуры техногенной цивилизации. Эти ценности выступают своеобразным геномом техногенной цивилизации, ее культурно-генетическим кодом, в соответствии с которым она воспроизводится и развивается. Техногенный тип цивилизации от традиционалистских отличают прежде всего базисные ценности.

А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Итак, наше время — это эпоха кардинальной смены типов цивилизации.

В.С. СТЕПИН:

— А дальше возникает вопрос: что происходит с традиционалистскими обществами после возникновения техногенной цивилизации? Они не исчезают, а сосуществуют и взаимодействуют с техногенными обществами.

Техногенная цивилизация сразу после своего возникновения оказывает давление на традиционалистские общества, заставляя их видоизменяться. Иногда эти изменения становились результатом военного захвата, колонизации, но чаще — итогом процессов догоняющей модернизации. Ее вынуждены были осуществлять многие традиционные общества под давлением техногенной цивилизации. Так, например, Япония после реформ Мэйдзи встала на путь техногенного развития. Таков был и путь России, которая прошла несколько модернизационных эпох, основанных на трансплантации западного опыта. Наиболее крупные из них — реформы Петра I и Александра II. Преобразования в нашей стране после Октябрьской революции также можно рассматривать как особый вид догоняющей модернизации. Она была ответом на исторический вызов — провести ускоренную индустриализацию страны.

Советский социализм и западный капитализм более полувека конкурировали как два различных варианта, две стратегии развития техногенной цивилизации. Их противостояние не исключало взаимного влияния. Изменения капитализма во второй половине XX века и создание в Европе и Северной Америке социальных государств были в определенной мере связаны с влиянием советского опыта повышения уровня жизни за счет роста общественных фондов потребления (бесплатного образования, бесплатной медицины, предоставления общественного жилья и т.п.). Соединив высокий уровень индивидуальной оплаты труда с увеличением потребления из общественных фондов, Запад получил наряду с другими выгодами также преимущества в идеологическом соперничестве.

Техногенная цивилизация прошла несколько этапов эволюции — доиндустриальный, индустриальный, и в конце XX века она вышла на этап постиндустриального развития. На этом этапе техногенная цивилизация начала новый цикл экспансии в различные страны и регионы планеты. Модернизации переросли в глобализацию.

До второй половины XX века сама идея прогресса и ее жесткая связь с ценностями техногенной цивилизации не ставилась под сомнение. Эта цивилизация дала человеку много достижений — науку и новые технологии, улучшение качества жизни, продление жизни, образование, развивающиеся креативные способности личности. Но она породила и две мировые войны, изобрела орудия массового уничтожения, обозначившие реальную возможность гибели человечества, привела к глобальным кризисам. Обострение глобальных кризисов ставит проблему будущего техногенной цивилизации и базисных ценностей ее культуры.

М.Б. ПИОТРОВСКИЙ:

— В настоящее время становится более ясной особая роль культуры в обществе. Эмоциональные и эстетические критерии выбора решений, оценки жизни вдруг становятся более понятными на фоне экономических и политических ориентиров и образа мыслей, которые оказались не просто беспомощными, но и породившими мировой кризис.

Культура учит многому и мудростью своей помогает пережить тяжелые времена. Учреждения культуры, особые «отростки» гражданского общества — театры, музеи, библиотеки, кино, изредка телевидение создают достойную и честную этическую альтернативу кризисной депрессии. Нормально работая в окружении банкротств и «обвалов», они поддерживают дух оптимизма, надежды и веры, давая пример выживания. Люди не опускают руки. Продукты культуры помогают им жить. В условиях кризиса более понятной становится экономика культуры, которая основана на социальной программе и ее деловом обеспечении, а не на сверхприбылях. Экономика культуры здорова и прозрачна. Это спокойная экономика. Наконец, общение с культурой убеждает все большее число людей в том, что решения, основанные на красоте, положительных эмоциях и морали, бывают правильными чаще, чем решения, продиктованные примитивным расчетом. В прошлом веке мы уже поняли, что инновации должны ориентироваться на решения, принятые природой. Пора вспомнить, что полезно ориентироваться и на опыт искусства — красоту и вдохновение, которые нельзя описать только цифрами, даже если их и можно передать в цифровом формате.

Мнение, что культура должна играть первостепенную роль в организации жизни общества, сегодня достаточно распространено. Есть много положительных сдвигов в эту сторону. Еще недавно слово «культура» практически не упоминалось в официальных программных документах. Сегодня ряд знаковых событий и проектов показывает, что ситуация меняется. А это значит, что институты гражданского общества и интеллигенция получают еще один шанс помочь развитию своей страны и подчинить развитие экономики законам культуры.

В.С.СТЕПИН:

— Глобальные кризисы все более остро ставят вопрос о стратегиях цивилизационного развития. А эти стратегии связаны с вырабатываемыми в культуре программами деятельности. Множество сценариев будущего человеческой цивилизации можно распределить между двумя полярными стратегиями. Первая из них основана на пролонгации техногенного типа развития без кардинального изменения его базисных ценностей. Вторая предполагает радикальную трансформацию этих ценностей. Здесь речь идет уже о переходе к новому типу цивилизационного развития, третьему по отношению к традиционалистскому и техногенному.

Соответственно по-разному интерпретируются постиндустриальная эпоха и современные процессы глобализации.

В рамках первого подхода постиндустриальное общество рассматривается как очередная ступень техногенной цивилизации. В рамках второго — как переходный период к новому типу цивилизационного развития.

Глобализация с позиций первого подхода выступает как процесс распространения ценностей техногенной культуры на все страны и регионы планеты. С позиций второго подхода сегодняшний тип глобальных процессов, связанных с формированием планетарной системы экономических, социально-политических и культурных взаимодействий разных стран, должен измениться, поскольку будут проблематизироваться ценности техногенной цивилизации. Диалог культур, о котором сегодня все говорят, приобретает особый смысл — поиска новых ценностей.

«Наше законодательство принципиально враждебно культуре...»

В.Л.МАКАРОВ:

— Тем не менее значение культуры в современном обществе недооценивается. Недооценивается властями, народом, не воспринимается обществом, что называется, всерьез. Это имеет место везде в мире, во всех странах независимо от уровня их развития. И Россия, естественно, не исключение.

На самом же деле *культура управляет миром*, но никто или почти никто этого пока не осознает. Рычаги управления бывают разные, их человечество выработало невероятное множество. Наиболее яркий и впечатляющий рычаг — воздействие харизматической личности на толпу. Об этом прекрасно написано в переведенной

относительно недавно на русский язык книге французского социального психолога Сержа Московичи «Век толп». Жанна д'Арк, Наполеон, Сталин, Гитлер, де Голль, Мао (список можно долго продолжать) действовали, в общем, примитивно, но эффективно, воздействуя, как правило, на толпу. И чем более «дебильна» толпа, тем легче ею управлять.

Но главный рычаг управления нашим миром невидим, неосознаем, неощущаем. Хотя харизматические личности тут тоже играют немалую роль. Сократ, Христос, его ученики, Мохаммед, Лютер, Махатма Ганди и им подобные были, несомненно, харизматами, но действовали-то по-другому. Это есть так называемое *мягкое* управление, когда люди не замечают, что ими управляют. Более того, само управляющее воздействие не является непосредственным или постоянным. Человек, «попавший в сети», дальше идет своей дорогой по жизни, не нуждаясь в постоянном понукании.

Пытаясь уточнить, что такое мягкое управление, не стоит сосредоточиваться на религиозном сознании. Так легко дойти до малосимпатичной мысли, что человечество подобно кролику, над которым проводит эксперименты какое-то высшее существо. Широкий взгляд на мягкое управление приводит именно к культуре. Культура лежит в основе человеческой личности. Человек отличается от других живых существ тем, что он член общества. Не буду распространяться здесь о том, что такое общество, хотя в последнее время увлечен построением искусственных обществ в компьютере. Скажу только, что главным отличием общества от других собраний особей является именно явление культуры, которое действительно можно сравнить с генотипом, как предлагает Вячеслав Семенович.

Почему же мы этого не осознаем, иногда гоним прочь, скрываем? Потому что невыгодно называть вещи своими именами, ибо тогда не скроешь своих истинных «мелких» целей. В теперешнем мире зарабатывать деньги гораздо легче, играя на низменных инстинктах человека, а не на возвышенных чувствах. Вроде немного стыдно, но вполне легально. Это ведь не продажа наркотиков.

Другая причина — чисто человеческая конкуренция. Чего это ради выдвигать работников культурного фронта на первые роли? Власть у них: у политиков, бизнесменов, бюрократов, военных, наконец. Они определяют, как и какое строить общество. Каких людей это общество должно вырастить, воспитывать. Результат мы все видим, он налицо. Тюрьмы переполнены, полно брошенных детей, наркоманов, алкоголиков, бомжей. Новых великих произведений искусства и литературы уже и не найдешь. Экономическое неравенство и расслоение только растет. Исключения типа семейных экономик Арабских Эмиратов или Брунея, как известно, только подтверждают правило.

Нам, участникам сегодняшнего «круглого стола», остается только мечтать об обществе по-настоящему высокой культуры. Ведь только в таком обществе криминал и прочие прелести, которые нас окружают, становятся бессмысленными. Страсти, наверное, будут кипеть в любом человеческом обществе. Но стремление удовлетворить страсть будет использовать другие инструменты. В Средние века проще всего было сжечь на костре ведьму, которая тебе отказала. В наше время хорошо работает кляуза в прокуратуру, а на уровне стран — известные приемы информационных войн, формирующие нужный образ. В обществе тотальной культуры отношение к человеку, как мне кажется, станет таким, что для того, чтобы доставить кому-то неприятность, надо его в чем-то превзойти.

В наш информационный век мечтать можно более содержательно, чем во времена Кампанеллы с его «Городом солнца». Искусственные общества теперь можно строить и играть с ними как дети или, лучше, как ученые-экспериментаторы.

А возвращаясь к тезису о том, что культура есть главный мягкий инструмент управления обществом, можно добавить следующее. Мягкое управление действует не сразу, медленно, но эффективно. И в конечном счете выигрывает та страна, которая возьмет на вооружение культуру.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Вместе с тем наше законодательство принципиально враждебно культуре. И политика враждебна, я в этом убедился в многочисленных дискуссиях с Министерством экономического развития. Все новые кодексы — бюджетный, гражданский,

таможенный — хуже, чем законы, которые были раньше, и все враждебно культуре. К сожалению, вынужден повторить: у нас считается, что культура — это услуга, но ведь это не так!

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— И образование — не услуга. Это совместная деятельность образовательного учреждения и студента. Услуга — это когда мы пришли в ресторан и нас накормили. Культура — это действительно не сфера обслуживания.

У нас в стране на рубеже формаций произошли странные вещи. Социалистическая идея была заменена идеей «рынок отрегулирует все». Якобы нравственность не нужна, государство должно уйти из сферы духовности, из сферы морали и выполнять какие-то чрезвычайно усеченные функции. Нравственность была отброшена, поскольку те слои, которые занялись во власти дележом государственной собственности, в какой-либо нравственности и морали были не заинтересованы. Иначе они бы эту собственность не смогли присвоить. Для того чтобы реализовать лозунг «Обогащайтесь!» начала 1990-х годов, надо было от нравственности отказаться вообще.

Тогда мы вдруг обнаружили, что в системе образования исчез идеал воспитания. При социализме он был четко сформулирован государством: это гармонично развитая личность. Конечно, если сравнить с Западом, то там государство не диктует университетам, какого человека они должны воспитывать. И когда я разговариваю на эту тему с ректорами западных университетов, они не понимают, почему университет должен заниматься воспитанием. Но там совершенно другая ситуация с семьей и гражданским обществом. Те функции, что у нас раньше, в советское время, брало на себя государство, у них сосредоточены в семье и обществе. Там, если человек начинает совершать аморальные поступки, его быстро поправляет общество с помощью целого ряда социальных институтов. Поэтому на Западе сегодня вмешательства государства в дела морали и нравственности особенно и не требуется. Но если гражданин (любой — учитель, журналист, министр...) отступит от морали, то вмешаются мощные институты гражданского общества. Мы же в 1991 году оказались в ситуации, когда нет ни гражданского общества, ни позиции государства. Россия оказалась без каких-либо социальных институтов, которые могли бы поддерживать нравственность.

Российское общество вернулось к первобытному состоянию, к дикости. Обогащение не ограничено никакими рамками — эта ситуация чудовищна. Коммунистические идеалы воспитания воплощались, как мы знаем, в Моральном кодексе строителя коммунизма. Но законы этого кодекса были позаимствованы у христианства. В начале 1990-х поставили задачу просто: передавать знания. В последнее время вспомнили о воспитательной работе, но вспомнили как-то странно. Говорят: давайте-ка мы займемся патриотическим воспитанием. Но не может быть патриотического воспитания в отрыве от целостного формирования личности — в русле гуманистических традиций, духовных ценностей, заветов цивилизации, морали и нравственности. А у нас сегодня государство само оказалось аморальным, провозгласив лозунги: «Мы не вникаем в проблемы морали», «Нам важно, чтобы работали экономические механизмы, которые основаны на законах». А на чем основаны законы? По-моему, в представлении начальства законы принимаются только для его выгоды. Но нравственность должна пронизывать все сферы жизни общества и, что для меня очень важно, — в педагогике должен быть идеал. Сегодня это напрочь забыто. То есть если школа и вуз сегодня будут формировать человека безнравственного, то не найдется ни одного социального института, который бы их в этом упрекнул. Воспитывать безнравственного человека — это в России теперь нормально.

Вся социалистическая система была нацелена, по крайней мере формально, на воспитание человека творческого. Дворец культуры при фабрике в Верхнеурюпинске открывал кружок для детей, которые там плели макраме, танцевали или выжигали по дереву. Взрослые собирались по вечерам и обсуждали книги. Семь процентов населения Советского Союза — от грудных младенцев до глубоких стариков — были вовлечены в самодеятельное творчество. Творчество пропагандировалось многими социальными институтами. Система была обязана формировать человека-творца. Сейчас эта задача снята с повестки дня. Сегодняшняя практика формирует пользо-

вателя, который хорошо работает на компьютере. Так мы воспитываем пользователя, потребителя, а не человека, который способен к инновациям. Есть мнение, что нам больше в общем-то ничего и не надо. Якобы России нужны люди-винтики, способные к выполнению простейших операций на производстве, и чем меньше они будут думать и размышлять, тем лучше.

Еще одна проблема — коммерциализация школьного образования. Если в высшем образовании плата вполне уместна, может при определенных условиях быть благом и стимулировать учебные процессы, если ее грамотно реализовывать, то в школе сейчас учитель становится коммерсантом, и это будет иметь чрезвычайно сильные отрицательные последствия. В школе образовательные и воспитательные цели заменяются коммерческими. Ребенок после урока подходит к учителю и просит что-то объяснить, а учитель говорит: «Я тебе ничего не буду объяснять. Видишь, три человека в очереди стоят — они мне заплатили деньги, чтобы я с ними провел дополнительный урок. Если твои родители заплатят, то я и с тобой буду заниматься». Рыночная система зашла слишком далеко и становится самодовлеющей. Средства подменяют цели, рынку придается значение механизма, который якобы может регулировать все.

На самом деле рыночные отношения — это уже давно известно и понятно — всего лишь часть жизни общества. Если их поставить во главу, то система общественных отношений будет искажена. ЕГЭ играет в этой истории второстепенную роль. Сам по себе механизм ЕГЭ — дело неплохое, но тесты характеризуют всего лишь одну сторону подготовки ученика, может быть, 20–30 процентов готовности человека к вступлению во взрослую жизнь. ЕГЭ надо внедрять мягко, продуманно, понимая, что он не отменяет традиционных подходов, которые сложились у нас в образовании.

В результате поспешных, непродуманных перемен система образования в принципе теряет системные качества, начинает хаотично влиять на личность. Надо учитывать и то, что в семье тоже происходят чудовищные вещи. Мы располагаем катастрофической статистикой. Побои, надругательства, алкоголизм. Чем только детей не заставляют заниматься... Александр Бастрыкин, начальник Следственного комитета при Прокуратуре РФ, после новогодних праздников провел специальную пресс-конференцию по поводу того, чем обернулись десятидневные каникулы для детей. Родители пили, гуляли, напивались до бессознательного состояния, имели место массовые случаи жестокого поведения, когда потерявшие человеческий облик родители глумились над детьми. Были совершены десятки тысяч преступлений. И это только верхушка айсберга. Семья деградирует невероятными темпами.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Значительная часть населения нашей страны репродуктивного возраста, если верить средствам массовой информации, не способна воспроизвести здоровое поколение.

В.С.СТЕПИН:

— Да, это повреждение генетической программы.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Когда мы рассматриваем задачу обеспечения культурной преемственности, воспроизводства новых поколений, то видим: система образования утратила свои функции, семья в существенной части практически утратила функции, средства массовой коммуникации «органично» дополняют эту композицию, то есть формируют звероподобного человека. Это и есть та реформа образования, те перемены, которые мы почувствовали в последние два-три года в университетах страны. Еще в 1990-е годы нам было кого учить на университетском уровне, сейчас в стране практически нет соответствующего контингента. Вот мы проводим конкурс, приглашаем отличниц, золотых медалисток и даем им несколько тестов. Берем, например, Зошенко и Шекспира, убираем имена героев. Абитуриентки не в состоянии отличить одного от другого по тексту. По структуре, эпохе, по всему прочему — все это в текстах есть, но они не видят. Но человек, который не прочел 150–200 шедевров мировой литературы, не изучил их в школе, не прочувствовал, не понял, не вошел в контекст, не ощутил аромат, но главное — не пережил нравственного потрясения от соприкосновения с образами этих шедевров, — он не может получить нормальное

университетское образование, потому что у него не сформирована должная картина мира.

Кто именно в стране ответствен за трансляцию культуры, преемственность поколений? Семья, система образования и средства массовой информации. Учителя или родители должны привести ребенка в Эрмитаж и объяснить: вот это музей, сокровищница культуры, смысл его такой-то, вести себя здесь надо так-то, но главное — посмотри, какая здесь необычайная красота, это Культура! Старшие обязаны формировать определенный интерес и уважение, пиетет, почтение, ведь музей — это ценность. И юный человек должен входить в мир культуры, знаний осознанно. Сколько времени человек должен провести в Эрмитаже, если он ставит задачу обогатить себя духовно? Так же как я уверен, что родители должны привезти ребенка в Царское Село и объяснить, что это место, где учился Пушкин. И что еще там происходило... Если учителя и родители этого не сделали — провал. И если телевидение представило детям Ксюшу Собчак как воплощение молодежных идеалов — мы имеем в результате некую завершенную деятельность по разрушению культурной преемственности.

Это наша сознательная государственная политика — разорвать связь поколений, чтобы старшие со своими ценностями ушли и в России началась совсем иная культура — не западная и не традиционная, а совершенно иного типа. Похоже, что действительно взят курс на формирование очень малочисленной элиты плюс огромного количества людей, которые убирают дороги и обслуживают нефтепроводы. Хотелось бы абстрагироваться от политики, но таким образом может быть создана только модель, при которой Россия не будет способна даже на догоняющее развитие. И уж тем более при такой культуре невозможно говорить об инновационном развитии. Личность, которая сегодня формируется и выходит во взрослую жизнь, может быть способна к инновациям только в порядке исключения, как Михаил Ломоносов, вопреки всему, наперекор судьбе. Несколько Ломоносовых, может быть, сегодня найдем, но в массовом количестве человека мыслящего, творческого, способного на инновации, нравственного страна не будет иметь. Такой стране нужен репрессивный аппарат, который ставит молодежь в рамки, бьет по рукам и по голове и заставляет функционировать в определенном стойле.

Г.М.РЕЗНИК:

— Как мне представляется, важнейшее, что внесено Россией в мировую культуру, — «великий и могучий» русский язык, на котором написана русская литература. Сейчас мы ощущаем постепенную утрату этого колоссального богатства. Понятно, что культура держится на национальном языке. А нынче фактически разрывается связь времен. Все мы читаем лекции перед разными аудиториями. Иногда я привожу студентам цитаты из Пастернака, Ахматовой или Мандельштама и вижу, что они не воспринимают. Не знают, кто это такие. Хотя, между прочим, в школьных учебниках по литературе они есть — Мандельштам, Булгаков, Платонов, Зощенко...

В российской школе сложилась по-настоящему страшная ситуация. Мой сын — священник в самом бедном регионе России, в Ивановской губернии. Там есть школа, которая считается одной из элитных. Средний возраст учителей — пятьдесят лет, молодежь не идет преподавать, потому что учителя страшно унижены: со всеми надбавками педагог получает 3–4 тысячи рублей в месяц.

Получается, что при увеличении проблемности семьи школа, которая должна каким-то образом это компенсировать, фактически уходит от того, чтобы давать образование, которое в сущности является синонимом культуры. Если следовать упомянутой формуле Эйнштейна, то должно оставаться нечто такое, что будет сопровождать человека всю жизнь.

Это всегда было проблемой. Тут был приведен как будто положительный пример: советская власть развивала творчество, работали дома культуры с многочисленными кружками и пр. Но было много и лицемерия: начиная с 1960-х годов у нас совершенно исчезла социальная мобильность, социальные слои воспроизводили только сами себя. Если ты выходец из семьи рабочих, то также будешь рабочим. Общество было даже не классовое, а кастовое. Сейчас эта ситуация усугубляется, только теперь основную роль играет не социальное происхождение, а деньги. Подавляющее большинство населения не в состоянии заплатить 70–80 тысяч рублей в год за обучение, для людей это слишком большие суммы.

В Соединенных Штатах за длительное время существования этой страны научились поддерживать таланты. У нас сейчас положение с этим весьма и весьма плачевное. Раньше, безусловно, поддерживала семья, хотя проблема с преподаванием классического наследия была всегда. И я не представляю, каким образом сейчас молодое поколение может рыдать над судьбой Анны Карениной. И «Ромео и Джульетта», наверное, целиком в прошлом. Оживить это вряд ли возможно.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Ученый из нашего института читал лекцию по «Евгению Онегину». После лекции к нему подошла школьница: «Я не понимаю конфликт "Евгения Онегина"» — «Как не понимаете?» — «Я не понимаю, в чем проблема: она любит его, он любит ее, ну переспала бы с ним, и все».

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Дмитрий Сергеевич Лихачев в одной из своих работ сформулировал положение, которое можно назвать «законом Лихачева»: культура развивается не по законам Дарвина, потому что, по Дарвину, сильный побеждает. Кто сильнее — тот и прав, он сжирает более слабого. В культуре все иначе: постепенно, неуклонно происходит наращивание гуманистического, человеческого начала. В мировой истории на первый взгляд побеждает сильный. Приходит некий этнос, вытесняет других, убивает, обращает в рабство, Карфаген разрушен, цивилизация уничтожена без остатка. Иногда кажется, что вся история — это история человеческих зверств. Но в конечном счете, и Лихачев на это обращает внимание, сквозь эту массу дикости все равно прорастает гуманитарное начало — как трава через асфальт. В целом справедливо, наверное, что в развитии разных сфер культуры сегодня есть и большие плюсы, и большие минусы. Но, на мой взгляд, сейчас мы как раз сталкиваемся (по сравнению с советским периодом) с колоссальной деградацией российской культуры. Математически это невозможно описать, хотя Лев Николаевич Гумилев, автор теории этногенеза, все же описывал подобные явления. Общий объем гуманности в стране по сравнению с советским периодом резко упал. Это прослеживается практически во всех видах искусства. Исчезает положительный герой, этический идеал. Торжествует постмодернизм, размываются границы добра и зла. Яркий пример — фильмы, которые показывает Константин Эрнст: «Ночной дозор», «Дневной дозор». Там лейтмотив — белые хуже черных, так как они только притворяются хорошими, а на самом деле они такие же, как черные. Добро хуже зла, потому что оно пытается поставить себя выше зла; на самом деле нет никакого добра — все зло. Отрицается гуманизм, торжествует дикое, антигуманное начало. Не знаю, как все развивается — по кругу или по спирали, но сегодня материальные ценности восторжествовали над духовными. Советский режим рухнул потому, что людям не хватало нравственности, морали, они хотели правды, более гуманных отношений. Они рушили режим не потому, что хотели разбогатеть, а потому, что практика советской власти пришла в противоречие с официально провозглашенными ценностями. Интеллигенция была против лицемерия, обмана, несправедливости, несвободы и т.д. А выродилось все в нечто противоположное — материальные ценности торжествуют, сильный прав, мораль снова поправа, искусство теперь вообще не стоит на стороне добра.

Т.С.ЮРЬЕВА:

— Я бы не стала так резко обобщать, а тем более говорить о гуманности советского периода. Второго Тарковского не будет — и не только потому, что гении рождаются не каждый день. По-прежнему телевидение будет предлагать нам страшилки и примитивные сериалы. В изобразительном искусстве — как бы нам ни мечталось о качественном прорыве — еще долгое время будут идти рассудочные поиски, связанные скорее всего с индустрией, техническими новациями, а отнюдь не духовными. Этот кризис приведет искусство к обновлению. Будет ли оно гламурным, внешним или эволюция все-таки пойдет в гуманном направлении — сказать трудно. Но вряд ли можно говорить о деградации. Именно сегодня у нас много талантливых и преданных России деятелей культуры. Вспомним Пригова: «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей».

Не все умеют пользоваться огромными возможностями художественного рын-

ка. Например, Константин Эрнст — профессионал, один из самых ярких в своей среде. То, что он делает, он делает по заказу художественного рынка.

Л.Н.Толстой в свое время заметил: «У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость и искусственность». Мы отступили и теперь переживаем трагедию нравственности. И дело не в том, что у нас плохие художники или писатели, а в том, что они выполняют заказ времени. Проще заняться эстетизацией общественного идола, чем пропагандировать свой.

Вероятно, задача деятелей культуры, искусства — изменение сути времени, в котором мы живем. Русский авангард был безумно предан революции — правда, так (и не в первый раз) проявилась российская утопия в трагичном XX веке. Кому сейчас преданы художники? Они ответят: искусству, эксперименту. А старшие — неофициальные художники, ставшие классиками, скажут: России.

Способен ли художник изменить что-либо в окружающем мире? Не появившись, скажем, Энди Уорхол, не было бы Нью-Йорка — столицы мировой культуры. Многогранное творчество художника пропитано прославлением и последовательного конформизма, и нонконформизма. Он сам стал олицетворением почти совершенного баланса: радикального бунта против всех конвенций и полного согласия с реально существующим массовым вкусом.

И он, и критики, и художественный рынок — все были охвачены идеей превращения города в Планету Современного Искусства. Это было единое движение, вся политика государства была направлена на это. Нью-Йорк сегодня — средоточие шедевров мирового искусства.

Что произойдет с российским искусством как важной составляющей нашей культуры, я не знаю. Пока нет безусловно яркого имени, или явления, или группы. Но есть Премия имени Кандинского, и там экспонируются последние достижения. Факт отрадный. Идет активный процесс, критики всячески «одевают» творческие новации, вероятно, стремясь прославить себя и своего подопечного. Да и западное искусство у нас представлено, увы, не лучшими образцами. И не только отсутствие средств в этом виновато. Созидание есть, но пафоса, страсти, серьезности мне недостает в произведениях молодых.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Задача превратить Нью-Йорк в столицу мирового искусства была не только государственной программой, но и общей идеей. И осуществилась она через механизм частного, общественного или государственного партнерства. Все работали на это, и потому все удалось.

Мы сетуем, что у нас нет государственной программы, но, когда она появится, мы полностью потеряем автономию учреждений культуры. В последние годы в музейной сфере произошли грандиозные сдвиги, потому что у музеев была автономия. Но когда оказалось, что мы можем сами заработать деньги, тогда прозвучало: «Отдайте деньги и слушайте. Получайте на все разрешение в Москве, в Министерстве культуры». В то время как в развитии культуры очень важно понимание целей, а не бюрократическая постановка задач. Нужна автономия при смешанном финансировании. Существует нормальная схема работы: есть государство, есть частные «доноры» и есть право зарабатывать самим.

Одна из наших национальных бед — комплекс неполноценности, который порождает прежде всего агрессивность: мы такие хорошие, что лучше всех, закидаем всех шапками, из кризиса выйдем сами и без всех обойдемся. Другое порождение этого комплекса — ощущение, что мы плохие и нам нужно у кого-то учиться. Когда я ехал сюда, слушал в машине радио. Прозвучал вопрос: в какой степени музей Пушкина соответствует современным мировым стандартам? Все исходят из того, что есть какие-то мировые стандарты, надо проводить модернизацию. Но российские музеи находятся на самых передовых позициях. Они всегда были, кстати, и в советское время, частью мировой культуры. Однако мы все время впадаем в крайности. Комплекс неполноценности присущ нашей культуре, и на нем играют политики.

Мы должны создать многоцветный мир. Вы, Генри Маркович, говорите, что студенты не знают Мандельштама и Ахматову. А знали их тогда, когда нельзя было даже книжку достать, был самиздат.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Фаддей Булгарин издавался тиражами гораздо большими, чем Пушкин. Со-

брание сочинений Пушкина не разошлось при его жизни. Хотя все понимали, что Пушкин — гений, а Булгарин — нет.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Фаддей Булгарин — хороший писатель, между прочим.

А.Б.КУДЕЛИН:

— У него всего одно произведение прекрасное, но не гениальное, а Пушкин — гений.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— В культуре должны быть какие-то альтернативы. Надо меньше запрещать, но больше предлагать хорошего. Наша отдушина — музейные сайты в Интернете. Мы придерживаемся позиции: не говорите, что Интернет — помойка; покажите, что там есть хорошего. Кстати, музейные сайты посещаются очень хорошо. И в наши студенческие клубы приходит очень много людей. И образованных детей немало. Нужно раскрывать перед человеком многоцветье культуры, ее разнообразие, помогать увидеть всю панораму альтернатив. Иначе формируется однобокое, ущербное представление о мире. К примеру, недавно в «Известиях» было опубликовано интервью председателя Совета русских ученых за рубежом Сафарова. Он совершенно правильно сказал, что есть немало русских ученых, которые уехали за границу и стали успешными предпринимателями, создали технологические компании, стали миллионерами, заработав на науке, на идеях. Почему, говорит автор, вы носитесь с Абрамовичем и никогда не вспоминаете о них? А ведь они столь же богаты, занимают такое же видное положение в обществе. Подобные альтернативные вещи надо видеть. Они поучительны.

Необходимо больше показывать хорошее, и тогда люди будут лучше взаимодействовать.

При этом надо понимать: не все, что называется искусством, есть искусство. И культура делится не на традиционную и современную, а на искусство и коммерческую часть. Учитель не должен заниматься коммерцией — это задача других людей. И нам необходимо понимать, что образование — это не коммерция, оно должно привлекать средства для того, чтобы покрыть свои расходы, но не «делать деньги».

Мы сейчас вместе с Рэмом Колхасом организуем программу «Музей в XXI веке», у нас есть манифест из нескольких пунктов — что мы должны преодолеть в музейной жизни. А преодолеть надо прежде всего идеологию рыночной экономики в ее вульгарном понимании. Экономика учреждений культуры должна существовать, но не главенствовать, не в ней основной смысл. И второе — диктат клиента. Клиент — это государство, общество, посетитель, спонсор. Их диктат в культуре мы должны преодолеть. Искусство существует для развития духовной жизни нынешнего и следующих поколений, а не для наживы. Культура может давать образцы того, как существует нормальная человеческая экономика — без 400 процентов прибыли. 400 процентов — это наша беда. За меньший процент никто пальцем не пошевелит.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Забывая Ленина, который писал о том, что происходит с капитализмом при таком проценте.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Он душит сам себя и порождает кризис, что мы и видим. Культура показывает этику, пример того, что в жизни есть что-то важнее денег, важнее материальных благ, что можно наслаждаться искусством, а не только хорошим вином. Культура — это то, для чего стоит жить. Это не только рабочие места или материал для туристической программы.

Из «железной клетки» — в «резиновую»

В.С.СТЕПИН:

— Диагнозы поставлены. Усиливающаяся коммерциализация культуры повышает опасность ее дегуманизации. Я думаю, что сказанное Михаилом Борисовичем о

противостоянии искусства и коммерческой части культуры относится не только к искусству, но и к другим сферам современной культуры.

Фундаментальная наука тоже не может быть полностью коммерциализована и без государственной поддержки не сможет существовать. Об этом свидетельствует опыт всех современных развитых стран. Они ежегодно увеличивают бюджетные расходы на науку, понимая, что без этого нет перспектив для технологических инноваций и перехода к новому технологическому укладу.

Я разделяю и отстаиваю точку зрения, что обостряющиеся глобальные кризисы требуют новой стратегии цивилизационного развития. В этом случае придется принять во внимание исторические корни и особенности современного типа этого развития, того, который на Западе обозначают как «проект модерн», а я называю «техногенной цивилизацией». Возникает проблема изменения ценностного базиса этого типа развития. И тогда правомерен вопрос, на что в предыдущей традиции следует опереться.

Опорными основами современной культуры стали античный рационализм, Ветхий Завет и идея права. Это ключевые ценностные структуры, которые послужили предпосылками современной (техногенной) цивилизации. Сложилась она в обществах традиционалистского типа, но затем были переработаны и включены в качестве компонентов в духовную матрицу «проекта модерн». Здесь мы имеем дело с исторической преемственностью.

Достижения традиционалистских культур были переосмыслены в эпоху формирования техногенной цивилизации. В них возникли и новые характеристики, которых не было в традиции. Проблема состоит в том, чтобы проанализировать тенденции новых перемен в этих трех сферах культуры.

Если речь идет о рациональности, то это прежде всего проблема ценности научного познания. Наука, бесспорно, останется. Без науки и основанных на ней технологий невозможно будет обеспечить необходимыми жизненными благами постоянно растущее население планеты.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Рациональность — это не только наука.

В.С.СТЕПИН:

— Согласен. Рациональность включена в качестве компонента во все сферы познания. Она есть и в обыденном познании, и в искусстве, и в правовом сознании, и, разумеется, в философии. Но важно еще раз подчеркнуть, что техногенная цивилизация придала научной рациональности особый социальный статус. Наука здесь предстала генератором не только новых производственных, но и новых социальных технологий, меняющих предметную среду, коммуникации и социальные связи.

Сегодня научная рациональность инкорпорирована в сферу политико-правовых отношений. Наблюдаемым фактом являются многочисленные сети научных экспертов, подготавливающих политические решения, широкое использование научных рекомендаций в процессе законотворчества и т.д.

Я не знаю, станет ли лучше политика, если ведущие позиции в ней займут люди искусства, гуманитарии, а решения будут приниматься с доверием к интуиции художника.

В принципе политиков, вышедших из гуманитарной среды, в современном мире достаточно. Некоторые из них занимали высшие государственные посты. Например, киноактер Р.Рейган — президент США, писатель В.Гавел — президент Чехии, переводивший А.Пушкина на французский язык президент Франции Ж.Ширак. Честно говоря, какой-либо гуманизации политики с их приходом не наблюдалось.

Отсюда, конечно, не следует, что преимущество в политике должны иметь ученые-естественники. Политическая деятельность давно стала профессиональной сферой. И успех в ней требует сложной увязки психологических факторов, социальной интуиции и научных расчетов. Без научного подхода сегодня не обойтись, но и к нему все не сводится.

Научная рациональность сегодня ценится прежде всего за продуцирование новых технологий. Ноу-хау стали на мировом рынке ценным и высокодоходным товаром. Возникает новое измерение фундаментальных наук. Ряд их достижений, будучи фундаментальными открытиями, достаточно четко очерчивают поле возможных тех-

нологических приложений. Это касается прежде всего нанонауки, генетики, информатики, исследований мозга. Возникает новая практика патентования. Патентуются не только технологии, но и научные идеи, лежащие в их основе.

Аналогом этой практики, ее своеобразным эмбрионом был случай с изобретением швейной машинки Зингером. Он не стал патентовать саму машинку, а запатентовал технологическую идею — ушко для нитки не на конце, а на острие иглы. И до сих пор любые фирмы, изготавливающие швейные машинки самых разных конструкций, выплачивают наследникам Зингера патентную плату.

В свете этих тенденций становится понятной ущербность тезисов наших реформаторов науки об избыточности фундаментальной науки для России и о том, что необходимые научные идеи можно будет скачать из Интернета.

Но влияние науки на общественную жизнь не исчерпывается ее технологическим компонентом. Научная рациональность как часть культуры активно участвует в формировании сознания людей.

Это участие не всегда очевидно. Оно не лежит на поверхности. Но оно есть и проявляется в формировании глубинных структур организации нашего мышления.

Современная система образования основана на преподавании фундаментальных наук. В этом процессе мы усваиваем не только знания, но и операциональные схемы их производства, методы их обоснования. Это, в свою очередь, формирует ментальные структуры, обеспечивающие логическую правильность рассуждений и аргументированность высказываний.

На эту тему есть блистательные исследования выдающихся отечественных психологов Л.Выготского и А.Лурия. Когда была намечена программа культурной революции в республиках Средней Азии, ее предварительной основой было исследование ментальности народов этого региона. Там по существу сохранились традиционалистские культуры. И необходимо было выяснить, насколько традиционалистское сознание способно к восприятию науки, технологий, новой организации быта, новой системы образования. Выготским и Лурия были разработаны тесты, по которым опрашивались жители кишлаков. Выяснилось, что даже мудрые аксакалы испытывают огромные затруднения при решении задач, требующих рассуждения по схеме простого категорического силлогизма. Спрашивают, например: «Берлин — город в Германии, в Германии нет верблюдов». Вопрос: «Есть ли в Берлине верблюды?» Согласно логике правильный ответ: «Нет». Но ответ другой. «Наверное, есть». «Почему?» — спрашивают. «Город большой?» — «Большой». «Ну так, может, туда таджик пришел с верблюдом или киргиз».

А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ:

— У него иная логика.

В.С. СТЕПИН:

— Я говорю о том же. Другая логика. Она основана на применении уже известного опыта и сведении к нему необычной ситуации. Это сознание не покидает сферу обыденного опыта, не выходит за его границы. Оно следует традиции и новое сводит к традиции. Такой тип мышления не является чем-то ущербным. Он вполне обеспечивает ориентацию в устойчивом социальном мире. Но наука по своей интенции устремлена к поиску нового, и это впечатано в саму структуру научного знания. Обучение наукам, усвоение доказательств и обоснование знаний формирует способность не просто фантазировать о будущем, а мыслить о нем, оперировать абстракциями, не привязывая каждый шаг рассуждения к привычным ситуациям уже обжитого мира.

Показательно, что дети из тех же кишлаков, прошедшие курс обучения математике и началам естественных наук, легко решали те логические задачи, которые вызывали затруднения у мудрых аксакалов.

И еще одно важное обстоятельство. Примерно через десять лет после работы Выготского и Лурия в Средней Азии по их методике известные американские психологи М.Коул и С.Скрибнер провели в 1946 году исследования в Либерии и получили те же результаты. Это было экспериментальное доказательство общности структур мышления у людей традиционных обществ и одно из доказательств того, что эти структуры изменяются в результате обучения наукам.

Сегодня реформы в российской системе образования сокращают в средней школе объем учебных часов по фундаментальным наукам. Мягко говоря, не способствуют формированию того типа сознания, который необходим для будущего разви-

тия науки, а значит, и для создания современного технологического уклада в экономике.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Говоря о роли фундаментальных наук в образовании, включаете ли вы сюда и гуманитарный компонент?

В.С.СТЕПИН:

— Бесспорно. Преподавание истории, русского языка и литературы необходимо как для нравственного воспитания, так и для формирования творческого мышления. К сожалению, эксперименты с обучением привели к тому, что во многих школах литература стала предметом по выбору, и в прессе уже прошла информация о том, что даже в Москве этот предмет выбирают только от 5 до 10 процентов учащихся.

Но я хочу продолжить тему роли рациональности в современной культуре.

В истории техногенной цивилизации идеал рациональности видоизменялся. В период «классического модерна» (Просвещение, первая промышленная революция, эпоха индустриализма) идеалом была целерациональная деятельность, которая требовала особого действующего субъекта. М.Вебер характеризовал эти требования как «железную клетку рациональности» — умение следовать строгому распорядку, соблюдать необходимые правила и нормы, принимать решения на базе объективных данных и рационального анализа, подчиняться только такому авторитету, который узаконен не сакрально, а за счет профессиональных достижений.

Во второй половине XX века, когда в развитых странах Запада сложилось общество потребления, этот идеал начал меняться. Как отмечал английский социолог Эрнст Гелнер, возник новый стиль жизни. Появилось множество людей, ориентированных на потребление, развлечения и поиск легких занятий. «Железная клетка» рациональности, ограничивающая своеволие, воспринимается ими как ущемление свободы. Постепенно «железная клетка» стала превращаться в «резиновую». Соответственно новому стилю жизни сформировался тип сознания, который обслуживался массовой культурой и воспроизводился при ее участии. Я называю его «клиповым сознанием». Для него характерно, что образы, отдельные мысли и фантазии произвольно группируются и системно не организованы.

Клиповое сознание внешне выступает как свободное мышление, но им легко манипулировать, чем успешно пользуются современные СМИ и власть. Люди с этим типом сознания охотно фантазируют, выдвигают и отстаивают собственное мнение (даже игнорируя опровергающую аргументацию), но плохо мыслят. В свое время известный педагог К.Д.Ушинский сказал, что фантазировать легко, мыслить тяжело.

Мне представляется, что увеличивающееся число такого рода людей, формируемых массовой культурой и всем образом жизни общества потребления, было одним из стимулов упрощения процесса образования и снижения планки требований. К этому же толкало стремление социализировать растущее количество выходцев из развивающихся стран, привлекаемых странами Запада в качестве дешевой рабочей силы. Знаменитый Болонский процесс в области высшего образования также был стимулирован этими задачами.

Сказанное не значит, что Запад обречен на исчезновение высоких стандартов рациональности и научно-технологическое отставание. Задачу поддержания высокого уровня образования решают элитные университеты. Кроме того, наличие достаточно больших средств и развитой инфраструктуры научной деятельности позволяет привлекать и ассимилировать перспективных ученых из любых регионов планеты. Но для нас этот путь закрыт. Мы не столь богаты, и уровень жизни у нас намного ниже, чем в развитых странах Запада. А посему наша страна менее привлекательна для постоянной работы и жизни. Но главное, что за годы российских реформ произошло разрушение инфраструктуры научных исследований (оборудование, приборы, обустройство лабораторий и т.п.). Многие ее необходимые звенья просто уничтожены (особенно в прикладной науке), и их требуется создавать заново. Так что надеяться нужно не на варягов, а на собственные силы. Но здесь возникают новые трудности.

Начав реформы, мы стали имитировать стиль жизни общества потребления. Имитировали, не имея ни соответствующего уровня накопленного богатства, ни высокой производительности труда. Но в чем преуспели, так это в распространении

массовой культуры, причем далеко не лучших ее образцов, в формировании соответствующего типа массового сознания. В обществе получили хождение многообразные оккультные верования, псевдонаучные построения, активно пропагандируемые телевидением, гадалки, прорицатели, колдуны.

Понижение уровня рациональности в культуре не создает благоприятного климата не только для науки. Недостаточно взвешенные и обоснованные решения стали все шире распространяться в самых разных видах деятельности. Эпиграфом времени стало знаменитое черномырдинское «хотели как лучше, а получилось как всегда».

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Рациональность важна, но она не решает всех проблем регулирования социальных процессов.

В.С.СТЕПИН:

— Согласен. Это и моя точка зрения. В культуре как генетическом коде воспроизводства и развития социального организма есть два четко выраженных слоя: один работает на сохранение, на воспроизводство того, что должно быть устойчиво, второй — на то, что инновационно, должно меняться, может дать материал для будущего развития. Эти два слоя должны быть сбалансированы. Наука, например, больше относится ко второму слою, потому что она предполагает постоянные открытия и инновации. Религия же акцентирует то, что хранит устойчивые признаки социальной жизни. Если те же десять заповедей отбросить как идеалы, наступит кошмарная жизнь, общество будет разрушено. Это то, что должно воспроизводиться. Вопрос — в какой форме? Это может быть религия, но может быть и ее идеологический аналог.

В советский период функции своего рода квазирелигии выполняла марксистская идеология. Еще после революции 1905 года А.Луначарский сформулировал тезис, что рабочий класс не освоит всей сложности марксистского учения как науки. Марксизм надо упростить и преподнести массам в качестве замены религии: «Марксизм — это религия рабочего класса». В.Ленин раскритиковал этот тезис, но практика советской эпохи по существу реализовала идеи Луначарского.

В современной России после крушения советской идеологии ее место вновь стала занимать религия. Сегодня православие активно претендует на доминирующую роль в нравственном воспитании народа. Но, чтобы успешно выполнить эту функцию, церкви нужно решить ряд задач. В частности, избежать конфронтации с наукой, чтобы не стали нормой известные случаи с нападками на эволюционное учение Ч.Дарвина. И конечно, важно продолжить российскую традицию толерантности по отношению к другим религиозным конфессиям.

Религиозное сознание — это особый слой культуры, обеспечивающий воспроизводство социальной жизни. Учитывая грядущие цивилизационные перемены, важно выявить тенденции взаимодействия различных религий как особого аспекта диалога культур. Конечно, поддержание традиций не только дело религии. В науке тоже есть свои традиции. Речь идет о том, что в балансе наследственности и изменчивости социальной жизни наука больше связана с процессами изменчивости, а религия с устойчивым воспроизведением социально-нравственных оснований, без которых общество в принципе не сможет существовать.

Следует отметить, что искусство включает обе функции. Оно поддерживает традицию, но вместе с тем генерирует новые направления и стили, переосмысливающие ее.

Культуры: конфликт или диалог?

В.С.СТЕПИН:

— Сегодня интенсивно разворачивается процесс глобализации, и возникает проблема — как будут взаимодействовать разные культуры, основанные на различных правовых системах и идеалах права. Это один из важных аспектов диалога культур. Для России проблема правового общества особо важна. Это одновременно проблема формирования правовой культуры населения.

Театры, музеи — это высокий слой культуры, который, бесспорно, воспитывает

людей. Но есть еще и более простые и непосредственно организующие повседневную жизнь феномены культуры. Это образцы поведения и деятельности. Вы можете принять любые законы, самые хорошие, но если вы не создадите необходимых образцов правового поведения, законы не будут выполняться.

Сложность решения этой проблемы имеет свои исторические корни. Российское государство строилось как объединение разных народов. Большинство из них было завоевано, некоторые вошли в состав России добровольно. Но условие вхождения было одно — они будут жить по своим обычаям.

Г.М.РЕЗНИК:

— Самая мягкая империя была.

В.С.СТЕПИН:

— Да, и поэтому она сохранила все культуры и народы. Но плата за такое строительство государства тоже была. Это отсутствие единых образцов правового поведения. Обычаи имели приоритет перед законами государства.

Даже в советский период, несмотря на достаточно жесткую карательную систему, существовали обычаи, явно противоречащие законодательству. Например, обычай кровной мести на Кавказе, практиковавшееся в среднеазиатских республиках традиционное для ислама многоженство.

И еще об одной исторической особенности российского государства. В нем важнейшую роль играла вертикаль власти. При ее ослаблении начиналась смута, возрастал сепаратизм на местах, начинался распад государства. Основой вертикали власти долгое время было самодержавие. Государь издавал законы, но сам законам не подчинялся. Он был сакральной фигурой, воспринимался как «помазанник Божий», а поэтому стоял над человеческими законами.

Символическая фигура первого лица была культурным кодом российской государственности. Эта символика сохранялась в культуре и сознании народа как устойчивая традиция. Царя-батюшку в советский период заменил генеральный секретарь, а в современной России — президент. И хотя сакральность символической фигуры президента сегодня постепенно размывается, по-прежнему в сознании очень многих людей он воспринимается как последняя и даже единственная инстанция справедливости. Граждане до сих пор пишут различные жалобы и предложения прямо президенту, как в свое время писали челобитные государю или обращения генеральному секретарю. Надеются, что «вот приедет барин — барин нас рассудит».

В общественном сознании пока не сложилось устойчивое отношение к первому лицу как к чиновнику, нанятому обществом для выполнения определенных функций. В этих условиях особо важными становятся образцы правового поведения первого лица и его ближайшего окружения. В период ельцинского правления о таких образцах можно было только мечтать. Сегодня ситуация несколько изменилась. И когда В.В.Путин, несмотря на многочисленные просьбы, отказался изменить Конституцию и выдвинуть еще раз свою кандидатуру на новый срок, то был создан прецедент, который уже нельзя игнорировать.

Конечно, формирование образцов правового поведения не сводится только к подобным прецедентам. Их нужно сформировать на уровне обычной, повседневной жизни. К сожалению, в современной России образцы правового поведения еще не получили широкого распространения. И это должно стать главной проблемой для власти и СМИ. Четвертая власть пока не имеет продуманной политики в поддержку права и закона. Есть погоня за сенсациями и рейтингами. Телевидение сообщает массу новостей о несправедливых судах, о ситуациях, когда человек, явно нарушивший закон, уходит от ответственности. Но вместе с тем практически отсутствует информация о том, как отреагировала власть на сообщение СМИ о нарушении закона.

Без поддержки права, правовых норм, создания системы их гарантий мы не решим задачи преодоления правового нигилизма, какие бы хорошие законы ни принимались.

Я солидарен с подходом, согласно которому правовая культура теснейшим образом связана с идеалом личности. Различие в этих идеалах проявляется, в частности, в разном отношении к идее прав человека. Эта идея возникла и укоренилась в новоевропейской культуре, развивалась по мере преодоления негативного опыта

своеволия монархии, религиозных войн и тоталитаризма XX века. И сегодня права человека следует рассматривать как цивилизационное завоевание, которое важно не утратить в эпоху перемен и поиска новых путей цивилизационного развития.

Вместе с тем множество современных государств, осуществивших модернизацию и вставших на путь техногенного развития, сохранили в культуре характерные черты традиционалистского понимания личности. Права человека в этих культурах не занимают приоритетного места. Доминирующей ценностью выступают права народа.

Разумеется, совсем не способствуют укоренению прав человека «геополитические игры» Запада, когда под предлогом соблюдения прав человека нарушаются нормы международного права и устраиваются гуманитарные катастрофы, как это было в Косово и Ираке. Найти баланс между правами народа и правами человека — одна из ключевых задач международного права эпохи глобализации. Это же представит и важнейшим аспектом развития современной правовой культуры.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— На международном уровне наибольшую озабоченность вызывает столкновение, конфликт между мусульманской и западной культурами в самом широком смысле. Как вы его видите, как его интерпретируете, существует ли он, на ваш взгляд, или это вообще некая фикция?

А.Б.КУДЕЛИН:

— У нас иногда говорят абсурдные вещи, например: «Колумб открыл Америку». Можно открыть Антарктиду — там живут пингвины. А в Америке существовала древнейшая цивилизация, намного древнее европейской. Племя, которое встретило Колумба, было полностью уничтожено европейцами. С христианским крестом можно такое натворить...

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Это дикий порок наших цивилизаций — ментальность. Кто-то поднялся на Эверест, его на руках несли десять шерпов. И такого «покорителя вершин» провозгласили героем.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Открытие Америки — это нонсенс, у нас в Институте мировой литературы, в Российской академии наук давно используется термин «встреча цивилизаций»... Что такое Крестовые походы? Это страшное варварство, дикость, грабительские действия.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— С другой стороны, это объединение Европы. Европе надо было объединяться, а на какой основе? Нужно было придумать общего врага.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Против кого дружить.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Отсюда идея: мусульмане — враги. Хотя мусульмане особого зла христианам не причиняли, жили себе на своей территории, регулярно разрушали Гроб Господень. Более того, на Востоке всем жилось спокойно, там не было настоящего повода для конфликтов. Был другой повод: богатые страны Востока и бедные европейцы — голодные, но с мечами. И европейцы объединились, придумали себе врага. Это целая история — как создавалась пропаганда в защиту Гроба Господня и против «неверных». А по дороге попутно родился настоящий активный европейский антисемитизм. Когда потребовались деньги, стали вырезать евреев на всей территории Европы, начались первые погромы. Потом добрались и до настоящих неверных — мусульман. И вот европейцы уже не понимают: а что в действительности они-то делали?

А.Б.КУДЕЛИН:

— Есть еще одна принципиальная вещь: иудео-христианско-мусульманская модель мира. В Средиземноморье существует идея единобожия, одного Бога. Мусульманство и христианство не есть противостоящие друг другу системы. Это практически одна и та же система: векторное время, психологизм и пр.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Однако в этой системе ветви сильно разошлись.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Но они все-таки ближе между собой, чем, скажем, буддизм, синтоизм и пр. Я прошу вас учесть, что здесь все зависит от того, насколько мы углубляемся в эту проблематику. Например, для шиитов сунниты часто большие враги, чем христиане.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Ошибочная поговорка — «Если долго говорить «халва», во рту слаще не станет». Станет. Если будем без конца говорить о конфликте цивилизаций, то он возникнет. Какой ислам был на Северном Кавказе? Я там работал, во всей округе только один человек мог по-арабски говорить — я. Постепенно в ходе противостояния там появились фанатики, вроде бы болеющие за ислам. Потом ваххабиты задавили традиционную веру. Теперь мы получили противостояние с исламом. Так мы можем обрушить всю нашу страну: Поволжье, Сибирь...

А.Б.КУДЕЛИН:

— Ортодоксальный ислам — союзник христианства.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Мы постоянно навязываем, устраиваем борьбу цивилизаций. Это как с классовой рознью: если все время создавать напряжение, то оно выливается в хватание за глотки и классовую резню. Это большая опасность.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Очень важна толерантность, тем более что Россия — многоконфессиональная и многонациональная страна. Необходима толерантность, основанная на знании другого. Чем лучше ты знаешь соседние народы, их религии, тем меньше будет возникать противоречий. Незнание порождает вражду.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Есть одна проблема, которую не решить даже при наличии толерантности и всеобщего знания. Вот, допустим, политика царского правительства в России: люди любой религии могут прийти в страну, жить в своей культуре, молиться своим богам, но до некоторого предела. А дальше, за таким-то пределом, вы должны жить по нашим законам.

Но наступает момент (по-моему, Франция и Германия к нему уже близко подошли), когда демократические механизмы используются для резкого изменения ситуации. Может произойти культурное опрокидывание, когда этнос, который не является коренным, становится многочисленным и говорит: «А теперь вы будете жить по нашим правилам, теперь мы вам устанавливаем границы возможного». И возникает конфликт. Сначала «новое большинство» говорит: «Мы хотим ходить в школу в чаддре». И демократическим механизмом это желание узаконивают. А потом заставляют носить чадру тех, кто ее не носил. Эта ситуация вызывает страх, мобилизуется вековой механизм «свой-чужой»: чужие к нам пришли и собираются жить по своим законам, а не по нашим. Толерантность здесь уже не срабатывает.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— Это издержки примитивного понимания демократии. Демократия — это большинство. Когда оказывается, что большинство — это ХАМАС или сторонники Махмуда Ахмадинежада, марокканцы или алжирцы, приехавшие во Францию, западные демократы не знают, что делать.

Есть русский рецепт. Он непростой. Когда в Казани праздновалось тысячелетие города, Петербург хотел подарить памятник Петру I, но нам ответили: «Не возьмем. Вот если бы памятник был Екатерине...». Петр ведь всех заставлял обращаться в христианство, запрещал помещикам-мусульманам владеть крестьянами и т.д. Екатерина сделала по-другому, ввела систему управления, удобную мусульманам. Ее система работала: «Вы внизу живите свободно по своим законам, а дальше выходите на общие». Законы — не русские, а законы Российской империи — общие для всех. Этот механизм работал и при советской власти. По нему весь Советский Союз был построен. Основные принципы этого механизма — свобода и культура до определенного предела. Сейчас издаются целые тома разных документов на эту тему. Интересно, как это на самом деле работало. В гвардии были не только священники, но и муллы, и раввины. Сейчас мы создаем европейский ислам. Каким должен быть

ислам в Европе? Мусульманам предоставляется возможность выбора и создания чего-то своего. Нельзя их загонять в угол.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Если бы в России не было этой толерантности, мы бы не знали Рахманинова, Карамзина, Тарковского... Если люди, которые исповедуют другую религию, не могут подняться по социальной лестнице, если сразу сказать, что нельзя, тогда, конечно, возникнет конфликт цивилизаций. Если же у людей независимо от цвета их кожи, происхождения и прочего у них будет возможность работать на благо всей страны, сразу все нормализуется. Критерием здесь служит не вероисповедание, а профессиональная пригодность.

М.Б.ПИОТРОВСКИЙ:

— И еще один важный рецепт — доверие. Выходцы с Кавказа служили в императорском конвое — высшее доверие.

Сам факт существования в мире многих культур предполагает умение человека участвовать в диалогах культур, не превращая их в конфликты. Более того — современный культурный человек должен уметь жить практически одновременно в нескольких разных культурах: локальных и профессиональных, национальных, в глобальной культуре. Таков пафос проводимых нами ежегодно Международных Лихачевских научных чтений, одна из центральных мыслей которых заключается в том, что, вырастая в той или иной культуре, мы должны усматривать в других культурах не чуждое и враждебное, а интересное и обогащающее нас.

В России существует огромный массив различных пластов и сфер культуры, весьма непросто соприкасающихся между собой. Отсюда и сложное выстраивание результирующего вектора развития культуры.

Диалог культур — очень важная часть нашей сегодняшней жизни и некая возможность компенсации многих худых вещей, происходящих в ней. Так, например, самая главная проблема современности — глобализация во многих аспектах (политических, экономических, культурных и др.) — связана с неумением наладить диалог культур.

Это то, что прокликает весь мир. Компенсировать вред, который причиняет глобализация (а она, конечно, его причиняет), мог бы правильно построенный диалог культур, потому что таким образом защищаются особенности культур и появляется возможность уравнивания, гармонизации. В какой-то момент казалось, что все легко — есть некий набор общих ценностей, который мы все разделяем, и нужно лишь пообщаться, чтобы договориться, и тогда мы будем думать и говорить примерно одно и то же, и всем будет хорошо... Но так не будет никогда.

Сегодняшний диалог в разных формах строится на четком понимании: есть то, что разные культуры никогда не согласятся воспринять, и есть другое — то, что можно принимать, или соглашаться с ним, или хотя бы относиться терпимо, потому что всем нужно мирно сосуществовать.

Параллельно в разных сферах — и в культурной, и в религиозной, и в других — идет процесс воспитания людей: культурно-религиозные институты во многом сейчас выполняют одну и ту же задачу воспитания народов и создания общих основ для будущих поколений. Становится понятно, что от догматов отходить нельзя, но нужно четко и ясно говорить о том, в чем мы различны.

Культурный диалог — это прежде всего сохранение культурного наследия, и русская традиция может подсказать, на чем должно строиться единство и разнообразие стран мира и что должно быть стимулом для развития поколений.

Известно, что протестантская этика — основа капитализма, который без нее нигде не развивается, а поскольку ее нет в большей части света, то и, так сказать, неудачи капиталистического развития там очевидны. Думаю, что вместо протестантской этики таким стимулом развития может служить, во всяком случае в России, наше культурное наследие, которое вполне способно стать основой воспитания людей с помощью культуры и некоторого улучшения нашего общества.

Русский рецепт сложных взаимоотношений в культуре, мне кажется, достаточно хорошо проявился именно на мусульманско-православных отношениях в России. Тут можно много говорить и о периоде существования Золотой Орды, когда рядом с

этой великой тогда державой существовали мелкие, обособленные русские княжества, которые в военном и невоенном общении с ней выросли в огромное, единое русское государство, в которое потом влилась и сама Золотая Орда.

Православному ребенку не обязательно знать основы шариата, а ребенку из мусульманской или атеистической семьи не нужно, наверное, знать основы православия. Но и тем и другим обязательно нужно изучать основные вехи исторического, в том числе религиозного, развития разных народов. Так, каждый должен знать, что такое Халкидонский или Стоглавый соборы, кто такой Мухаммед и Иисус Христос и т.д. Есть целый ряд важнейших событий в истории всех религий, которые мы должны знать, если живем в стране, где эти религии существуют. Все идеологии и споры должны строиться не на страхе, а на истине.

Диалог культур не должен основываться на провокациях. В какой-то мере это можно назвать грехом интеллигенции, которая немного способна сделать в мире, но вполне в силах «подливанием масла в огонь» превращать локальные конфликты в глобальные, как это уже неоднократно случилось в нашей истории.

Нам всем нужно научиться жить без страха и провокаций.

Надо осмыслить и нашу практическую жизнь. Речь идет, с одной стороны, о культурном наследии и его развитии, с другой — об иной культуре, культуре экономики и денег. Эти две культуры существуют сейчас повсеместно и везде находятся в конфликте, в том числе и у нас в стране. Россия живет в атмосфере явно выраженного конфликта этих двух культур. Сталкиваются культура наследия и культура денег. Культура наследия полагает, что культурное наследие является национальной идеей, смыслом жизни народов и цивилизаций. Для культуры денег смысл развития общества — деньги. Для культуры наследия наследие свято, а вот для культуры денег сверхдоход или, наоборот, дешевизна, удобство, комфорт — это самое главное, это и есть святое. В культуре наследия наследие является критерием — как различающим, так и сближающим людей. В культуре денег идет эксплуатация наследия. Главное — доход как критерий успеха.

В культуре наследия есть экономика наследия — вполне развитая структура того, как экономически существует наследие. Как оно само себя содержит. В культуре денег существует эксплуатация наследия, которая может и уничтожить его ради выгоды. Что главнее: наследие или деньги. Это вопрос принципиальный, системообразующий. Там, где наследие главенствует, экономика развивается успешно. Там, где деньги берут верх, они действуют как разрушительная сила. Только культурное наследие создает подобие протестантской этики, которая может способствовать развитию экономики. В культуре наследия вырабатываются жесткие правила его сохранения наследия постоянно меняются, приспособляясь под сиюминутную выгоду. Стилистика и этика культуры наследия — это смирение перед ним, перед будущим как продолжением прошлого, перед великими явлениями. В культуре денег стилистика и этика — как захочу, так и сделаю, если у меня есть деньги.

В стране уже много символов победы той и другой культуры, много проявлений конфликта. А настоящего диалога не ведется. Между тем есть вполне нормальные рецепты диалога, которые могут привести к выходу из этой ситуации. Необходима дискуссия, сопоставляющая разные позиции, и попытка выработать решения, отлично понимая разницу между культом денег и культом культуры. Но деньги должны быть средством решения задач, стоящих перед страной. Они не могут стать целью.

Возможное будущее

В.С. СТЕПИН:

— Тезис, высказанный Михаилом Борисовичем, о противоречии между культурой наследия и культурой денег подтверждается множеством ситуаций современной жизни. В его выступлениях на нашей дискуссии была сформулирована также идея о необходимости подчинить экономику культуре. Эти мысли важны, и их следует обсудить более подробно. В принципе современная экономическая наука не рассматривает экономику как совершенно автономную сферу жизни общества. В современных экономических теориях обязательно принимается во внимание социокультурный

фактор. Все Нобелевские премии по экономике последних лет присуждены за такие экономические теории, которые учитывают особенности культуры.

Г.М.РЕЗНИК:

— Культура — фактор развития экономики.

В.С.СТЕПИН:

— Но значит ли это, что пересмотрен принцип главенствующей роли экономики в жизни современного общества? Нет, не значит. Анализ социокультурной среды и ценностных ориентаций осуществляется в современных экономических теориях под особым углом зрения: как выявлять условия, наиболее благоприятные для экономического роста, как использовать культурные факторы для увеличения прибыли и как формировать для этой цели соответствующую социальную и культурную среду.

Экономика здесь по-прежнему рассматривается как основа социального развития. Однако сам принцип главенства экономики не оторван от культуры. Он имеет социокультурные предпосылки: возник и развивался в соответствии с особенностями базисных ценностей техногенной цивилизации.

Понимание природы, человека, его деятельности, понимание рациональности, предполагающее самоценность научных и технологических инноваций, идея увеличения власти человека над природой — все эти мировоззренческие установки, составляющие духовную матрицу техногенных обществ, определили стратегии экономической жизни. Эпоха индустриализации, начатая первой промышленной революцией, реализовала эти стратегии. Возникли многообразные практики ускоряющегося экономического развития на путях технологического обновления производства.

Попутно отмечу, что материалистическое понимание истории К.Маркса представляло собой теоретическое обобщение этих практик. Его теория общества была порождением культуры индустриальной эпохи. Успехи индустриального развития укрепляли веру в социальный прогресс и возможность добиться неуклонного роста потребления на путях внедрения в производство научно-технических достижений. Эту идею в различных вариантах и аспектах развивали многие мыслители XIX века (Ш.Фурье, А.Сен-Симон, его ученик, создатель социологии О.Конт и др.). В концепции К. Маркса она была включена в обоснование коммунизма как высшей стадии человеческой истории, закономерно возникающей в результате научно-технического развития цивилизации.

Во второй половине XX века в экономически развитых странах Запада возник особый вариант капитализма — общество потребления. Основной принцип экономики этого общества гласит: «Чем больше мы потребляем, тем это лучше для экономики». Потребление порождает спрос, спрос стимулирует новый виток экономического развития. Возникает система с обратной связью. Удовлетворение спроса порождает новый спрос, что обеспечивает рост экономики.

В середине XX века западные теоретики рынка, социологи и философы обосновывали этот принцип как выражение справедливости. Известная концепция Д.Роулза соотносила идею регуляции социально-экономического неравенства с повышением уровня потребления «низших страт» общества и возможностью подтягивать их до уровня среднего класса благодаря новому циклу наращивания общественного богатства.

Идеологами рынка были предложены механизмы повышения потребительского спроса. Виктор Лебов, один из исследователей и пропагандистов свободного рынка, еще в середине XX века писал, что необходима особая система человеческого сознания, направленная на повышение потребительского спроса. Наряду с расширением рекламы Лебов полагал так изменить пропаганду рынка в СМИ, чтобы приучать людей выбрасывать, портить, сжигать уже привычные купленные вещи, постоянно менять их на новые. Это выгодно для экономики. Кстати, сегодня эта установка практически реализовалась. Многие производители товаров намеренно так упрощают технологии, чтобы товары быстрее изнашивались и у потребителей был стимул покупать новые.

Понятно, что такая система экономики может развиваться, только поглощая все больше природных ресурсов и увеличивая масштабы загрязнения окружающей среды.

Второй механизм повышения спроса связан с расширением практики дешевого кредитования. Это жизнь в рассрочку, в долг.

Во второй половине XX века широкие масштабы приобрело кредитование не

отдельных лиц, а корпораций и стран. Расширяющийся обмен валют и биржевые спекуляции превратили деньги в особый товар. Возник посредник при обмене этого нового товара — мировая валюта. Им стал доллар США. И тогда изготовление этого нового товара стало источником прибыли. На рынке появилась огромная денежная масса, не обеспеченная товарами и услугами. США, увеличивая эмиссию доллара и выпуск государственных долговых бумаг, получили возможность кредитовать сами себя, постоянно наращивая уровень потребления. Возник феномен супердержавы, обладающей огромной военной мощью, которая живет в кредит. Долг США сегодня составляет больше 11 триллионов долларов. Тем не менее это государство продолжает политику увеличения бюджетного дефицита, наращивая расходы и обеспечивая рост потребления.

Но жить в долг — значит жить за счет будущих поколений. В результате принцип «Чем больше мы потребляем, тем это лучше для экономики» перестает быть справедливым. Как регулятор экономического развития он был санкционирован логикой техногенной культуры. Однако сегодня этот принцип проблематизируется.

Известный футуролог Э.Ласло в своей книге «Макросдвиг» (на рус. яз. М., 2004) отмечает, что новые стратегии развития цивилизации должны быть связаны с отказом от этого принципа. Таким образом, чтобы ограничить всевластие культуры денег, придется изменить ценности, на которых эта культура основана. А это вновь возвращает нас к проблеме трансформации базисных ценностей техногенной цивилизации.

Г.А.ГАДЖИЕВ:

— Михаил Борисович Пиотровский считает одним из основных противоречий современной российской культуры конфликт между культурой денег и культурой традиционных ценностей. Да, довольно долго деятельность купца, торговца, ростовщика характеризовалась как «греховная». Фома Аквинский даже считал, что профессия купца несет на себе печать морально-этической неполноценности. Много столетий прошло, прежде чем в «современной культуре» (я пользуюсь термином Александра Сергеевича Запесоцкого) была преодолена неприязнь к личности инициативного предпринимателя.

Истории известен парадокс: ветхозаветное утверждение о греховности богатства стало одним из источников для атеиста Карла Маркса с его мессианскими поучениями о новой социальной справедливости. Есть мнение, что мотив зависти соблазнил социализм избрать для борьбы с бедностью не экономический рост, а всеобщее перераспределение общественного продукта.

«Современная культура» исходит из того, что идея конкуренции носит всеобъемлющий характер, не ограничиваясь только сферой экономики. А ведь в основе конкуренции лежит приемлемый для общества эгоизм! Карл Шмитт в книге «Духовно-историческое положение парламентаризма» писал, что это общеизвестный факт: из свободной хозяйственной конкуренции частных индивидов, свободы договора, свободы торговли сама собой в результате конкуренции получается социальная гармония, влекущая наибольшее возможное изобилие. Но это только один из случаев применения всеобщего либерального принципа, поскольку и из свободной борьбы мнений возникает истина как гармония, которая сама собой образуется в результате соревнования.

По мнению К.Шмитта, в этом заключено духовное ядро данного мышления вообще, его специфическое отношение к истине, которая становится простой функцией вечного соревнования мнений. По сути дела при такой культуре мышления происходит отказ от окончательности результата. Свобода слова, печати, собраний и дискуссий тесно переплетена со свободой конкуренции в экономической сфере. Выходит, что без подлинного, а не маскарадного парламентаризма не могут эффективно развиваться производительные силы.

В русле этого размышления вопрос «Куда идет российская культура?» приобретает чуть ли не всеобщий характер. Это ведь не только судьба театров, искусства, образования, что обычно подразумевается под культурой. Ответ на этот вопрос предполагает необходимость охватить размышлениями состояние российской политической и правовой культуры. Недостаточно ограничиваться утверждениями о том, что российская правовая культура не приемлет либерализм, что она построена на соборности, на приоритете коллективного начала. Да, реально это действительно смесь «гуманизма и варварства». Нам важнее сейчас говорить о третьем пласте

правовой культуры. Тем более что в Конституции России зафиксировано официально, какой она должна быть.

Многие, наверное, будут удивлены, узнав, что только в первых двух главах Конституции Российской Федерации из девяти слова «свобода» и «свободный» использованы 30 раз! Это самое популярное слово в Основном законе. Есть статьи, где эти слова используются дважды и трижды (ст. 8, 28, 29, 55, 56).

Таким образом, самый важный юридический акт определяет роль свободы в жизни людей. При этом Конституция исходит из того, что свобода дана людям самой Природой, это не результат вредного вольнодумства анархистов-одиночек. Свобода связана с природой человека разумного, то есть существа, способного делать осознанный выбор.

Свобода — это то, что дает людям действительное счастье, это наивысшее жизненное удовольствие.

Свобода — понимаемая не как вольница, царство анархии и вседозволенности — предполагает всестороннее развитие позитивного права, детального и всестороннего нормативно-правового регулирования. В самой свободной стране — как иногда считается, хотя вряд ли это так на самом деле, — существует столько нормативно установленных ограничений, что нам даже трудно представить. Свобода вполне согласуется и даже предполагает очень интенсивное правовое регулирование.

Конечно же иметь развитую, детализированную законодательную базу — только полдела. Нормы права должны стать реальностью, эффективно регулируя поведение людей. Под воздействием законов вольница превращается в свободу. Непрерывно повторяясь, нормы права становятся нравами в том смысле, что они исполняются не под страхом наказания, а как само собой разумеющееся правило поведения.

Вот почему, отвечая на всеобъемлющий вопрос «Куда идет российская культура?», я как человек, постоянно находящийся в правовой действительности, прежде всего сказал бы, что она не должна вольно и неосознанно идти куда глаза глядят. Культуру надо вести за руку. А направление движения — в сторону культуры свободы.

А.Б.КУДЕЛИН:

— Толща веков обязывает нас обсуждать эти проблемы в широком временном контексте. Хотя Ларошфуко говорил, что философы смеются над прошлым и предвосхищают будущее, но беды настоящего смеются над философами.

В.С.СТЕПИН:

— Были и такие философы, которые предвидели беды настоящего. Кстати, в философии русского космизма можно зафиксировать обоснованные предсказания экологического кризиса, и сделаны они были задолго до наших дней, в эпоху, когда научно-технический прогресс завораживал всех идеей возрастающего контроля человека над природой.

Обсуждая проблему, куда идет российская культура, мы говорим о возможном будущем культуры и цивилизации. Как всегда бывает при дискуссии на столь глобальные темы, в рассуждениях всех участников присутствовал философский компонент. Надеюсь, новых бед в настоящем мы не наделали, да и в будущем тоже.

С самого начала мы определили широкий масштаб обсуждения проблемы. Мы пришли к согласию, что судьбы российской культуры не могут быть отделены от судеб мировой культуры и что наиболее приемлемым сценарием развития мировой культуры и цивилизации на современном этапе выступает не односторонняя экспансия ценностей какой бы то ни было культуры во все регионы планеты, а диалог культур.

За последние полвека перемены в технологиях, окружающей человека предметной среде, образе жизни, судьбах народов протекали в режиме с обострением. Приобрели планетарный характер кризисы, вызванные развитием техногенной цивилизации. В человеческой истории ранее не было таких этапов, когда возникала реальная опасность деградации и гибели не отдельных народов, империй и культур, а всего человечества. Опасности ядерной катастрофы и разрушения основ цивилизации уже достаточно проанализированы. С развитием технологий они обострились, а рост терроризма значительно усиливает эти опасности.

Возрастающие риски ставят под вопрос традиционное для техногенной культуры отношение к научно-технологическим инновациям как к самооценности. Это одно из главных проблемных направлений цивилизационного развития. Важно выявить,

существуют ли в рамках этого развития тенденции к формированию новых ценностных ориентиров.

А.С.ЗАПЕСОЦКИЙ:

— Вы видите их? В чем они состоят?

В.С.СТЕПИН:

— Они зарождаются внутри современной науки. Можно выделить две главные особенности науки, которые отличают ее от других форм человеческого познания. Первая состоит в ее нацеленности на исследование объектов, которые актуально либо потенциально могут стать предметами человеческой деятельности. Наука ищет закономерности, которым подчиняются эти объекты. Она как царь Мидас из древней легенды, который к чему бы ни прикоснулся — все становилось золотом. К чему бы ни прикоснулась наука — все для нее объект. Она может сделать предметом изучения любые фрагменты, аспекты и феномены мира: природные, социальные, человека, его деятельность, культуру, состояния человеческого сознания. Ко всему, что включено в сферу исследования, она относится как к объекту, подчиняющемуся определенным законам.

Конечно, такой подход не исчерпывает многообразия человеческого бытия. Поэтому при всей важности науки она не может заменить собой других форм человеческого познания и всего многообразия культуры.

Вторая характерная особенность науки — способность изучать объекты, не ограничиваясь только теми, которые включены в имеющиеся виды деятельности. Наука постоянно выходит за границы производства и обыденного опыта своей исторической эпохи и способна исследовать объекты, практическое освоение которых возможно лишь на будущих этапах развития цивилизации.

С этими двумя фундаментальными характеристиками научного познания органично связаны особенности ее средств, методов, производимых ею знаний как продукта научной деятельности, а также специфика внутреннего этоса науки. В его основе лежат два главных регулятива: установка на поиск объективного истинного знания и установка на постоянное наращивание такого знания (ценность новизны). Отсюда и два основных этических запрета, о которых я уже упоминал: на умышленное искажение истины в угоду тем или иным социальным мотивам и на плагиат.

Развитие науки долгое время основывалось на достаточности этих этических регулятивов. Они рассматривались как одно из выражений гуманистических ценностей, поскольку открытия науки и последующие технологические инновации полагались улучшающими человеческую жизнь, а значит, и соответствующими гуманистическим идеалам. Но в современную эпоху ситуация изменилась. В орбиту научного исследования были втянуты объекты, представляющие собой сложные саморазвивающиеся системы. Постепенно они стали доминировать на переднем крае науки. Примерами таких систем являются биологические объекты, рассматриваемые с учетом их эволюции, социальные объекты (общество и его подсистемы, в том числе и культура), взятые в их развитии, объекты современных нано- и биотехнологий, компьютерные сети и глобальная сеть — Интернет и т.д.

Саморазвивающиеся системы способны усложняться в процессе эволюции, в них возникают новые уровни организации, которые затем оказывают воздействие на ранее сложившиеся уровни систем и видоизменяют их.

Поскольку культура может быть представлена в качестве целостной развивающейся системы, методология ее изучения предполагает применение соответствующих системных представлений и идей.

Деятельность со сложными развивающимися системами имеет свои особенности. Она не является чисто внешним фактором по отношению к системе, а включается в нее в качестве компонента, актуализируя одни сценарии развития и понижая вероятность других. Но тогда развивающиеся системы становятся человекообразными. При их изучении важно выявить сценарии, которые могут иметь негативные последствия для человека, чтобы в эти ловушки не попадать. Такая оценка сценариев означает, что только внутреннего этоса науки уже недостаточно. Необходимо каждый раз соотносить требование поиска истины с гуманистическими идеалами, корректируя внутренний этос науки дополнительными этическими регулятивами. Такого рода корректировка сегодня осуществляется в форме социально-этической экспертизы научных и технологических программ и проектов.

Наука остается наукой. Ее фундаментальные установки поиска истины и роста

истинного знания незыблемы, и социально-этическая экспертиза вовсе их не отменяет. Наоборот, она предстает как условие реализации этих установок. Это точка роста новых ценностей, возникающих в науке в рамках современной культуры. Не отказ от науки, а ее новое гуманистическое измерение предстает одним из важных аспектов поиска новых стратегий цивилизационного развития.

В этих изменениях научной рациональности открываются также новые возможности диалога культур. Многие из того, что новоевропейская наука ранее отбрасывала как ненаучные заблуждения традиционалистских культур, неожиданно начинает резонировать с новыми идеями переднего края науки.

Я обычно выделяю здесь три основных момента. Во-первых, восточные культуры (как и большинство традиционалистских культур) всегда исходили из того, что природный мир, в котором живет человек, — это живой организм, а не обезличенное неорганическое поле, которое можно перепахивать и переделывать. Долгое время новоевропейская наука относилась к этим идеям как к пережиткам мифа и мистики. Но после развития современных представлений о биосфере как глобальной экосистеме выяснилось, что непосредственно окружающая нас среда действительно представляет собой целостный организм, в который включен человек. Эти представления уже начинают в определенном смысле резонировать с организмическими образами природы, свойственными и древним культурам.

Во-вторых, объекты, которые представляют собой развивающиеся человеко-размерные системы, требуют особых стратегий деятельности. Эти системы наделены синергетическими характеристиками, в них существенную роль начинают играть несиловые взаимодействия, основанные на кооперативных эффектах. В точках бифуркации незначительное воздействие может радикально изменить состояние системы, порождая новые возможные траектории ее развития.

Установка на активное силовое преобразование объектов при действии с такими системами не всегда эффективна. При простом увеличении внешнего силового давления система может воспроизводить один и тот же набор структур и не порождает новых структур и уровней организации. Но в состоянии неустойчивости, в точках бифуркации часто небольшое воздействие — укол в определенном пространственно-временном локусе — способно породить (в силу кооперативных эффектов) новые структуры и уровни организации. Этот способ воздействия напоминает стратегии ненасилия, которые были развиты в индийской культурной традиции, а также действия в соответствии с древнекитайским принципом «у-вэй», который полагал идеалом минимальное воздействие, осуществляемое в соответствии с пониманием и чувством ритмов мира.

В-третьих, в стратегиях деятельности со сложными, человеко-размерными системами возникает новый тип интеграции истины и нравственности, целерационального и ценностно-рационального действия. В западной культурной традиции рациональное обоснование полагалось основой этики. Когда Сократа спрашивали, как жить добродетельно, он отвечал, что сначала надо понять, что такое добродетель. Иначе говоря, истинное знание о добродетели задает ориентиры нравственного поведения.

Принципиально иной подход характерен для восточной культурной традиции. Там истина не отделялась от нравственности и нравственное совершенствование полагалось условием и основанием для постижения истины. Один и тот же иероглиф «Дао» обозначал в древнекитайской культуре закон, истину и нравственный жизненный путь. Когда ученики Конфуция спрашивали, как понимать «Дао», то он каждому давал разные ответы, поскольку каждый из его учеников прошел разный путь нравственного совершенствования.

Новый тип рациональности, который в настоящее время утверждается в науке и технологической деятельности и который имманентно включает рефлексию ценностей, резонирует с представлением о связи истинности и нравственности, свойственным традиционным восточным культурам. Наука становится одним из важных факторов диалога культур Востока и Запада.

Василий Голованов

Бикапо

Встреча в аэропорту

Однажды я улетал во Франкфурт на знаменитую книжную ярмарку. Было утро. Возможно, далеко не прекрасное, слишком раннее осеннее утро. Легкий озноб. Международный аэропорт «Внуково». Рейс откладывался. Приехавшие аккуратно ко времени писатели бесцельно толпились в зале ожидания. Я искал знакомых и не нашел. Ждать нужно было как минимум два часа. Поэтому я направился в бар. За столиком человек за чашкой кофе читал газету. На фоне золотистых огней стойки он выглядел умиротворяюще и очень живописно: собственно говоря, это и была готовая картина в духе «Бара в Фоли-Бержер» Э.Мане, или, по крайней мере, кадр. Сейчас я войду в этот кадр, а потом даже расположусь в нем с двумя кружками пива. И, пожалуй, кое-что в нем подправлю. Чтобы девушка за стойкой не выглядела так заброшенно.

По виду она еще спит.

— Вы давно открылись?

— Работаем круглосуточно.

— Круглосуточно? Это гуманно.

— Почему гуманно?

— Я вам расскажу. Однажды мы с группой TV летели в Южную Америку. Девять часов над Атлантикой. Когда мы прилетели на Кюрасао, была ночь. Ночь и сорок градусов жары. А в Амстердаме за шесть часов ожидания в аэропорту без права выхода все нечеловечески напились. И больше всего на свете хотелось холодного пива. А в местном аэропорту все киоски закрыты. И бар закрыт. Такой у них голландский порядок: в девять вечера все закрывается. И даже курить можно только в каком-то стеклянном тамбуре, куда не проникает ни капли воздуха. И еще в зале есть поилка: фонтанчик с теплой водой. И с девяти вечера до девяти утра никому там нет до тебя никакого дела. Никто, ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги не отопрет этот паршивый бар, даже если 400 человек, прибывших прямехонько из Амстердама на самолете их голландской авиакомпании, на коленях будут молить об этом. Я запомнил это на всю жизнь. Теперь понятно про гуманизм?

История про гуманизм девушке понравилась. Она оживляется и спрашивает:

— А Кюрасао — это где?

— Голландский остров в Карибском море. Южнее Кубы. Там делают еще ликер, может быть, вам попадался — совершенно синего цвета: «Blue Curacao».

— А-а...

Ликер она опознала.

Пиво уже пенилось в моей кружке, как вдруг на входе в здание аэропорта раздались несколько оглушительных тревожных сигналов. Куда-то пробежали охранники. Не успев пригубить свое пиво, я, подгоняемый бездельем и любопытством, тоже устремился к вращающимся входным дверям, где в первый раз, предварительно так сказать, просвечивают пассажира и его багаж.

Голованов Василий Ярославович — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Публикации в «ДН»: «Остров» (№ 5—6, 1997), «Стрелок и Беглец» (№ 6, 1998), «Три опыта прочтения "Фелицы"» (№ 4, 2006), «Кровавая чаша. Персидский поход Разина» (№ 11, 2007), «Эпоха Антропоцена» (№ 10—11, 2009).

На просмотрных экранах ясно различимо содержимое громадного брезентового чехла: короткие и длинные металлические стволы разных калибров, скрученные металлические рулоны и еще какие-то изделия, напоминающие то ли гантели, то ли противотанковые гранаты. Все это фонит, и вообще, в такой чехол запросто можно заложить килограммов двадцать тротила. С тех пор как 11 сентября 2001-го два самолета один за другим врезались в башню Нью-Йоркского торгового центра, да и вообще выяснилось, что самая великая в мире держава чуть не накрылась из-за нескольких фанатиков с ножами для резки бумаги, любой врубится, что современный мир — не конфетка. А тут — целая гора функционально-неопределимого железа! Я с интересом смотрю на парня, который пытается все это провезти. Неужели он не понимает, что сейчас начнется? Как его вывернут, вытряхнут и распластают? Черная майка. Полосатые штаны, сандалии на босу ногу, бритая голова. Абсолютно непоколебимый вид.

— Что это у вас? — сурово спрашивали его.

— Бикапония, — вежливо объяснил он. — Трубы. Я — авангардист.

— А-а, — копались в утробе сумок чуткие досмотрщики. — Бикапония... Авангардист...

И пропустили, едва рассмотрев как следует его гранатометы.

Теперь я знал, наверное, с кем выпью кружку пива.

Я узнал его, хотя мы виделись в последний раз в Манеже, на большой выставке московского авангарда много лет назад. Он не изменился. Просто стал намного старше. А вот выражение лица, взгляд — они не померкли, они остались молодыми. Конечно же это был Герман Виноградов! Или Гарик Бикапо — как его знает вся Москва. И если писатели не поприветствовали его бурными аплодисментами, то этим засвидетельствовали только... ну, удручающий факт. Как это можно — быть писателем и не знать Гарика Бикапо? Чуть ли не самая известная строчка молодого Маяковского: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?» — она десятилетия оставалась заколдованной поэтической метафорой, откуда Гарик не расколдовал ее. Потому что он — может. На трубах — и ноктюрн, и все что угодно. Должно быть, он единственный в мире человек, который обладает таким умением. И его «Бикапония» — своеобразное магическое действие, в которое вовлечены вода, огонь и звуки, рожденные прикосновением к металлу, ударами по металлу, возгонкой его тонких вибраций и инфразвуковых колебаний — это то, что нужно увидеть в Москве обязательно. Как балет Большого.

Другие люди

Я помог Гарику переташить в бар его багаж, и мы заказали, наконец, пива. Выпили за встречу. О, Гарик, черт возьми! За что я благодарен Господу? За то, что все люди разные. Ибо если, скажем, последовательно лопнут ответственные за шмотки державы «Версаче», «Армани» и «Леви Страусс» — Гарик этого даже не заметит, ибо не носит серийной, хотя бы и модной, одежды. Он ее выуживает из мира по своему вкусу. Как — мне неизвестно. Во-вторых, Гарик никогда нигде не работал. Т.е., конечно, было время, когда он то дворничал, то сторожил, но все понимают, что это был обычный откос от мира принуждения, в какие бы личины оно ни рядилось. По-настоящему он думал только о своей *бикапонии* и, видимо, думал немало, ибо настало время, когда эта штука стала Гарика кормить, поить и одевать. И получилось, что не мир оседлал его, а он сам оседлал этот циничный, беспощадный и опытный мир, который легко обманет кого хочешь. Такое редко кому удается. Так что мало того, что люди разные. Важно, что среди всех нас, разных, есть еще *другие*. Вообще, расклад такой: 5 процентов из нас — это активные, талантливые, жизнелюбивые, самоутверждающиеся. Еще 15 процентов к ним тяготеют. То же самое внизу — 5 процентов обреченных деградантов, отягощенных кармой, наследственностью, отрицательной энергетикой. И те же 15 процентов тяготеющих к ним. Между ними — норма. Шестьдесят процентов нормальных, в свою меру одаренных умом, талантом и силой человеческих существ. Основной резерв вида *homo sapiens*. Но в этот расклад все-таки не вписываются люди *другие*. Почему? Потому что 5 процентов талантливых-жизнелюбивых — это даже для России 7,5 миллиона человек. А *других* — единицы. И они обречены на своеобразное одиночество потому, что людей, равных им по абсолют-

ной своеобразности взгляда на мир, рядом нет. Вот, к примеру, много ли вокруг вас людей, с юности, почти с детства, занимающихся изучением акустики металлов? А Гарик, он как будто специально родился, чтобы исследовать эту тему. И едва он подрос и оформился, как все это началось — коллекция непрерывных опытов. Комната в коммуналке на Земляном Валу превратилась в мастерскую. Мама терпела и мечтала о том, что сын станет великим художником. А Гарик срезал на крышах телевизионные антенны и заставлял их вибрировать, тащил домой отработавшие свое трубы Тетеринских бань, распиливал их на отрезки различной длины и делал разные звучащие подвески и прочие *фигурины*, потому что тогда все это не имело еще собственных имен. В общем, овладение искусством звукоизвлечения — этот прекрасный алхимический процесс занял все те годы, пока мы с Гариком не виделись. Потому что его первая установка, которую он выставил на авангардной выставке в Манеже, напоминала просто очень странный, прежде всего очень большой, металлофон. И, конечно, был звук... Низкий, глухой, загадочный, похожий на отдаленные колокола, перекрываемые вторжениями городского шума...

Но я сейчас не об этом. Я о *других*. Мир изменился. Интернет раскинул свои щупальца и позволил собрать всех психов, которые занимаются деланием музыки из хаоса звуков. В мире их оказалось примерно сорок человек. Всех пригласили в Канаду, в городок Сент-Джонс, чтобы *другие* могли познакомиться друг с другом и, так сказать, поделиться. Там был один парень, Барри Шварц, из группы калифорнийских художников, которые ловят кайф от уничтожения объектов современной цивилизации. В Лос-Анджелесе они устраивали гладиаторские бои роботов, а в Канаде Шварц показал такой звук... То есть прежде всего это было зрелище, а звук — безусловно, звук Апокалипсиса — возник только в самом конце. Сначала зрители-слушатели видят только залитую водой прозрачную девятиметровую тарелку, штырь, проигрыватель и кучу работающих под водой телевизоров. Еще струны натянуты вроде какой-то странной арфы. И вот появляется Барри Шварц в резиновом костюме и перчатках, заходит в эту тарелку, идет по кучам телевизоров, подходит к своей «арфе» и так легонько по струнам — р-раз! А в струнах напряжение 20 000 вольт. Ну и, конечно, треск, гром, телевизоры взрываются, мощные разряды голубыми клубами по струнам медленно уходят вверх. Озоном пахнет. В общем — впечатляющее зрелище. Другой парень из Канады строил золотые арфы. К роялю со снятой крышкой были прикреплены струны длиной 100 метров. Ветер их колеблет, дека резонирует, и становится слышен... Да, голос ветра. Волшебное такое созвучие... То же самое он делал, прикрепляя струны ко дну реки. И вода играла ими. А еще один человек научился моделировать в огромном стеклянном сосуде водоворот и снимать звук этого водоворота. Такая, знаете ли, «Wassermusik». Я употребляю термин «музыка» в весьма условном, разумеется, значении. Но к бикапонии Германа Виноградова оно применимо. По крайней мере, формально. Когда-то давно, когда творчество андеграунда было модной темой, кинорежиссер Игорь Таланкин решил снять фильм «Осень в Чертаново» и пригласил Гарика сделать звуковое оформление этого фильма. Но времена были строгие, еще советские, и поэтому киностудии, чтобы заплатить создателю звукового оформления, требовалось получить от него нотную партитуру написанного для фильма произведения. Пришлось нанять человека, который с записи бикапонии такую партитуру написал. И она существует. Хотя — надо признать — в музыкальном авангарде прошлого века были партитуры самые невероятные...

С тех пор времена еще изменились, терминология утратила жесткость и непознанные пространства между светом и звуком, в которых работает Гарик, можно назвать просто «звуковым ландшафтом». Или даже «звуковой скульптурой». Недавно в Мексике и в Венесуэле прошел как раз фестиваль звуковых скульптур. Суть в следующем: на определенной волне радио неделю или две вместо новостей транслируются какие-то звуковые ландшафты. Или «скульптуры» — как понравилось назвать это мексиканцам. Т.е. то, что нельзя однозначно квалифицировать как музыку. Хочешь — слушай. Хочешь — не слушай. В общем, бикапония там прозвучала.

И что же? — спросит наверняка кто-нибудь. — В чем смысл всех этих опытов и ландшафтов? Кому от этого радость? И кому от этого честь?

Я, признаться, ответа на эти вопросы не знаю. Мы имеем дело с каким-то очень предварительным результатом. Но, во всяком случае, в культуре открылись какие-то неизвестные измерения. По-своему интересные. *Другие люди* — они по преимуществу изобретатели. Осваивать их опыты, придавать им более привычный и товарный

вид, тиражировать их и получать прибыль будут скорее всего люди пообыкновеннее. Из числа 5 процентов наиболее активных-талантливых. А я могу воспользоваться только ссылкой на авторитеты. Скажем, в разное время бикапонию слушали Софья Губайдуллина, Альфред Шнитке, музыканты «Кронос квартета», ведущие психиатры Москвы и работники КГБ. И все были глубочайше впечатлены. Потому что в своем окончательном, зрелом виде бикапония — это трансовое, магическое, шаманское действие. В котором сливаются звуки, шорохи, шепоты, топоты слона по крыше, железнодорожные переборы железа, автомобильный скрежет... А потом что-то лопаётся, что-то шипит, потом — огни, огни, огни и вдруг — *дзынг!* — как будто какой-то взрыв, возмущение металла, какое-то извержение звуков, которое постепенно лишь успокаивается, как взволнованная глубокая вода... И сам Герман, лысый, босой, голый по пояс, почти незаметно перемещаясь в своем металлическом космосе, так же незаметно управляет всеми этими звуками, вспышками и отблесками, и потому невозможно сказать, что играет струнами нашей зрительской души — каскады звуков, эхо, гул или весенняя капель, вдруг откуда-то из детства просеивающаяся на расстеленную фольгу, или столб огня горячей душистой полыни, вдруг с сухим треском взвивающийся посреди зала? Все, все решительно воздействует на глубочайшие пласты человеческой психики. Некоторые на концертах вспоминают глубокое детство, у некоторых высвобождаются мощные ассоциативные картины... Вот, в частности, психиатров и работников КГБ интересовало: нельзя ли создать такую магическую звуковую ткань, которой можно было бы опеленать человека, чтобы он раскрывался как ребенок? Спецслужбы всего мира чрезвычайно интересуются эзотерикой. И никогда не могут воспользоваться эзотерическим знанием. Возможно, потому, что внутри этих служб нет никого, кто способен был бы воспроизвести магический опыт. Талантливые люди в спецслужбах, несомненно, есть. А вот *других* — нет. Потому что у *других* — *другие* мотивации.

Детский сад

Гарика Бикапо повезло родиться не только *другим* человеком, но и в другое время. Была середина восьмидесятых. С неизвестных морей задул ветер. Все вдруг стало возможным. Я не хочу, конечно, сказать, что в другое время творец динамического хаоса Герман Виноградов не состоялся бы. Человек — вообще загадка. Скажем, для меня почти необъяснимо, как поэзия Велимира Хлебникова или Алексея Крученых, а также архитектура Миса Ван дер Роэ, мистика Шри Ауробиндо и Порфирия Иванова, музыка Баха и глубоко ему противоположных Берга и Шенберга связаны с идеей бикапонии. Но это для меня связь неочевидна — а для Гарика она яснее ясного, хотя как творец динамического хаоса и просто как человек он несводим, конечно, к «сумме эстетических влияний». Но попадание в лузу своего времени — оно очень важно. Забеги Гарик чуть-чуть вперед по шкале времени — угодил бы в семидесятые или в конец шестидесятых — когда «звуковой» проект такого рода развернуть было решительно невозможно. А запоздай лет на пять — влетел бы в девяностые, в царство попсы, и опять не совпал бы с тем единственным 1981-м, когда время буквально по списку выкликало «других». Художников, музыкантов, мимов, режиссеров, поэтов и просто гениев. Закончив по специальности «архитектор» институт землеустройства, Гарик сразу подался в классические дворники/сторожа. Время выбрало место. Время распределило роли. Место: одно из живописнейших в Москве, возле Ивановского монастыря и Исторической библиотеки, перекресток Хохловского и Старосадского переулков и улицы Забелина. Точный адрес: Хохловский, д. 4. Гарик сторожил там пустую контору «Мебельинторга» (дом выселили под капремонт) и, занимаясь студиями классической гитары, жил в том же доме на втором этаже, в комнате, когда-то принадлежавшей племяннику Троцкого, безвинно убиенного в Марьиной Роще простым топором вскоре после того, как дядюшке раскроили голову ледорубом в Мексике. Первая, хотя и эпизодическая, роль в этом спектакле принадлежит участковому милиционеру Василию Запри-Вода, который знал в округе всех художников и указал им на пустующее здание детского сада, расположенного по соседству с яслями Четвертого управления Минздрава. Детский сад стоял заколоченным уже много лет, и там были огромные пустующие комнаты с большими окнами, будто специально предназначенные под мастерские. Первым обосновался в

детском саду скульптор Алексей Иванов (ныне придворный художник Большого театра), к которому захаживали будущие звезды балета со своими подрастающими поклонниками. «Мебельинторг» был напротив детского сада. Однажды Гарик, сидя у себя на балконе, разучивал на гитаре романс Гомеса, как вдруг со стороны детского сада донеслось: «тюк-тюк!» и стало ясно, что там кто-то что-то ваяет. Он вышел на улицу, перелез через забор и познакомился со скульптором Ивановым. Тот очень обрадовался, что по соседству живет тоже художник, да к тому же играющий на гитаре. Он, значит, может не только обоснованно поговорить об искусстве, но и усладить слух будущих звезд и почитателей балета, когда они придут к скульптору в гости. А Гарик, в свою очередь, осмотрел детский сад и нашел там огромный пустующий зал, где и решил развесить свою бикапонику, поскольку разного железа у него поднабралось уже порядочно, и его надо было впервые, как говорится, как следует разместить. Как раз в это время появился парень из ВГИКА, который решил снять про Гарика свой дипломный фильм. Консультантом-наставником у него был Михаил Рык, довольно тогда известный режиссер. И он, как только пришел в детский сад и увидел первоначальную бикапонию, сразу сказал: «О! Я знаю, что вам надо!» И назвал адреса: Серебрякова, 15 и Огородный проезд, 20. По первому адресу находилась свалка черных металлов, а по второму — цветных. И там Гарик, конечно, почерпнул! Оттуда-то и ведут свою родословную всякие *дзоинги*, *фриу*, *оси* и *таблы*, которыми он пополнил традиционный арсенал бикапо. Полгода, наверное, ковырялся на этих свалках. Ходил с рюкзаком как на работу. За это время Четвертое управление Минздрава поставило детский сад на реконструкцию, и там открылось сразу 4 ставки сторожей. Тут же появились Коля Филатов и Андрей Ройтер — один писал картины в духе немецких «новых диких», второй был близок московским концептуалистам. Сели на ставки сторожей и тоже оборудовали в детском саду мастерские. К ним стали приходить друзья. Все — очень известные сейчас художники — Тегин, Шерстюк, Базилев... За ними поэты притянулись — разумеется, лучшие поэты того времени — Парщиков, Еременко, Жданов. Театральная, балетная публика, музыканты. В общем, пошел варить котел! И когда в один прекрасный день во главе с Сергеем Курехиным приехали все звезды питерского андеграунда и повели себя не в меру дерзко — типа, у нас «Поп-Механика» есть, а у вас-то тут что? — кто-то возьми, да и скажи: — «а у нас Детский сад!» И попал в точку. Детский сад в какой-то миг стал такой невероятной мастерской, в которой выделялись новые цвета и формы, новые слова и ритмы, новые звуки, новые краски и новая музыка, что тут просто не могла не образоваться мощная артистическая тусовка. В том числе были и звезды. Разумеется, Д.А.Пригов явился первый, потом — Иракий Квирикадзе, Слава Зайцев, Владимир Васильев и Екатерина Максимова и скромный гений концептуальной живописи Илья Кабаков. Который послушал выступление Гарика и сказал: «Ну вот это и есть мистериальное искусство». И тогда Гарик врубился, чем он, на самом деле, всю жизнь занимался. Мистерия. То есть, с одной стороны, синтез всех искусств, а с другой стороны — магия. Он не стал отменять название «Бикапо», но, когда, спустя еще несколько лет, окончательно сложилась программа его выступления, он назвал ее «Мистерия Небесного Леса». И с тех пор она только изменяется и ширится, обрастает звуками и тишиной, но и звуки, и тишина — все это лишь проявления жизни вселенского леса.

И еще Кабаков сказал, что «Детский сад» — это главное событие в искусстве 80-х. И тоже был прав. Хотя можно, конечно, и спорить.

А потом детский сад закрыли. Ликвидировали ставки сторожей. Вырубили воду. Отключили электричество. Начали ремонт. И все распалось. И кто-то — в пику Кабакову — с едкой иронией пошутил, что главное событие в искусстве 80-х все-таки не «Детский сад», а аукцион «Сотбис». А потом и вовсе то, *другое* время прошло и наступило наше. И каждый стал пробиваться в одиночку. В общем, всем это удалось. Там, в детском саду, все получили такой заряд бодрости, что неудачников быть просто не могло. Гарика пришлось чуть труднее других — он со своим мистериальным искусством не вписывался ни в какие рамки. Ну посудите сами: огонь, вода и медные трубы. И при этом — магия. Куда это все впихнуть? Сначала показалось, что можно приживить бикапонию к театру. И Гарик даже получил два заказа — от Арцыбашева (Театр на Таганке) и от Васильева («Школа драматического искусства») — на озвучку двух современных пьес. И тут выяснилось, что как аккомпанемент бикапония неинтересна. Неинтересна прежде всего самому ее создателю, которому нужны не музыкальные реплики-отклики на то, что происходит на сцене, а подлинная свобода

и полнота творения. «Гиббос» — состояние неподвижной пробуждающейся материи, в которой еще отсутствует дух. «Джаус» — дух резвящийся, мальчишеский, переполненный жизненной энергией. И, как высшее проявление легких, изменчивых состояний игры и трансформации — «Крусился»...

Милиционер и шкурка соболя

Герман Виноградов прожил необыкновенно интересную, плодотворную, на зависть творческую жизнь. Я говорю «прожил» с величайшей осторожностью, объяснять которую не нужно. И в то же время Гарик — не мальчик, ему уже стукнуло 50. Не так уж мало осталось в прошлом. Он состоялся как поэт, как художник, как фотограф. А что до Бикапо — то мы почти все уже рассказали. Бикапо — это ВСЕ. Это игра трех веселых слогов, это имя (а значит, второе «я») Гарика, это тяжелая работа с металлом, это «крусился» — порхающая бабочка, сотканная из невесомых металлических звуков. Я слышал Германа на разных площадках — и в больших залах, и у него на квартире — и везде его магическая музыка производит очень сильное впечатление. Несмотря ни на что. То есть можно быть даже предубежденным против всей этой бикапии, можно быть закоренелым противником авангарда. Приходите. Посмотрим, что получится. А я под конец расскажу несколько историй.

Перед тем как закрыли детский сад, Герман решил подарить всем друзьям грандиозный концерт. Он в конце концов так и не состоялся, потому что КГБ решило разогнать детский сад быстро и решительно как злостный рассадник авангардизма и самомнения.

Но никто ничего про это не знал, и Гарик готовился к выступлению, которое означало бы общий триумф. Он отработал до тонкости звук каждого инструмента, научился просеивать свет, как сквозь души и по своему усмотрению устраивать то тут, то там сгустки теней. И вот однажды, когда он в очередной раз пробудил в своем железе живой отзвук, похожий на звуки колокола, что-то вдруг вторглось в эти хрупкие вибрации. Тоже звук. Звук, источником которого была водосточная труба. Плюс дыхание. Не дыхание флейтиста, пытающегося сыграть проклятый водосточный ноктюрн, однако настойчивое, черт возьми, дыхание. Гарик выглянул в окно — и что он увидел? Он увидел глаза милиционера, который, пытаясь, лез по водосточной трубе, замороженный неслышанными звуками бикапо. А то, что милиционер увидел, заглянув в комнату, было вообще непередаваемо. Через четверть часа в мастерской Гарика сидело все районное отделение милиции. Гарик отыграл программу. Милиционеры почтительно поднялись.

— Что это у вас, товарищ? — спросил самый первый милиционер, дружески распознавая в Гарике представителя какой-то высокой касты в трудящемся племени металлургов.

— Бикапония, — сказал Гарик.

— А-а, — сказал понимающе милиционер. — Бикапония...

Именно так и тогда Гарик получил на всю жизнь будущую Шенгенскую визу и все остальные пропуска. Потому что — ну, магия. Мистерия.

Другая история связана с облезлой шкуркой баргузинского соболя, оставленного Гарику в компенсацию за то, что один человек чуть не поджег его квартиру. Короче, после описанных событий прошли года. И однажды коммуналка, где Гарик проживал когда-то с мамой в одной из трех комнат, вымерла. Умерла мама, умерла старушка-соседка, которая всегда готовила на кухне кислые щи, умер сосед-алкоголик. Гарик больше не мог никому помешать. И он вернулся. И решил устраивать сессии Бикапии прямо дома — места хватит. Поставил на лестничной клетке куклу, которая как бы встречала гостей, объявил телефон... И вот, один старый приятель Гарика пришел сюда со своим другом, который хипповал, отсидел за распространение анаши, но одумался и стал православным.

— Я к тому времени отлично освоил это пространство для камерных сессий, и мы работали втроем, — рассказывал Герман. — Я, Вера Сажина (трансовые практики) и Вилли Мельников (горловое пение, разноязыкие речитативы). И был какой-то экстатический момент — джаус, когда все железо начинает звучать и вибрировать, и в это время из другой комнаты раздалось тувинское горловое пение (Вилли), перед

самыми зрителями вспыхнул фонтан огня и Вера Сажина ударилась в шаманский транс...

— Дьяволы! Дьяволы!!! — вдруг завопил христианин-друг приятеля и, на ходу надевая пальто, выскочил за дверь, поджег гостеприимную куклу и опрометью кинулся вниз по лестнице. Приятель извинялся-извинялся, а потом оставил в знак компенсации за куклу шкурку соболя. После этого случая соседи написали участковому заявление, что Герман Виноградов, проживающий там-то, насаждает космическое сознание с помощью огня, воды и железа и завалил отходами шаманского производства шахту лифта с первого по седьмой этаж...

— Огонь вообще пугает людей... Что хочешь напишут.

— Да, бывает, — соглашается Герман. — Последняя хохма тоже, кстати, связана с огнем. Я приготовил концерт. Там у меня задействована труба на балконе, я в какой-то момент вставляю в нее паяльную лампу, микрофон снимает возникающий гул... Я вставил ее и ушел, а там, видно, ветер подул, лампа повернулась и пластик на перилах начал дымить. И вдруг я слышу разговоры какие-то. Думаю, может, кто-то вышел покурить на балкон. Потом слышу: «Хозяин! Где хозяин?! У вас балкон горит!» Выхожу на балкон, внизу пожарные машины стоят, лестница поднята, и на балконе уже стоят в полном обмундировании пятеро пожарных. Говорят: «Ковшик воды-то принесите». Затушили пластик и, чтобы не лезть обратно по лестнице, строим проследовали по квартире к выходу. Самое смешное, что половина народу решила, что это — продуманный прием, часть хеппенинга.

— Так что, — подытожил Герман, — бывало и смешно. По-разному бывало.

— А кстати, — с запоздалой хмельной дотошливостью стал допытываться я, — как ты здесь-то оказался? Куда летишь?

— Во Франкфурт. Обеспечивать культурную программу.

— Чего?

— Ярмарки.

— И часто тебя так приглашают?

Гарик пожал плечами:

— Приглашают...

Рейса все не было.

— Еще по кружке? — спросил я.

— Выпей. Я не хочу.

— Форму держишь?

— В общем, да. Я тебе скажу — чтобы заниматься *этим*, приходится много заниматься собой: голоданием, обливанием... Ну и железо, само по себе, тяжелое, таскать много приходится. Но это нужно. Сила нужна. Одним сознанием всего не сделаешь... То, чем занимаюсь я, это такая штука, что либо надо умирать молодым, либо тело должно поддерживаться в состоянии вечной юности. Если оно начнет скрипеть и вообще перестанет выполнять то, что ему положено, — все, девятнадцатый век — высокие помыслы, полное бессилие. Вечная юность должна быть маяком. Мои однокурсники кажутся мне лет на тридцать старше. Брюзгами многие становятся. И они костенеют...

— А ты? — спросил я, допивая пиво.

— Дадзыбреджиги гика бикапо! — вот кто я! — вскричал Герман, как древний викинг.

В этот момент объявили рейс на Франкфурт.

Алишер Файз

Человеческие нюансы восточного города

Город несет в себе модернистские тенденции, создает условия для промышленного и технологического прогресса, стимулирует инновации и изменение образа жизни людей. Так было в древности, так и сейчас. Но современный город — это и новые угрозы, связанные с глобализацией, урбанизацией, скученностью населения, нехваткой ресурсов, экологическими, санитарными и транспортными проблемами, а также столкновением социальных и культурных интересов различных групп людей.

Как живет восточный город в наши дни? Обращаясь к Востоку, многие обычно представляют себе традиционное общество и соответствующий уклад жизни. Но современная городская жизнь требует динамизма, сложных технологических, инновационных и управленческих решений. Как сочетаются эти требования современного города с традиционной культурой Востока, подразумевающей вековые устои, коллективистский дух, тонкую нюансировку способов человеческого общения? С этой точки зрения, Ташкент, на мой взгляд, является интересным объектом для наблюдения и анализа. С одной стороны, это город древний — только что отметил свое 2200-летие, а с другой — он молод и современен, быстро развивается и меняется на глазах.

Город, как живой организм, имеет свой ритм, свои жизненные циклы, время активности и отдыха. У него есть дыхание, энергетика, сознание, идентичность, облик, набор нравов, способы празднования или поминовения каких-то событий и реагирования на чрезвычайные происшествия. Каждый город имеет свое тело, свою личность и свой дух. Порой тело вполне западное, а дух — восточный. Именно к таким относится Ташкент.

Хотя в нем и есть довольно много мечетей и других памятников исламской архитектуры, а также колоритных восточных базаров, подавляющее большинство его зданий, особенно в центральной части, имеет характерные для западных городов очертания. Это прежде всего относится к офисным и многоэтажным жилым домам.

Тем не менее Ташкент — восточный город. Не так давно он даже получил международное признание как город исламской культуры.

Что же делает Ташкент восточным? На мой взгляд, прежде всего люди. Не индивиды, а социум. Индивиды по отдельности могут быть совершенно разными, представлять разнообразные культурные, религиозные, идеологические и иные начала, но все они вместе приобретают определенное интегральное качество — общую культуру.

Алишер Файз — литературный псевдоним Алишера Амануллаевича Файзуллаева, доктора политических и кандидата психологических наук, директора Лаборатории переговоров и профессора кафедры практической дипломатии Ташкентского университета мировой экономики и дипломатии. Алишер Файз — автор двух сборников прозы «Круговорот» и «Tabula rasa». Публиковался в журналах «Вестник Европы» и «Звезда Востока». Его рассказы также опубликованы в переводе на корейский и английский языки в Южной Корее и США в журналах «Asia» и «Translation».

Ташкент традиционно является многонациональным и многоконфессиональным городом, и люди, которые приезжают сюда, нередко обращают внимание на большое антропологическое разнообразие лиц его жителей. Но каждое людское сообщество, в том числе ташкентское, имеет свою специфическую культуру, отличную от культуры других сообществ. Мы можем говорить о некоей общей культуре, *gestalt*¹ качества жителей одной улицы, одного поселка, одного района, одного города, одной страны, одного региона, одного континента и, наверное, одной планеты. Общая культура местности и ее жителей имеет свои как открытые, так и скрытые коды. Последние трудно эксплицировать не только извне, но и изнутри. Целое, как известно, не сводится к сумме своих элементов.

Однажды я ехал в такси и заметил, что водитель проигнорировал голосовавшего человека, стоявшего на автобусной остановке.

— А может, ему по пути и стоило остановиться? — спросил я у таксиста.

— Нет, он из другого района, думаю, Чиланзар², — уверенно заметил тот, хотя лишь мельком глянул на потенциального пассажира.

Я удивился и поинтересовался, как же он это с ходу определил? Тем более, как показалось, человек на улице был одет примерно так же, как я, то есть внешне ничем не выделялся.

— Ну, видите ли, это трудно объяснить, но я двадцать лет за рулем и научился разбираться в пассажирах.

Каким-то образом таксист увидел в том человеке проявление особой культуры определенной местности, культуры, отличной от той, что характерна для места моего проживания. Правда, он сам не мог сказать, в чем же эта особенность заключается, но, по его твердому мнению, человек на автобусной остановке и я жили в разных частях города. Я тогда подумал, что, окажись мы вместе с тем чиланзарцем где-нибудь в другом городе на какой-нибудь вечеринке, нас, наверное, многое объединяло бы и тем самым отличало от остальных.

Вспоминается другой случай, когда я зашел в один из букинистических магазинов Ташкента со своим другом из Москвы, русским по национальности. Продащица, заговорив с нами, сразу заметила, что он не местный, а приехал, скорее всего, из России. Я спросил у нее, как же она догадалась об этом, ведь в Ташкенте живет много русских.

— Не знаю, но ваш друг как-то отличается от наших ташкентских русских, — развела руками продавщица.

Конечно, люди, проживающие в разных местах, могут отличаться формой или стилем одежды, языком или диалектом, цветом кожи или волос, ростом, телосложением, повадками, кухней, характером занятий, развлечений или другими этническими, социальными, политическими, экономическими и культурными признаками. Но город накладывает определенный отпечаток на психологию людей, на их личность и идентичность, создавая модели поведения, общую культуру как некий единый дух.

Каждый город имеет свой дух, и люди, проживающие в нем, так или иначе приобщаются к нему. Этот дух становится частью социальной идентичности городского жителя, влияет на его облик и поведение. Дух города проникает и сквозь призмы разных религиозных, этнических, социальных и профессиональных групп.

Вернувшись из других мест в Ташкент, я сразу ощущаю этот особый дух своего города. Его трудно описать словами, его можно лишь почувствовать. Полагаю, что подобное чувство испытывает каждый индивид, возвращающийся в свой родной город из поездок в другие страны и города. Да что говорить о странах и городах! Можно лишь немного отъехать за пределы своего города и тут же зафиксировать изменение духа местности, хотя физическое окружение особо не изменится.

Люди с давних времен обращали внимание на специфическую ауру различных местностей. Не зря во всем мире есть места, которые считаются святыми. Бывают и

¹ Gestalt (*нем.*) — целостная форма.

² Чиланзар — относительно новый район Ташкента, построенный главным образом после землетрясения 1966 г.

опасные или пруклятые. Говоря о духе лесов, гор, морей, рек, пустынь, часто имеют в виду определенный религиозный или мистический смысл. Здесь же я рассуждаю о духе города прежде всего как о культурном феномене. Это очень сложное и многослойное явление, оно имеет свои нюансы применительно к разным частям города.

Да, каждый город обладает своими психологическими зонами, где люди чувствуют себя по-разному. Эти зоны создаются определенным сочетанием физических и социокультурных факторов, субъективной значимостью того или иного места, чувствами, переживаниями и смысловой сферой индивида. Чайхана, например, в Ташкенте у многих ассоциируется с местом мужских посиделок за пловом или неторопливых бесед стариков за пиалой чая. Неудивительно, что в чайхане царит дух мужского братства, мужских разговоров и развлечений. Такой дух кого-то сильно привлекает, а кого-то оставляет равнодушным. Но он есть, и его трудно не ощутить.

Чай, чаепитие — заметный атрибут восточного бытия. Здесь с детства учат, как наливать чай, как его подавать, как пить в обществе. Как и во многих других странах Востока, в Узбекистане — свой изощренный церемониал чаепития, выражающий весьма тонкие аспекты человеческих отношений. Подавая подобающим образом пиалу чая другому лицу, человек выражает к нему уважение, подчеркивает свою готовность услужить. Невестки, например, должны уметь подавать пиалу чая не только с уважением, но и с изяществом, грациозно. Ненадлежащим же образом поданный чай сигнализирует об изъянах воспитания, о невнимательности к человеку или даже о сознательном стремлении унижить другого. Люди с детства усваивают подобные нюансированные культурные коды. Разумеется, воспитание, конкретное социальное окружение и образ жизни человека влияют на степень овладения им скрытыми кодами культуры, а также на их субъективную значимость.

Есть, конечно, много общего между всеми без исключения городами. На то они и города, урбанистические образования. Свою специфику имеют мегаполисы, крупные, средние и малые города. Существуют ли сейчас большие города, которые не озабочены проблемами, связанными с урбанизацией, неконтролируемым притоком сельского населения и порой иностранных мигрантов, с загрязнением окружающей среды, перегруженностью транспортом, личной безопасностью, соседством богатства и бедности? Нет, конечно. Вместе с тем культура, дух города по-своему влияют на то, как он относится к своим проблемам и справляется с ними. Тегеран, например, поразил меня обилием машин и автомобильных пробок — улицы многих западных столиц кажутся едва ли не пустынными по сравнению с тем, что творится там. Но еще больше я удивлялся, наблюдая за тем, как водители останавливались на улице вблизи базара и спокойно говорили, мешая движению большого потока автомобилей. Конечно, Тегеран старается бороться с автомобильными пробками, но в отличие от жителей Торонто или Мюнхена там люди не будут сильно негодовать на поведение водителей встречных машин, остановившихся на проезжей части дороги, чтобы поприветствовать друг друга. На Востоке человеческие отношения — превыше всего!

В целом социальные связи и отношения весьма консервативны и довольно медленно меняются. Восточные города во многом сохранили традиционный уклад жизни и структуру отношений между людьми, адаптировав их к современным условиям. Интересно и то, что в условиях урбанизации некоторые элементы социальных отношений стали проявляться на еще более скрытом или символическом уровнях. Так, от соседа по лестничной площадке ты отделен стенами, но хотя бы кивнуть при встрече обязан. Правда, кивок теперь может стать гораздо более многозначным, в зависимости от складывающихся отношений в связи с такими факторами соседства, как уборка мусора, шум, проведение ремонтных работ и тому подобных. Многозначность языка общения позволяет одним индивидам подавать соответствующие сигналы, а другим — сохранять лицо, делая вид, что информация не совсем понята или воспринята иным образом. Чем не дипломатия? На Востоке всем приходится быть дипломатами.

В подобной среде намек более понятен и приемлем, чем откровенные высказывания. Отсюда и огромная роль символики, символического выражения мыслей и чувств в повседневной жизни людей. В Ташкенте, например, многие девушки выражают свое согласие выйти замуж, приняв подарок парня, который ухаживает за ней.

Подарок может быть дорогим или дешевым, оригинальным или не очень, но главное тут факт дарения и принятия — символический акт судьбоизъявления.

Раньше, говорят, молодые люди давали знать старшим о своем желании жениться, положив морковь в обувь одного из родителей. Были и другие непрямые способы выражения подобного намерения. Помню, когда лет тридцать назад я захотел поехать в Москву в аспирантуру, моя ныне покойная тетьа заметила:

— В прошлом, если парни хотели жениться, они говорили о том, что желают отправиться в хадж. А нынешние ребята говорят о поездке в Москву.

Хотя тогда я и не думал о женитьбе, тетьа именно так интерпретировала мое поведение, ибо для нее естественно было искать «истинный» смысл моих слов.

Времена меняются, сейчас многие молодые люди хотят ехать учиться не только в Москву, но и в другие центры образования в Европе, Америке и Азии, и вряд ли кому-то в голову придет интерпретировать их желание как намерение обзавестись семьей. Тем не менее многозначность, непрямота, иносказание и использование символов в общении остаются характерными в межличностной коммуникации восточных людей. Восток есть Восток, и неудивительно, что многим он кажется загадочным.

Горожане продолжают символически взаимодействовать между собой, даже мало общаясь. Поскольку в современном многоэтажном доме соседи не всегда тесно контактируют, многое выражается посредством тех или иных жестов, иносказательных актов. Например, простая замена перегоревшей лампы на лестничной площадке становится не только выражением стремления обеспечить свет, но и жестом доброй воли по отношению к соседу. Бывает, что соседи специально не меняют перегоревшую лампу на ничейной территории — в пику друг другу.

Жителям восточного города не чужды и прямые, откровенные высказывания, особенно в эмоциональном состоянии. Но выбор у каждого есть. Правда, общество в целом поощряет более щадящие формы общения между людьми. Да и социальная иерархия, например, статусные различия между людьми старшего и младшего поколения могут повлиять на то, как люди поведут себя в отношении друг друга. Но традиционная символически насыщенная поэзия или изобразительная миниатюра, витиеватые фразы старинных авторов напоминают: жизнь может стать красивее, чем она есть, если мы делаем или хотя бы видим ее таковой. Так что выбор действительно есть.

Дух города, будучи культурным феноменом, не существует сам по себе. Он тесно связан с архитектурой, дорогами, парками, коммунальной системой и другими материальными и социальными аспектами городского быта. Дух города не сводится к функционированию его тела. Город — это и история, определенный миф, который мы создаем и несем в себе. Истории, анекдоты, мифы, легенды являются существенной частью его живой атмосферы, духа. Даже правдивые истории, став частью фольклора и обыденного сознания, приобретают мифологические элементы или очертания. Тем самым мифология превращается в часть городской реальности.

Всем известно, что люди старшего поколения по-особому относятся к прошлому. «Вот раньше было совсем по-другому», — любят говорить они и начинают рисовать несколько идеализированную картину того, что было когда-то, особенно во времена их молодости. На Востоке уважают старших, слушают пожилых людей и учатся у них, а это создает определенную устную, зачастую мифологизированную историю восточного города. И это замечательно, ибо скучен город, который лишен легенд и мифов.

Некоторое время назад во время встречи с бывшими соседями и однокашниками разговор зашел об одной маленькой местной речушке, где в детстве мы купались. Заметил, как все стали преувеличивать ее размеры и приукрашивать достоинства, представляя себя юными героями, переплывавшими бурную реку. Многие, оказывается, чуть ли не тонули, но их то ли спасали, то ли они путем невероятных усилий все же доплывали до берега сами. Я, естественно, тоже внес вклад в создание этой героико-романтической картины, добавив какие-то детали. Мы не поправляли друг друга, не говорили о том, что многое было по-другому, даже если и чувствовали, что приукрашиваем. Восток любит мифы и благосклонен к легендам. А терпеливый раз-

говор и взаимная учтивость лишь способствуют рождению и распространению устных мифов и легенд.

Мифологическую функцию несут и городские памятники, старинные и новые архитектурные сооружения, фотографические образы, исторические события, слухи, названия улиц, песни и стихи о городе, фестивали и другие культурные мероприятия, спортивные состязания, рекламные щиты, местные блюда, традиции, обряды, церемонии, метафоры, слоганы, уменьшительные имена, официальный логотип и многое другое. Чем эффектнее образ, создаваемый подобными вещами и явлениями, тем более сильным получается миф, поскольку могущественные образы вполне могут существовать сами по себе, без той реальности, которая их породила.

Очевидно, Париж и Эйфелева башня неразделимы, но сейчас, рискну сказать, Париж больше нуждается в Эйфелевой башне, чем это знаменитое сооружение — в столице Франции. То же самое происходит с новыми суперсовременными символами некоторых восточных городов, например, 88-этажными башнями-близнецами Петронас в Куала-Лумпуре и 162-этажным небоскребом Бурдж Халифа в Дубае. И это примечательно, ибо традиционно архитектурные символы восточного города были связаны со стариной.

Такие знаменитые национальные кухни, как китайская, японская, корейская, греческая, тайская, индийская, турецкая, французская, итальянская и т.п., давно превратились в элементы мифотворчества многих городов мира. Человек, попав в афганский ресторан Лондона, может неожиданным образом расширить свои познания не только об афганской культуре, но и о самой столице Великобритании, ибо разнообразие и богатство национальных ресторанов становится одной из отличительных особенностей этого города на Темзе. Подобный способ познания во многом может оказаться надуманным, мифологизированным, поскольку афганский ресторан в Лондоне базируется на мифе об афганском ресторане. Но Лондон старается позиционировать себя как многонациональный и мультикультурный город, и в этом ему помогает новая, в том числе восточная, кухонная мифология.

Заговорив на гастрономическую тему, не могу не отметить, что в Ташкенте любят хорошо поесть, а также готовить и угощать. Как французы, затронувшие тему изысканного вина или сыра, шотландцы, смакующие истории о виски, или швейцарцы и бельгийцы, приступившие к обсуждению качества шоколада, узбеки, в том числе жители Ташкента, могут долго говорить о своем главном национальном блюде — плове. При этом обнаружится столько всяких подробностей и историй, что можно только диву даваться. Различные легенды о происхождении этого блюда лишь способствуют расширению мифологии плова.

Город является постоянным объектом мифотворчества, в этом процессе в той или иной степени участвуют все его жители, а также посетители. Некоторые городские мифы создаются или поддерживаются сознательно, потому что они несут очарование и нравятся людям, особенно туристам, другие возникают стихийно и не поддаются контролю. Сейчас многие восточные города делают все возможное, чтобы ассоциировать себя с легендарным Хаджой Насреддином. Так, памятник Хадже Насреддину в центре Бухары призван застолбить в сознании городских жителей и гостей органическую связь этого древнего города с образом знаменитого героя народных преданий и суфийских притч.

Особое место в формировании мифологии городов занимают писатели, кинематографисты и другие деятели культуры. Например, для британцев магически звучит выражение «золотое путешествие в Самарканд» (*The Golden Journey to Samarkand*) — это название знаменитого лирического произведения известного английского поэта и драматурга конца XIX — начала XX века Джеймса Элроя Флекера (*James Elroy Flecker*). Произведение считается одним из лучших образцов английской классической поэзии, и в нем дается великолепный лирический образ путешествия в романтический и сказочный Самарканд. Мне приходилось слышать от многих англичан, что им бы очень хотелось посетить Самарканд, потому что отмеченное выше выражение еще с детства запало им в душу. Вот вам роль одного стихотворения в формировании имиджа города, его мифологии.

Мифы и реальность одинаково сильно оказывают влияние друг на друга, уча-

ствуют в создании друг друга. В тридцатые годы прошлого века, когда в стране был голод, люди старались приехать в Ташкент, который прославился как «город хлебный». Конечно, в Ташкенте ситуация была не намного лучше, чем в других частях страны, но многие, уверовав в «город хлебный», действительно находили здесь спасение, ибо вера и установки обладают могущественной силой.

Другой образ Ташкента складывался вокруг слогана «Звезда Востока». Сейчас, возможно, появилась необходимость найти более современный и привлекательный слоган, отражающий дух Ташкента и одновременно помогающий понять стратегию развития города и его позиционирования. Сеул, например, преподносит себя как «Душа Азии» (Soul of Asia), а Гонконг — как «Азиатский мировой город» (Asia's World City). Ташкент, на мой взгляд, мог бы позиционировать себя и как «Город душевной теплоты». Душевность и теплота, как мне представляется, — важные качественные характеристики восточного образа жизни.

Дух и культурная аура Ташкента складывались веками. Здесь проходил Великий Шелковый путь, это был важнейший пункт пересечения культур, взаимообогащения народов Востока и Запада. Наши предки веками общались с торговцами, путешественниками и странствующими учеными, с поэтами и мыслителями из различных стран, вырабатывали в себе предприимчивость, разговаривали на нескольких языках.

Под влиянием исламской культуры в социальной жизни важное значение приобрело искусство учтивого общения и поведения — *муомала* и *одоб*. Появились многие тонкие коды взаимодействия, для овладения которыми требовались соответствующие воспитание, обучение и среда. Выпестованные веками мировоззрение и социальные навыки стали важной частью культуры и современного поколения.

Очевидно, не все элементы культуры можно заметить с первого взгляда, многие из них обретаются на подсознательном уровне и не бросаются в глаза. Культура народов, так же как и дух городов, создается не сразу и не сразу исчезает. Но современная жизнь вносит много нового в городскую культуру, социальное поведение жителей городов.

Современный город, несомненно, развивает культуру анонимности, чувство одиночества в толпе. Но в Ташкенте на улице довольно часто можно видеть непосредственное общение между незнакомыми людьми и адресованные друг другу улыбки, а на базарах тут принято торговаться. Здесь не просто любят торговаться, но уважают тех, кто умеет делать это хорошо. Разговорись вы с продавцом по душам, так тот может снизить цену на свой товар до неправдоподобной цифры.

Человек на улице, как правило, здоровается с незнакомцем, прежде чем попросит подсказать, как пройти куда-то. Нередко незнакомые люди вступают в разговор и в общественном транспорте. В нем молодые продолжают добровольно уступать место старшим.

Уважение к старшим находит у нас некоторые приложения даже в бизнесе и маркетинге. В последнее время в Ташкенте появились рекламные плакаты с изображениями аксакалов, которые «продвигают» определенные товары или услуги. Употребление таких почтительных слов, как *ота* и *бува*, то есть «отец» и «дед» (например, «Чайхана деда Ибрагима»), вызывает доверие к предлагаемому товару или услуге. Вместе с тем использование подобных рекламных приемов с социально значимой нагрузкой накладывает определенные обязательства и на самих бизнесменов: некачественный товар или услуга под такой маркой порождает значительное недовольство и осуждение среди потребителей по отношению к тому, кто этот товар или услугу предлагает.

Тут обычно люди сразу не приступают к деловым разговорам, а начинают беседу издали, например, с подробного расспроса о семье и делах собеседника. Это, кроме соблюдения приличий, и своего рода психологическое прощупывание состояния партнера, его готовности начать серьезный разговор. Словом, восточный стиль кодирования и декодирования сигналов в общении.

В Ташкенте популярно устраивать так называемый *гал*, буквальный перевод слова означает «разговор». Существуют постоянные группы для своего рода посиделок с обильным угощением, организуемым поочередно членами сообщества, в кото-

рое могут войти друзья, родственники, соседи, коллеги и другие люди, с кем можно посидеть, вместе поесть и конечно же насладиться беседой. Интересно, что многие люди входят в несколько *галов*, каждый из которых может быть создан на профессиональной, родственной или иной социальной основе.

Гал, как правило, поощряет откровенные беседы, хотя и тут, конечно, не обходится без принятых форм восточной учтивости. Но мне рассказывали о *галах*, куда одновременно входят и некоторые весьма высокопоставленные лица, и совершенно обычные люди — их бывшие однокашники, причем последние вправе позволить себе весьма критические высказывания в адрес первых. Своего рода мини-ячейка восточной демократии. Трудно представить себе нечто подобное в ином месте.

По случаю семейных торжеств или памяти умерших в Ташкенте принято организовывать угощение для близких и друзей национальным блюдом — *ош*, или пловом, как его еще называют. В большинстве случаев на утренний плов приходят несколько сот человек. Что заставляет этих людей вставать ранним утром и идти на это мероприятие? Не еда, как может показаться неискушенному наблюдателю, а социальные отношения.

Утренний плов — это целая система кодированных взаимодействий, оценки, утверждения или закрепления социальных связей. Здесь имеет значение все: кто приходит и кто встречает, кто с кем приходит и кого как встречают, кого куда сажают и кому какие знаки внимания оказывают. Настоящий театр символической интеракции. Утренний плов — это мощный инструмент поддержки и расширения социальных связей и отношений жителей Ташкента. Здесь можно людей увидеть и себя показать, поговорить кое с кем, да и дела решить.

Расширение и укрепление социальной сети может быть своего рода реакцией на угрозу усиления обезличивания в урбанистической среде, ведь в своем социальном окружении человек всегда имеет определенную идентичность, узнаваемость. Будучи вековой традицией, ставшей культурной ценностью, сильные социальные связи помогают людям выживать и добиваться успехов в современном восточном городе. Широкие и устойчивые межличностные отношения споспешествуют людям мобилизоваться, направлять в нужное русло ресурсы, совместно решать непростые жизненные проблемы. Укрепление межличностных связей является и способом сохранения культуры в целом. Поэтому сама культура поддерживает подобные интенции.

Возможно, это одна из причин того, что люди стараются устраивать пышные многолюдные свадьбы, хотя для многих это очень накладно. Они ощущают определенное социальное обязательство («все так делают, поэтому и я должен», «мы обязаны выглядеть не хуже, чем остальные», «необходимо вернуть долг обществу»). Как бы там ни было, в последнее время в Ташкенте построено много дворцов для проведения свадебных торжеств: есть спрос — есть и предложение.

Ташкент, особенно его старая часть, поддерживает тесные социальные отношения между людьми не в последнюю очередь благодаря общинной организации мест компактного проживания, которые называются *махалла*. В последнее время традиционная махаллинская идентичность укрепилась, получила дальнейшее развитие, в то время как, скажем, вузовская идентичность, то есть ощущение единства со своим университетом или институтом, с однокашниками, еще не столь сильно развита, как во многих странах Запада.

Жители *махалли* вступают в довольно тесные социальные связи между собой, образуют плотную сеть человеческих отношений. Они помогают друг другу и хоронить умершего, и возвести или отремонтировать дом (это называется *хашар*), и решить другие проблемы. А лицо, которое не участвует в совместных мероприятиях, игнорирует похороны или свадебное торжество в доме соседа или в *махалле* в целом, рискует оказаться в изоляции, печально прославиться как человек, утративший человечность. На Востоке мало кто захочет получить такое «признание».

Все это создает взаимную зависимость людей, необходимость учитывать желания и возможности друг друга, последствия тех или иных поступков. Отсюда и появление заметных общественных механизмов регулирования, тенденции к социальному контролю над поведением индивида во многих ситуациях.

Современный восточный город — это общежитие, где элементы урбанистического окружения и технологического прогресса сочетаются с традиционным образом жизни. Токио, Сингапур и Сеул остаются восточными городами, несмотря на то, что по степени проникновения новейших технологий в обыденную жизнь они далеко опережают многие виднейшие города на Западе. Высокоскоростной Интернет в лифте многоэтажного дома или автоматическое снятие денег со счета водителя автомобиля сразу после дистанционного открытия им шлагбаума платной стоянки в японской столице — явление вполне обычное, однако подобный супертехнологический ландшафт мало меняет характер отношений между японцами.

Плотная социализация, выстраивание тесных отношений с соседями и жителями общины начинаются с раннего детства. Одно из главных отличий Ташкента от многих западных городов заключается в том, что на его улицах можно видеть много детей. Совместные игры и общение на улице, летнее купание мальчишек в городских прудах или речушках — знакомые многим атрибуты ташкентского детства.

Принято считать, что для Востока характерен коллективизм, а для Запада — индивидуализм. С точки зрения доминирования в общественном сознании групповых или индивидуальных ценностей, это вполне соответствует действительности. Но ошибочно считать, что на Востоке вовсе нет или мало индивидуализма. Дело в том, что восточный индивидуализм проявляется в своеобразной, нередко скрытой форме, так же, как и западный коллективизм представлен в менее приметном виде. Подобные неявные формы коллективизма и индивидуализма люди предпочитают открыто не демонстрировать или проявлять в той мере, в какой это может сочетаться с доминирующими общественными установками.

Во многих восточных странах, например, открыто провозглашается примат интересов общества, и люди в своем социальном поведении стараются не выделяться из окружения, быть лояльными к группам, которым принадлежат, не выпячивать свои личные особенности и интересы. Вместе с тем на Востоке много ярких индивидов, люди ставят личные цели и достигают их, а молодежь, особенно городская, любит одеваться разнообразно, проявлять индивидуальность в прическах, стиле жизни. Внешняя атрибутика не может не влиять на сознание людей, однако пока она не привела к размыванию их восточной идентичности. Вряд ли это может произойти и в будущем, если структура и сила социальных отношений принципиально не изменятся.

Внешние формы восточного индивидуализма часто проявляются в деталях одежды и украшений. Одежда женщины может в целом мало отличаться от общепринятой, но отдельные детали ее наряда, особенно украшения, способны сигнализировать о ее статусе, возможностях и индивидуальном вкусе. Женщины тут любят одеваться в яркие цвета, что в большей мере способствует, а не препятствует раскрытию их индивидуальности. В одежде городских женщин сейчас реже можно видеть национальные узоры, но они еще довольно распространены.

Город вообще оказывает огромное влияние на образ мышления и поведение людей. Городская жизнь заставляет их быть более конкурентоспособными во всем: в учебе, социальной жизни, профессиональной деятельности. Человек, не продемонстрировав индивидуальных способностей и умений, рискует оказаться на обочине жизни. Порой человек даже не может попасть в переполненный общественный транспорт, если не проявит силу и настойчивость и не опередит других. Надо обладать личной эффективностью и для того, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, продвигаться по служебной лестнице и даже найти стоянку для своей машины. Все это заставляет людей, особенно молодых, более открыто демонстрировать индивидуализм.

Индивидуализм человека проявляется и в использовании предметов престижа: дорогих часов, статусных автомобилей, стильной одежды, эксклюзивных ручек и т.п. Обладатели подобных «аксессуаров», несомненно, могут образовать своеобразную элитную социальную группу, ранее не представленную в обществе. Но в условиях восточного общества вряд ли такие группы могут сильно обособиться от более широкого социума.

Конечно, сейчас многие страны Востока обладают большим и динамично расту-

щим рынком товаров роскоши, а новое поколение среднего класса пытается более открыто проявлять свой индивидуализм посредством обладания дорогостоящими штучными изделиями. Но Восток, как известно, дело тонкое, и восточный индивидуализм все же в целом не обнаруживает себя так откровенно, как западный. Житель восточного города не перестает демонстрировать свою приверженность коллективным ценностям, добиваясь при этом, однако, и личных целей, то есть проявляя индивидуализм. Поэтому его слова и действия нередко кажутся многозначными, а многозначность обладает психотерапевтическим эффектом, позволяя окружающим интерпретировать информацию по-своему, в соответствии со своими ожиданиями.

Культура и дух Востока содержат в себе очень многие скрытые коды. Возьмем, например, такое характерное явление устного народного творчества, как *аския* — искусство тонкого юмора, зачастую с весьма завуалированным смыслом, проявляемое во время публичных диалогов. Слушая мастеров *аския*, нередко вопрошаешь себя: «Как вообще можно такое перевести на другой язык или хотя бы передать смысл?».

В Ташкенте, как и во многих азиатских городах, смешалось все: восточная поэзия и западная музыка, монголоидные лица и европейская одежда, нации и религии, культуры и стили, коллективизм и индивидуализм. Но это не хаотическая смесь, а определенная целостность, которая имеет свое единое качество, это цельный дух, обладающий своими скрытыми кодами, сотканными из тонких, но крепчайших нитей социальных взаимоотношений. Эта новая целостность вбирает в себя традиционалистские и модернистские тенденции, позволяя тем самым следовать к очень важной цели: не отрываться от прошлого, но и не отставать от времени. Ибо нарушение баланса между традиционным укладом жизни и готовностью идти в ногу со временем несет в себе риск: либо общество может оказаться отброшенным в прошлое — либо люди могут утратить свою идентичность.

Ташкент, 2010

Литературные «нулевые»: место жительства и работы

*Главные тенденции, события, книги и имена
первого десятилетия нового века*

В заочном «круглом столе» участвуют: Николай АЛЕКСАНДРОВ, Роман АРБИТМАН, Ольга БАЛЛА, Павел БАСИНСКИЙ, Владимир БОНДАРЕНКО, Дмитрий БЫКОВ, Евгения ВЕЖЛЯН, Евгений ЕРМОЛИН, Павел КРЮЧКОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Алла МАРЧЕНКО, Лиза НОВИКОВА, Андрей РУДАЛЁВ.

*Николай Александров, литературный критик,
телеведущий (канал «Россия-Культура»)*

«Это десятилетие прошло под знаком двух имен»

Что бы там ни говорили критики и литературные эксперты разных премий, как бы ни старались выстраивать систему литературных приоритетов, литературных школ, течений — факт остается фактом. Это десятилетие, как, пожалуй, и предыдущее, прошло под знаком двух имен — Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Они определяли российскую словесность. С некоторым преувеличением и с некоторой долей несправедливости (то есть излишней категоричности) можно было бы сказать: в современной российской словесности есть Сорокин, Пелевин и остальные. Или так: писатели приходят и уходят, привлекают к себе внимание на короткое время и исчезают в тени — а Сорокин и Пелевин остаются. Наверное, так. Теперь об остальных.

Борис Акунин — еще один писатель, творчество которого находится в центре внимания публики и вызывает пренебрежение критики. Сегодня с уверенностью можно утверждать: «проект Акунин» — еще одна удивительная и исключительная вещь прошедшего десятилетия. Акунин — лучший в жанре приключенческого романа и уже не первый год находится в ранге хрестоматийного писателя.

Событием истекшего десятилетия можно считать и роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Если не по исполнению, то по масштабу замысла, по проблематике, по отваге, с которой автор берется писать о важнейших религиозных вопросах, — это замечательное произведение.

Открытием минувших десяти лет, наверное, следует счесть Эдуарда Кочерги-

на. «Ангелова кукла», «Крещенные крестами» — книги выдающиеся. В том, что касается языка, внимания к фактуре быта, психологии характеров, живописности рассказа, Кочергин превосходит едва ли не всех современных писателей. Впрочем, дело не в том, что «превосходит». Просто так никто не умеет писать. Никто не обладает таким слухом, таким художественным зрением.

Из писателей, которые стремительно выросли за последние десять лет, в первую очередь, конечно, нужно назвать Александра Иличевского. Он только начинает подчинять себе романную форму, но уже пишет с необыкновенным умением. «Перс» — уже вполне зрелый роман, цельный, выстроенный — при том что совсем не простой по своей структуре. Премияльные триумфы Иличевского, конечно же, не случайность.

Да, ну и, разумеется, Алексей Иванов. По крайней мере, два его романа — «Сердце Пармы» и «Золото бунта» — стали открытиями. Иванов как-то затаился, ушел в другие проекты. Думается, это временно.

Что еще. Возникли и благополучно скукснились «новый бытовизм», «новая искренность», новая псевдореалистическая словесность, новый мистицизм и художественно-мифологические построения на тему альтернативной истории. Две новые премии прочно утвердились на литературном олимпе — «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Два (ну, три) издательства определяют ситуацию на книжном рынке и борются за авторов.

Кроме того, современная зарубежная литература прочно вошла в нашу жизнь. Поэтому прошедшие десять лет — это Джоан Роулинг и Стиг Ларсен (с его фантастическим «Миллениумом»), это Мишель Уэльбек, Фредерик Бегбедер, Анна Гавальда, Амели Нотомб, Джулиан Барнс, Нил Гейман, Пол Остер, Изн Макьюэн, Стивен Фрай, Мартин Эмис, Пер Улов Энквист, Эрленд Лу, Ларс Соби Кристенсен и многие другие. В соревновании с ними очень часто российские литераторы не выдерживают конкуренции.

Плюс к тому за эти десять лет стало понятно: что литературная критика окончательно утратила свои позиции; что книг издается все больше, а читателей становится все меньше; что электронные издания все сильнее заявляют о себе и, вполне вероятно, вытеснят бумажные издания; что претензии на серьезность в литературе зачастую не подтверждаются элементарными навыками письма; что очень большая часть современных российских писателей плохо и случайно образованна. И вот что еще. Едва ли не единственной книгой, посвященной Л.Н.Толстому, в год столетия со дня его смерти стала книга Павла Басинского «Бегство из рая». Это ли не знак, это ли не примета?

Роман Арбитман, литературный критик

Спой, светик, не стыдись!

Самая печальная литературная тенденция первого десятилетия нового века, не мной подмеченная, — стыдливое отношение многих отечественных писателей к слову «фантастика». Понятно, что обилие коллективных или псевдонимных «проектов» в отечественном книгоиздании сильно подорвало доверие серьезного читателя к жанру как таковому. Однако вместе с грязной водой стали выплескивать и живого ребенка: хотя большинство романов, попавших в премиальный круговорот, безусловно, подпадают под определение «фантастический» (книги Славниковой, Быкова, Симонян, Сорокина, Елизарова, Рубанова и пр., и пр. — за исключением разве что

«Елтышевых» Сенчина), практически никто из авторов (кроме, пожалуй, Марии Галиной) не рискнул признать, что они вступили в игру на одном поле со Стругацкими и Киром Булычевым и даже кое-что подсмотрели у мэтров SF and fantasy.

С другой стороны, похожую «стыдливость» ныне проявляют и те, кто еще недавно не боялся жанровой маркировки на своих книгах. Теперь слово «фантастика» потихоньку исчезает с обложек томов Михаила Успенского, Марины и Сергея Дяченко, Андрея Лазарчука, Святослава Логинова, Олега Дивова... От жанра у нас пятаются, как от проказы. Ярлыка «фантаст» опасаются, как каторжного клейма. В итоге жанр все чаще отдается на откуп тем, кому не только до искусства, но даже до честного ремесла — как до Кассиопеи.

Чтобы восстановить справедливость — хотя бы на территории этого небольшого текста, — сознательно обойду вниманием соотечественников. Назову в числе наиболее значимых событий ушедшего десятилетия три зарубежных фантастических цикла (все они переведены на русский), авторы которых не боятся позиционировать себя как фантастов. И при этом остаются по-настоящему талантливыми писателями. Итак...

Весь «металлический» цикл американца Глена Кука («Приключения Гаррета»), начатый еще в прошлом веке и продолженный в веке нынешнем. «Приключения Гаррета» (как ни оценивай отдельные, более или менее удачные его части) — самый весомый вклад писателя в копилку мировой фантастической литературы. Перед нами синтез детектива и fantasy; тот редкий случай, когда разнонаправленные векторы двух жанров почти не противоречат один другому, а, напротив, взаимно обогащают друг друга. Гаррет — частный сыщик, притом, наилучший во всей округе. Подобно персонажу из популярного фильма Роберта Земекиса «Кто подставил Кролика Роджера?» (имевшему дело не только с людьми, но и с весьма причудливого вида гражданами) центральный герой Кука занимается частным сыском в странном городе Танфере — городе, где, помимо людей, обитают гоблины, тролли, драконы, гномы и прочие сверхъестественные существа. И у каждого, заметим, свои тревоги, свои проблемы, своя тема и «необщее выражение» на нечеловеческом лице...

Вся «поттериана» англичанки Джоан Роулинг — гепталогия, соединяющая фантастику, мистику, детектив и традиционный «роман воспитания». В отличие от вечно юного Питера Пэна, герой эпопеи Джоан Роулинг, придя в чародейскую школу Хогвартс в возрасте зеленого десятилетнего пацана (первая книга), с каждым томом курсом обязан был взрослеть на один год и по-новому открывать для себя окружающий мир. Причем этот мир с каждым годом становится все мрачнее, а приключения главных героев вынужденно теряют былую легкость. В последних томах «поттериана» тематически приближается к романам о героическом Сопротивлении нацистам в годы Второй мировой; фантастические гаджеты перестают быть самоигральными и становятся лишь необходимыми атрибутами...

И, наконец, весь цикл «Плоский мир» англичанина Терри Пратчетта. Как и в случае с Куком, первые произведения были написаны в конце минувшего столетия, но и продолжение серии оказалось конгениальным. Вселенная Плоского Мира — невозможная с точки зрения современной науки и невероятно убедительная, если судить по самым строгим законам высокой литературы. Пратчетт овеществил красивую космологическую гипотезу древних, создав цикл романов о мире-диске, который и впрямь покоится на четырех слонах и одной черепахе, причем обитатели этого мира очень неплохо себя чувствуют. Пратчетт — опытный мастер юмористической fantasy. Сохраняя внешнюю видимость вдумчивого, даже несколько тяжеловесного, рассказа о невероятных событиях в странном мире, автор «Цвета волшебства» и последующих романов цикла постоянно «проговаривается», вставляет современные словечки, намеренно путает реалии и нахальным образом смешивает серьезное и наукообразное с откровенно игровым и пародийным. Пратчетт прекрасно начитан и не хуже современных постмодернистов пользуется — причем без вреда для сюжета — всеми литературными богатствами, накопленными человечеством. В густонаселенном мире цикла Пратчетта одни персонажи выдвигаются на первый план, другие им ассистируют, а потом роли меняются. Автор помещает в координаты «Плоского мира» то кинематограф, то газету, то оперу, то египетские пирамиды, то

големов, то вампиров, то драконов, а затем иронически описывает последствия для Плоского мира очередной внезапной напасти. Пратчетт жестоко издевается над канонами и всякий раз, когда можно нарушить литературные законы и заповеди, писатель их нарушает. Конечно же английский фантаст выбирает своими мишенями не столько вампиров или эльфов, сколько стереотипы. Ехидным нападкам подвергаются политкорректность, популярные психоаналитические теории, и пр., и пр. Помимо всего прочего, Пратчетт сохраняет верность себе и своему излюбленному стилю. Он остается иронистом и романтиком одновременно. Иронический склад натуры не позволяет повествованию и в драматические моменты сделаться пафосным, а романтик не может разрешить книге остаться без хеппи-энда.

К счастью, литература — не зеркало жизни, а параллельная ей реальность. И потому в хеппи-эндах — как, кстати, и в букве «Ф» на обложках — нет ничего стыдного.

*Ольга Балла, заведующая кафедрой философии и культурологии
журнала «Знание — сила»*

Время без надежд и иллюзий

Если пытаться говорить об отечественных литературных «нулевых» сколько-нибудь обобщающе, то самым интересным в них мне кажутся явления, в которых словесное искусство так или иначе, хоть сколько-нибудь, выходит за свои прежние пределы и вообще — за пределы освоенного.

Таким выходом за (многовековые!) пределы кажется мне и состоявшаяся в «нулевые» «нормализация», даже рутинизация сетевой формы существования литературы. В числе прочего это означает и убывание, вплоть до исчезновения, связанных с этой формой и эйфорий, и опасений, присущих предыдущему историческому периоду. Культура вообще и литература в частности, как это с ними обыкновенно бывает, обманули все прогнозы, делавшиеся в конце 1990-х, и осуществились неожиданными путями.

Ничего совсем уж принципиально нового — именно в смысловом отношении — «сетевая» жизнь письменного слова, похоже, не породила. Нечто новое и, возможно, даже плодотворное (по крайней мере, мне так кажется) она, правда, породила в формальном отношении: именно ушедшее десятилетие стало временем появления и бурного развития сетевых дневников — явления, родственного литературе и пограничного с ней. И что без смысловых последствий, в том числе далеко идущих, это не останется — ясно уже сейчас.

Разговоры о том, что-де интернет уничтожит литературу, если и не стихли совсем, то выглядят очень архаичными. Покуда они, уже более десятилетия, продолжают существовать, литература успела подтвердить тот вообще-то давно известный факт, что не в носителях дело.

Недавно появилась новая тревога со своими преувеличениями: не убьют ли «бумажную» книгу электронные читалки. Скорее всего, нет — две эти формы, как многожды бывало прежде, просто мирно поделают функции и разойдутся по своим культурным нишам.

Говорят еще, что интернет с присущей ему интерактивностью убьет традиционный русский толстый журнал. И это несмотря на то, что едва ли не все, по крайней мере, основные толстые журналы — даже такие гипертолстые, как «НЛО» и безвременно, но уж никак не по вине интернета почившие незабвенные «Отечественные записки» — благополучно там представлены, что, по моему разумению, идет им только на пользу. Во многих отношениях — от расширения аудитории до, например,

того, что через интернет они могут теперь находить себе авторов, с которыми — и с текстами которых — без него, пожалуй, ни за что бы не встретились. Как заведующая отделом одного вполне себе «толстого» по типу своего устройства журнала — «Знание — сила» — знаю это на собственном опыте.

В собственно литературном процессе мое внимание на себя обращают неожиданные, нетиповые фигуры, которые либо появились в это время, либо с некоторой новой силой о себе заявили.

Первой из них — скорее по яркой, одинокостоящей нетипичности, чем по собственно значимости, — приходит на ум Мариам Петросян с ее вообще уж ни на что не похожим «Домом, в котором...». Внезапный, оглушительный успех дотоле безвестного автора из Армении, даже не профессионального писателя, получившего в прошлом году «Большую книгу», явно в каком-то отношении симптоматичен для нашего культурного самочувствия. Это может быть, например, симптомом назревшей потребности в вымышленных мирах, в авторских вселенных. Причем — не (только) в утешающих, не эскапистского характера (каким мир Петросян точно не назовешь, так это эскапистским, вернее уж напротив). Скорее на такие, которые именно своей вымышленностью помогали бы осмыслить устройство нашего собственного мира, не увязая в его эмпирических деталях, в прямолинейной (и потому неминуемо упрощающей) публицистике.

Может быть, другой полюс того же процесса *мышления вымышленным* представлен Максом Фраем и, отдельно, его «Проектом Фрам», который развернулся как раз в нулевые и именно теперь, к их исходу, подошел — по утверждениям своего инициатора — к завершению. То, что делает Фрай с соратниками, представляется мне целенаправленной работой по созданию нового, животворящего мифологического слоя для нашей демифологизированной культуры, который учитывал бы ее особенности. Думаю, эта работа еще будет систематически осмыслена, по крайней мере, она на это очень напрашивается.

Продолжая мысль об «одинокостоящих» культурных персонажах, невозможно не назвать Михаила Эпштейна, который в 1990-е (и раньше) осуществлялся как эссеист, а в 2000-х осваивает новое качество — развивать собственный, тоже, кажется, ни на что не похожий гиперпроект. Даже не один. Это — прежде всего, возникший в конце 1990-х, так называемый ИнтелНет — «межкультурное и междисциплинарное сообщество для создания и распространения новых идей и интеллектуальных движений через электронное пространство», «техно-гуманитарный вестник» «Веер Будущностей» (2000—2003), посвященный технологиям культурного развития, и выходящий с 2000 года «еженедельный лексикон» «Дар слова», где автор-составитель предлагает русскому языку новые слова и понятия.

И это (я, например, не сомневаюсь) — тоже литература: «языковедство», как выражается сам Эпштейн, — обучение языка новым возможностям.

В этой связи сразу же вспоминается еще одна стоящая особняком фигура — Дмитрий Бавильский. Заявивший о себе как поэт в 1990-е и как прозаик вполне, пожалуй, традиционного свойства — в первой половине двухтысячных, сегодня он развивает особый проект воспитания слова — пестования словесных аналогов несловесного. Выстраивая словесные ряды к звукам и формам, он не только повышает чувствительность слова, расширяет диапазон его восприимчивости, но и сращивает звуковые, изобразительные, пластические и словесные искусства в единый смысловой комплекс. Частью этого же проекта видится мне и серия его интервью с музыкантами на электронных страницах «Частного корреспондента», и серия репортажей с художественных выставок. При этом я бы не назвала его «художественным критиком» в строгом смысле слова: нет, это именно литература — о том, что происходит в человеке нашей культуры в ответ на художественные стимулы. Под самый конец нулевых, в 2009-м, вышла его «Вавилонская шахта»: сборник текстов о явлениях несловесных искусств. В этом Бавильский кажется мне принципиально интереснее и плодотворнее себя-прозаика.

Все это подводит нас к пониманию существенной черты литературных двухтысячных: размыванию прежде проведенных границ между «вымыслом» и «не-вымыслом», их проникновению друг в друга и пониманию ими своего родства.

Несомненный симптом этого — и потребность (и читателей, и писателей) в нон-фикшн, явно отличающаяся по интонациям от знакомого нам по концу 1980-х—1990-м спроса на мемуарную литературу и «человеческие документы». Если тогдашний интерес к «непридуманному» мотивировался желанием понять (или, что даже вернее, придумать) «Россию, которую мы потеряли», а заодно и составить себе новую, взамен большевистской, концепцию исторического процесса, то сегодняшнее внимание к невыдуманному, по-моему, — свидетельство интереса к тому, как устроен человек. Какой он «сам по себе», вне идеологических и даже нарративных структур.

В числе свидетельств этого — практика «бумажного» издания сетевых дневников: исключительная в первой половине «нулевых», к их концу она стала вполне рутинной. Тут вспоминается — опять же не столько как самый значимый, сколько как ярко-симптоматичный — Александр Маркин, блогер *untergeher*, чей дневник за 2002—2006 годы вышел на бумаге в 2006-м. Тогда это было событие.

Очень важны, по-моему, само появление и укоренение, а там и своего рода культурная канонизация (издание на бумаге в нашей все еще бумагоцентричной цивилизации — именно она и есть) такой промежуточной, лично-публичной разновидности текстов, да еще с весьма нечеткой формальной организацией, с и того менее жесткими жанровыми признаками. Вобравшая в себя опыт и эссе, и дневника, и устного разговора, она явно оказывает растормаживающее действие на (медленную бумажную) литературу, выводит ее из сложившихся инерций, стимулирует в ней складывание форм более гибких и менее статичных. На такие мысли наводит, например, изданная в этом году книга Ольги Зондберг «Сообщения: Imerologio (2003—2008)». Совершенно бумажная, созданная на основе бумажных же ежедневных записей, эта книга «поэтической прозы» — даже не комментарий ко времени, но переживание его в словесной форме — несет на себе отчетливый отпечаток «живожурнального» мышления и стилистики и очень органично смотрится в конце двухтысячных — скорее соответствует ожиданиям, чем поражает.

Возможно, я скажу ересь (нелитературоведу позволено своевольничать), но выражением той же тенденции — размытием (надуманной!) грани между «вымыслом» и «не-вымыслом» видится мне и творчество одного из самых моих любимых авторов 2000-х — Александра Иличевского. Наиболее важным в том, что он делает, мне представляется создание словесных слепков с мира, усилие понять (прожить) через слово, как выстроен мир на уровне своих внутренних структур. Это — усилие, свойственное скорее поэзии, чем прозе. Сюжет, и характеры, и прочие традиционные признаки художественной прозы при этом, кажется, вполне инструментальны.

Как о важной черте двухтысячных, мне хочется сказать еще и об исчезновении принципиальных и непроницаемых границ между «внутренней» и «зарубежной» русской литературой, а следственно — об изменениях в самом самочувствии нашего языка.

Достаточно сказать, что по крайней мере два очень ярких и притом максимально разных русских литературных явления осуществляются в Литве — это Лена Элтанг и Макс Фрай. Впрочем, что касается Фрая, он, кажется, при всей органичности своего европейства (притом именно малого, частного европейства — как раз литовского по духу) мог бы осуществляться решительно где угодно и в свой проект втягивает русских авторов, где бы те ни обитали, от России и той же Литвы до Израиля.

Элтанг же вообще пишет такую русскую литературу, какую до нее, кажется, никто не писал. Это литература всеевропейского сознания на русском языке. В ней нет провинциальности — или, чтобы избавиться от неминуемых оценочных подтекстов этого слова, нет русской «особости». Когда бы не виртуозный язык, эти тексты можно было бы счесть целиком переводными: это опыт полноценного проживания по-русски вне русского опыта.

Русская литература — по крайней мере, в некоторых своих явлениях — перерастает узконациональное, узкоэтническое. Русский язык становится языком всечеловечности.

Кстати, о чем-то подобном можно было подумать и в связи с уже упомянутым «Домом...» Мариам Петросян — домом, стоящим неизвестно в какой стране, но уж

точно не в России и не в родной автору Армении. Книга-то написана, между прочим, по-русски.

Обязательно надо вспомнить и умершего в 2006-м Александра Гольдштейна, бакинца–израильтянина, которому наш язык, безусловно, обязан одним из своих самых сильных всечеловеческих, универсальных опытов.

Если же попытаться дать общую характеристику времени, то «нулевые» по своей эмоциональной окраске представляются мне временем без надежд, но, значит, и без избыточных иллюзий (и это при том, что именно в эти годы в литературе возникло столько интересного!). Временем черновой, будничной словесной и смысловой работы, накопления подкожного жирового слоя.

Павел Басинский,

литературный обозреватель «Российской газеты»

Ключ на старт

Сравнивая 90-е и «нулевые» в плане личного опыта, я бы сказал так: 90-е — это моя литературная родина, мое отечество, а «нулевые» — место жительства и работы. Поэтому, соглашаясь вслед за Андреем Немзером признать 90-е «замечательным десятилетием», я все-таки понимаю, что жить и работать я буду в формате, заданном «нулевыми».

«Нулевые» относятся к 90-м как НЭП к первым годам революции. В девяностые было много надежд и мечтаний, много романтики, много друзей и врагов; в «нулевые» ничего этого не осталось, зато стало можно выпускать книжки, получать за них гонорары и не делать выбор между халтурой и «служением». Жить стало лучше, но скучнее. Писатели приободрились, но стали заметно холоднее и циничнее.

В 90-е я годами не получал зарплату в «Литературной газете», писал каждый день статьи в безотчетной надежде на будущее, ругал на чем свет стоит свое время и был счастлив. Сегодня я сижу на твердом окладе, бросил заниматься критикой, не надеюсь ни на что, но при этом стопроцентно уверен, что в литературе наступили хорошие времена. Однако все лучшее в этой литературе было подготовлено в 90-е. «Нулевые» они и есть «нулевые». Ракету построили раньше, а сейчас взяли ключ на старт и начали обратный отсчет.

Проблема в том, что подавляющее число писателей не знает, что с этим ключом делать. Вертят его так и сяк, а куда вставлять не ведают. В «нулевые» я с ужасом наблюдал, как погибала (не в буквальном смысле, конечно) добрая половина моих литературных друзей и врагов. Они категорически отказываются понимать новый формат эпохи и продолжают писать «просто тексты», не чувствуя, не «врубаясь», что времена «просто текстов» уже закончились. Они все еще искренне думают, что можно написать просто хорошую статью и она будет кому-нибудь нужна. Просто хороший рассказ, и его завтра будут рвать из рук в руки восторженные читатели. Просто роман о себе и своей любимой, и роман прочитает кто-нибудь, кроме этой любимой. Они все еще верят, что можно написать «гениальное» эссе, которое будет интересно аудитории больше 2—3 человек. Они удивляются: почему они пишут все лучше и лучше, а интерес к ним читателей все меньше и меньше? Они продолжают по старинке искать причины зла в каких-то околослитературных интригах, в каком-то безнравственном «пиаре», в каких-то тайных премиальных ресурсах, которыми их, разумеется, обошли, в том, что кто-то нехороший ведет себя «правильно» (и поэтому — бездарность),

а они, как старые интеллигенты, ведут себя «неправильно» (и поэтому — настоящие творцы).

«Нулевые» были даны стране для того, чтобы она научилась жить, а не умирать за свободу. Они были даны писателям для того, чтобы они могли писать и издавать книги, которые были бы интересны читателям. Читателям, которые оправились от социального и экономического шока и пошли в книжные магазины, пошли в «Ozone» и «Лабиринт», так же как пошли в «ИКЕА» и «Метро». И те писатели, которые не осознали, что это и есть «народ» и что этот «народ» надо не презирать, а любить, ценить его только за то, что он готов отдать за их книги часть своих денег, — обречены на ползучее страдание от «непонимания». На самом деле — своего собственного непонимания.

Писать «просто тексты», даже гениальные, сейчас так же бессмысленно, как попытаться стать вторым Платоновым, вторым Набоковым и вторым Бродским...

Прежде чем написать статью, надо подумать о том, где ты ее напечатаеть. Прежде чем написать роман, надо представлять себе его потенциального читателя. Что делать со стихами, я не знаю, но, кажется, поэты неплохо устроились во всевозможных «клубах». Днем отсыпаются, по вечерам читают друг другу стихи. Если им нравится такая жизнь — Бога ради.

В литературе восторжествовал Жанр. Иначе быть не могло, и странно, почему это так не нравится писателям, почему они продолжают настаивать на ценности «самовыражения» в то время, когда «самовыражение» объективно перестало быть абсолютной ценностью. Потому что «самовыражаться» стало безопасно, комфортно и бессмысленно, если нечего «выразить», кроме самого себя горячо любимого.

Впрочем, говорить об этом тоже бессмысленно...

Главными открытиями «нулевых» я считаю Захара Прилепина, Александра Иличевского, Романа Сенчина, Алексея Иванова, Майю Кучерскую (проза), Марию Галину (проза), Елену Чижову. Прекрасно работали Дина Рубина и Александр Кабаков.

Владимир Бондаренко,

главный редактор газеты «День литературы»

О самом главном

Самое главное, что русская литература жива, как бы ее ни оплакивали сотни плакальщиц и слева, и справа.

Вот, на мой взгляд, главные тенденции в современной литературе.

Первое. Это уход постмодернизма с основной сцены. И пусть сосуществуют наряду со стержневой словесностью книги Иличевского, Славниковой, Михаила Шишкина или даже Макса Фрая, как сосуществовали наряду с большой литературой, с книгами Андрея Платонова и Михаила Шолохова, Александра Фадеева и Михаила Булгакова в двадцатые—тридцатые годы XX века книги Добычина или Вагинова. Но никогда самые замечательные и любимые мною Константин Вагинов или Леонид Добычин не определяли и не будут определять космос русской литературы, нашу стержневую словесность. Камерность в литературе хороша, когда есть литература великого смысла. Постмодернизм со своими запутанными лесными тропинками хорош, когда он не подменяет основную дорогу. Не случайно, наиболее одаренные из них, к примеру, в поэзии — Тимур Кибиров, в чем-то и Сергей Гандлевский, в прозе — Владимир Сорокин и даже Виктор Ерофеев, покинули надоевшее им пространство постмодернизма, уйдя или в социальную сатиру, или в историзм, в новые формы

неоклассицизма. По сути, все они возвращаются на поле социальной метафизики, обогащенные опытом своих удачных или неудачных экспериментов. К примеру, сорокинские «День опричника» и «Сахарный Кремль» или же ерофеевский «Хороший Сталин» находят себе совершенно новых читателей. Пусть и не все у них приемлемо, но направленность развития писателя явно от зла поворачивается к добру. Мне жаль, что Виктор Пелевин не нашел в себе силы для нового рывка и пошел по пути самопародии, сжигая своего Рафаэля («Во имя нашего завтра / Сожжем Рафаэля...») в топке разрушительной иронии. Его «Т» — это провал года, лучше бы и не печатал. Не понимаю, кто и как присудил Пелевину за этот роман одну из премий «Большой книги» 2010 года.

Второе. Практически сошли со сцены, а часто и ушли из мира сего все главные действующие лица литературы XX века. Поредел круг и друзей, и оппонентов. Ушла в историю литературы великая деревенская проза. Не стало прозы исповедальной. Ушли Виктор Астафьев, Евгений Носов, Савва Ямщиков и Александр Пятигорский... Из моих друзей я потерял прекрасного артиста, но и неплохого прозаика Николая Пенькова, издателя, фантаста, страстного публициста и правдолюбца Юрия Петухова, тонкого лирика и страстного разоблачителя тьмы Анатолия Афанасьева... Не стало наших патриархов Виктора Розова и Сергея Михалкова, Александра Солженицына и Александра Межирова. Ушло и племя шестидесятников, не стало Василия Аксенова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной... Оскудела и наша поэзия, прежде всего ее авангардное крыло, один за другим ушли в мир иной когда-то друзья, а потом непримиримые оппоненты — мой добрый знакомый Всеволод Некрасов и Дмитрий Пригов. Не стало Льва Лосева и Михаила Генделева, Виктора Бокова и Татьяны Глушковой... Дай Бог жизни нашим оставшимся могиканам XX века, но и у них все лучшее, как правило, уже написано.

Третье. Еще держатся на плаву и даже во многом определяют лицо современной прозы последние из лидеров «прозы сорокалетних» — Владимир Маканин и Александр Проханов, Владимир Личутин и Анатолий Ким, Тимур Зульфикаров и Владимир Орлов. Более того, из ярких событий в литературе первого десятилетия нового века, несомненно, надо отметить «Господин Гексоген» Александра Проханова и «Асан» Владимира Маканина. В конце концов, и «Андерграунд...» маканинский, лучшая его программная вещь, был написан уже в «нулевые» годы. И «Надпись» прохановская. Да и «Асан» — этот маканинский выстроенный миф о войне в отнюдь не мифологической Чечне — не случайно наделал столько шума. Искренне жалею, что так и не прозвучала личутинская «Миледи Ротман», Личутина как-то осознанно упорно вываливали из литературного гнезда, что удивительно — как справа, так и слева. Такой одинокий тоскующий странник. И дело не во взглядах писателя. Больно уж не ко времени его яркая живопись словом, его словесная вязь. Хорошо, что у него нрав веселый, не унывает. Иной бы на его месте от чувства недоданности давно бы писать перестал. Или по-русски запил. Не теряет своей силы и Вера Галактионова.

Ошеломил всех истинных любителей чтения и неугомонный Эдуард Лимонов. Он умудрился сидя в тюрьме, написать семь блестящих книг прозы. Одна другой лучше.

Может, для литературы и полезно время от времени сажать писателей и поэтов за решетку? Впрочем, для литературы любая трагедия полезна. Без войны 1812 года не было бы «Войны и мира», без гражданской войны не было бы «Тихого Дона». Вот и без последних чеченских войн не было бы прохановского «Чеченского блюза», садулаевского «Шалинского рейда», прилепинских «Патологий»...

Впрочем, это уже *четвертое*. Новая молодая литература. Я воспринимаю напор новой прозы еще относительно молодых писателей, поименованных нелепо «новыми реалистами», как попытку прорыва одновременно из окружения коммерческой литературы и из душноватого круга постмодернистов, как восстановление былого литературоцентризма, как преддверие модернизации всего общества. Русский народ, как один из великих народов мира, всегда имел свой национальный космос, даже у последнего пропитого забулдыги был свой космос в душе. Жить ради колбасы ему было неинтересно. Этот космос прежде всего и материализовался даже не в технических достижениях, а в литературе. Вот почему и писатели иных национальностей,

обладающие высоким творческим потенциалом, с жадностью присоединялись к русскому космосу, дабы выйти на просторы мировой культуры — это и казах Олжас Сулейменов, и киргиз Чингиз Айтматов, и еврей Иосиф Бродский, и белорус Василь Быков...

Сразу назову главные имена лидеров современной русской литературы.

Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Герман Садулаев, Сергей Шаргунов, Михаил Тарковский, Олег Павлов, Денис Гуцко, Роман Сенчин, Аркадий Бабченко, Анна Козлова, Илья Бояшов, Павел Крусанов, Александр Карасёв, Максим Свириденков, Всеволод Емелин, Алина Витухновская, Марина Струкова, Александр Шорохов, Олег Лукошин, Андрей Иванов, Александр Терехов...

При желании и необходимости могу продолжить этот список. Ибо дело не только в именах и фамилиях, а в направленности основного потока. Я видел как-то на Цейлоне надвигающийся ураган, когда вода сметает все перед собой, не замечая никаких преград, никакими мешками с песком ее не остановить. Вот так и в литературе. Вернулся в Россию спустя сто лет блестящий критический реализм, обогащенный всеми новейшими приемами (как сказал бы Путин — нанотехнологиями).

Самые заметные книги нового поколения — это и «Укус ангела» Павла Крусанова, и «Поп» Александра Сегеня, и «Санька» Захара Прилепина, и «Путь Мури» Ильи Бояшова, и «Pasternak» Михаила Елизарова, и «Птичий грипп» Сергея Шаргунова, и мрачноватый роман «Елтышевы» Романа Сенчина, и «Каменный мост» Александра Терехова. Под занавес вышел роман Олега Павлова «Асистолия». В поэзии это книги Емелина и Витухновской, Родионова и Кибирова.

Какие еще тенденции в литературном процессе я хотел бы отметить.

Это уже *пятое*. Прежде всего явная радикализация современной русской литературы. Если читать все книги подряд: «Санька» Прилепина, «Таблетка» и «Шалинский рейд» Садулаева, «Птичий грипп» Шаргунова, «Библиотекарь» Елизарова, «Первый снег» Карасёва, «Армада» и «Танкист...» Бояшова, «Дизелятник» Бабченко, «Асистолия» Олега Павлова, «Капитализм» Олега Лукошина, «Елтышевы» Романа Сенчина и даже «Будьте как дети» давнего «знаменского» автора Владимира Шарова, то увидишь: писатели отрицают в той или иной степени все нынешнее российское либерализированное общество или же воспевают ушедших в прошлое героев былой империи. Значит, писатели с молодой энергией ухватили настроения, царящие в самом обществе. Это и есть новая литературная реальность. И теперь уже они сами своими книгами влияют на общество. Они как бы предварили, предвидели своими книгами и «приморских партизан», и убийства в кубанской станице, все наше нынешнее гниение, прикрываемое телевизионным фасадом. Самая большая ценность этого нового поколения — у них есть величие замысла, есть длинная идея, есть Книга Смысла, как сказал бы Михаил Елизаров. В отличие от Пелевина с Сорокиным, в чем-то чисто литературно учась у них, тот же Михаил Елизаров в «Библиотекаре» кроме оригинального замысла, модного налета мистики, напряженного сюжета дает читателю большую идею — возвращение, извлечение Смысла из великой советской эпохи. Попробуйте прочитать роман не как детектив или головоломку, не как некие мистические истории. И окажется, что это книга о заложенных советской эпохой мощных основах развития, забытых в перестроечной лихорадке. Эта книга как бы опередила реальные итоги проекта «Имя Россия», где в реальности с большим отрывом на первое место вышел Иосиф Сталин.

Шестое. Еще одна заметная тенденция — мифологизация. Часто для больших обобщений, для более смелых подтекстов писатели мифологизируют свои сюжеты, что характерно и для лидеров современной китайской прозы, тех же Цзя Пинвы или Су Туна. Мифологизация иногда откровенно перекликается с восточной. Это заметно и в книге Виктора Пелевина «П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана», и в последних книгах нестарящего Юрия Мамлеева. Предельная жесткая реальность сочетается с мистикой и мифологией истории. Самой яркой мифической книгой последнего времени я все же назвал бы роман Ильи Бояшова «Конунг» — о судьбе древнего скандинаво-русского князя Рюрика.

Седьмое. Тенденция читателей: от постмодернизма дружно отвернулись, сколько бы премий им ни давали, беспощадной прозы нового поколения побаиваются.

Один из деятелей шоу-бизнеса воскликнул как-то на литературном обсуждении: «Мужики, ну вы даете! Вот видно, что писать не только любите, но и умеете, словом владеете и мысли связно излагать на бумаге можете... Чего ж тогда такую херню пишете?» Московская и питерская мещанская элита, а заодно и чиновники всех мастей, дружно отворачиваются от жуткой правды глубинной гибельной русской жизни. Нефть продается, газ продается, деньги в московские банки текут рекой, а на черную дыру безнадеги и вымирания всей этой элите плевать. Пусть побыстрее вымрут, только лучше будет. Не надо правды о самой России.

Нынешняя беспощадная молодая проза новых реалистов, от Олега Лукошина и Романа Сенчина до Германа Садулаева и Захара Прилепина, от Олега Павлова до Сергея Шаргунова, ведет свое страшное повествование и, увы, не видит в жизни реального выхода. Не может найти новый алтарь неизвестного бога. А правду — без надежды на выход — читать страшно. Те, кто не пожелал вчитываться в страшные описания жизни Елтышевых, в сумеречную правду нижекамского капитализма Лукошина, в книги, объясняющие катастрофу нынешней России, деградацию всего общества, присутствуют сейчас при описаниях боевых походов приморских партизан, при подсчете трупов в казачьей станице. Не нравятся народные мстители в литературе, неохота читать про безрадостную жизнь вымирающей провинции, наблюдайте за тем, как из искры приморских партизан будет разгораться пламя народного сопротивления. Вот главный вопрос литературы: у какого алтаря сегодня стоят современные писатели и какому неизвестному богу служат их мрачные герои? Часто об этом не догадываются и сами писатели.

Против чего — ясно, но *за что?* Впрочем, ответ ищет вся Россия. Вместе с ответами придет и новое читающее поколение.

Дмитрий Быков, прозаик, критик, телеведущий

«О настоящей литературе «нулевых» мы не имеем представления»

Говорить о литературных итогах «нулевых» в 2010 году явно преждевременно. Не было — и, вероятно, не будет, — эпохи, в которую русское общество не задумывалось бы «о ничтожестве литературы русской», но проходило десятилетие, и ничтожество оказывалось классикой. Вдобавок современникам вообще мало что известно о подлинной картине литературных нравов и тенденций: в России всегда свирепствует цензура — не одна, так другая. Был диктат политический, стал «форматный» — хотя «неформатом» в наше время является как раз то, что касается так называемой правды жизни: для нее в самом деле нет ни сколько-нибудь подходящего формата (ибо она не укладывается в схемы), ни надежного канала для публикации. Столичные толстые журналы печатают главным образом то, что совпадает с толстожурнальным каноном: это литература, сочиняемая для самоуважения и самоублажения. Провинциальные журналы гибнут. Именно поэтому о настоящей литературе «нулевых» годов мы не имеем почти никакого представления.

Кто знает об одном из лучших прозаиков современной России — Александре Кузьменкове (Братск)? Все мои попытки издать его сборник в Москве закончились ничем, а между тем это серьезнейший прозаик и мыслитель, равно не имеющий отношения к «новому реализму» (который в действительности перепевает штампы времен Глеба и Николая Успенских) и к социальной фантастике, напоминающей сценарии квестов. Его единственный большой однотомник вышел по-русски в Шта-

тах, и это наш позор. Кто толком знает Дмитрия Новоселова, проживающего в Уфе и пишущего так смешно, так точно, так изобретательно, без единого вкусового провала и с отличным знанием новой реальности? Он только что прислал мне большую новую вещь, и я не знаю, куда ее предлагать — покажу, вероятно, в «Дружбе народов»... В России сегодня — в нулевые это стало особенно заметно — преобладает паразитическая тенденция, которая и в политике нашей действует: это отрицательная селекция, преимущественное внимание к худшему. Худшее интересно, а лучшее — нет. Почему бы это? С чем связан этот неизлечимый, боюсь, дефект зрения? Вероятно, с общей тенденцией русского развития: сейчас чем быстрее это зерно умрет и принесет много плода, тем лучше. А пытаться оживить зерно русской цивилизации, наверное, не надо. Но что делать, если сами-то мы еще живы и отнюдь не готовы ложиться под колеса прогресса? И что, если действительная цель этого прогресса заключается как раз не в скорейшем уничтожении (перерождении) России, а в формировании нескольких десятков вот таких не желающих смириться? — потому что они-то для прогресса важнее, чем деградация миллионов, вся мировая история тому порукой. Мы живем сегодня внутри «Улитки на склоне», где у мужиков нет ни малейшего шанса, — но, может, вся история не ради мужиков и даже не ради партеногенеза, а ради Кандида? Двух таких Кандидов я назвал, не могу не назвать и нескольких поэтов, демонстративно не желающих ронять планку: это Виктория Измайлова из Читы, чьи новые стихи кажутся мне все лучше; это Игорь Караулов в Москве, в 2010 году начавший писать еще и очень интересную прозу; это Ксения Букша в Петербурге, чья проза всегда казалась мне отличной, но стихи еще оригинальней и веселей, что ценно.

Из того, что напечатано в этом году, наибольший интерес, по мне, представляет роман Алексея Евдокимова «Слава Богу, не убили», и вовсе не потому, что он вышел в моем родном издательстве «ПРОЗАИК». Скорее наоборот — он вышел в «ПРОЗАИКе» потому, что я его прочел в рукописи и туда притащил; может, это был не лучший выбор, потому что Евдокимов заслуживал большего тиража и лучшей раскрутки, чем то, что мы можем предложить (что мы вообще можем предложить, кроме самого факта издания и ненасильственной редактуры?), но, боюсь, в других местах он бы мало кого заинтересовал. Как бы то ни было, этот роман рижского автора («Тик», «Ноль-ноль», совместные с Гарросом три романа более раннего времени и весьма кусачая публицистика) точнее других вскрывает имитационную природу всего, что происходит сегодня в России, включая реванш силовиков, вертикаль и даже мафию. Это страна, в которой, «слава Богу, не убивают», но и жить, если честно, не особо можно. В высшей степени примечателен тот факт, что этот роман отлично раскупается — на декабрь мы его фактически продали — и никем не рецензируется. Вероятно, потому, что, если его рецензировать, придется говорить не столько об авторе, сколько о себе. Но меня такая ситуация скорее устраивает: если б было наоборот — рецензировали и не раскупали, было бы грустно.

Отличным прозаиком представляется мне и Оксана Бутузова (Петербург), чей «Дом» стал одной из сенсаций 2008 года. Последующие ее книги, которые она иногда мне присылает опять-таки в рукописи, ничем не хуже — но что-то я не вижу их в печати, а собственные мои издательские возможности невелики. По-моему, «Пасха на Рождество» лучше «Дома», а «Изолафобия» превосходит все, что Бутузова писала раньше, но не представляю издателя, которому сегодня была бы интересна эта кафкианская, точная, жестокая проза, умная, сновидческая, неизменно увлекательная. Бутузова сделала бы честь любой европейской литературе, но в России, чтобы тебя заметили, надо предпринимать грандиозные самопиаровские усилия, а я не уверен, что она это умеет. Мне очень нравится, в отличие от многих, вышедшая в 2010 году книга Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» — это точный диагноз всей его литературной деятельности последних лет, и наши прекрасные дамы другой ананасной воды не заслуживают, хотя хотелось бы, нет слов, прочитать и что-нибудь, адресованное Пелевиным другой публике: надеюсь, он еще не разучил-

ся с ней говорить. Я просто хочу сказать, что Пелевин в этом жанре не одинок, и если нас интересует философская и социальная фантастика — надо обращать внимание на тех, кто это действительно умеет. Пока же и в моей любимой фантастике, увы, очевиден диктат форматов — «Сталкер», «Метро-2033» и так далее. Фэнтези, слава Богу, сходит на нет, но никогда не сойдет окончательно — а что у нас есть кроме?

В свое время Глеб Павловский говорил о том, что за Путиным стоит «безгласное большинство», у которого нет ни одного легитимного канала для истинного выражения своих симпатий. Думаю, это вполне искреннее заявление, и даже верное, но Павловский несколько перепутал это большинство — здравомыслящее, умелое, желающее жить в нормальной стране — с пропутинским: оно и точно было пропутинским в какой-то момент — в 2001—2003 гг., например, — но потом быстро поняло (подозреваю, что вместе с Путиным) всю безнадежность спасения России при сохранении византийской конструкции власти. Это самое большинство готово и хочет читать серьезную литературу, с ним я встречаюсь во время писательских и журналистских поездок по стране, оно много думает, пытается работать — там, где это еще возможно, — и хорошо воспитывает своих детей. Для него только и стоит писать, да и само оно пробует сочинять вполне успешно. Но мне крайне трудно представить себе, что это большинство — значительная часть которого, кстати, рассредоточена по бывшим республикам, как упомянутый Евдокимов в Латвии или Николай Караев в Таллине, — заставит к себе прислушаться или найдет наконец канал для выражения собственных взглядов. Такой канал, правда, не обязательно должен быть телевизионным. И тогда как бы нам не получить очередных приморских партизан. Но мыслящие люди, к счастью, мало склонны к партизанству. Написал «к счастью» — и задумался. Нет, наверное, все-таки к счастью.

Что до нашумевших, обсуждаемых и знаковых публикаций «нулевых» годов — отчего-то в памяти удерживается очень немногое, и связано это, вероятно, с тем, что большая часть публикующихся авторов не делает какого-то последнего шага к шедевру. Недошедевров полно, но, как известно, именно недошедевр раздражает сильнее, чем просто хорошая литература среднего ряда: именно потому, что срывает эффект обманутых ожиданий. А происходит эта недошедевральность оттого, что писателю не хватает мужества додумать собственную мысль до конца (правда, когда хватает — как Иванову в «Блуде и муде» или в «Летосчислении от Иоанна», — находится все меньше критиков, готовых этот путь с автором добросовестно пройти). Новизна ситуации не всеми отрефлексирована: закончилось не только столетие, но тысячелетие. Это тысячелетие во многом было изуродовано искусственной проблематикой, ложными противопоставлениями вроде свободы и порядка, разума и веры; Просвещение было во многих отношениях прекрасно, но мира оно не исчерпывает, не разъясняет, а только запутывает его. Апология разума сегодня кажется мне неуместной, а новый позитивизм — грубым и плоским; мы опять знаем гораздо меньше, чем предки. Именно потому, что предкам была присуща безмерная самоуверенность. Темные глубины человеческого и национального сегодня интересней, чем вполне предсказуемые лабиринты социального. Надо искать то, что Битов назвал «Новыми сведениями о человеке», порывая с убогими концепциями вроде «интеллигентской вины», «провинциальной забитости» или «недостатка демократии». Надо уметь видеть новое незашоренными глазами, заново расшифровывая код российского бытия. Это приходится делать в начале каждого нового века, и ничего плохого тут нет — наоборот, решать новые и сложные задачи вообще-то сплошное удовольствие. Но для этого надо отрешиться от схем, когда-то спасительных, а сегодня только мешающих: «Помог парашют человеку в беде, но стал его недругом лютым, и долго, барахтаясь в талой воде, боролся пловец с парашютом». Этот процесс сегодня идет не только в литературе. Более того, в ней он наименее заметен — в силу близорукой и примитивной издательской политики. Но я почти уверен, что в десятые годы у нас будет хорошая литература. Впрочем, и в этом я не оригинален: вся русская критика ругает настоящее и надеется на будущее.

Евгения Вежлян, литературный критик

Литература научилась вырабатывать мейнстрим

Десятилетие — весьма условный критерий для периодизации литературы. Кончились ли «нулевые»? Начались ли десятиые? Рубеж десятилетий пока не принес отчетливого ощущения смены литературных эпох. Не слом. Скорее — промежуток. Пояснение начну издалека.

В «нулевые» наша литература занималась в основном институциональным обустройством. Нет, безусловно, новые тенденции и имена — возникли и состоялись в полной мере. Но и эти тенденции, и эти имена смогли состояться именно в процессе выстраивания литературой собственных внешних социальных границ и рамок.

В 2000-е закончилась эпоха складывания нового российского социума, более-менее отстроилась его структура. Все застыло, кристаллизовалось, и каждый занял отведенное ему место. В этих условиях у «большого общества» возник запрос на литературу, которая как целое в 90-е была ему «не видна», оставаясь достоянием интеллектуального сообщества (отдельные писатели, становящиеся в 90-е популярными у отечественного читателя, вроде Пелевина, воспринимались как нечто *sui generis* и погоды не делали). Причем запрос этот носил двойственный характер. С одной стороны, он исходил от «продвинутых менеджеров», которым понадобилась качественная и «умная» беллетристика, с другой — от государства, в рамках общей «реставраторской» тенденции отрабатывающего модель «великой русской литературы», а потому был внутри себя противоречив. Ибо та роль, которая отводилась литературе в рамках новых социальных отношений, кардинально отличалась от той роли, которую играла русская литература на протяжении последних трех веков ее развития. Именно в 2000-е Россия — навсегда ли? — перестала быть литературоцентричной страной. Чтение книг стало одной из форм досуга, а их покупка — частью «культурного шопинга». При этом от книги — как и от любого товара — требовалось быть и качественной, и современной. Читатель-потребитель воспринимает свой выбор как способ самовыражения, коммуникация «читатель—литература» приобретает предельно частный, индивидуальный характер. Ни пафоса преобразования действительности, ни пафоса учительного здесь больше нет. Как нет и сакрального отношения к литературе как к авторитетной инстанции общего смысла — словом, всего того, что как раз запрашивает и желает от литературы востребовавшее ее государство.

В этих условиях литература в 2000-е была вынуждена искать «язык» для поддержания наметившегося контакта с социумом, причем такой язык, который бы позволил ей и проявиться вовне, и вместе с тем выжить. Выжить — в обоих смыслах этого слова: и материально, и сущностно — то есть и получить средства к развитию, и не утратить собственно «артистической», «свободной» составляющей.

Иными словами, 2000-е поставили литературу перед необходимостью выстраивания своего «общественного лица» в терминах «брендов» и «имиджей». Именно в 2000-е возникает новый тип литературных премий, с одной стороны — независимых, а с другой — апеллирующих к идее «национального», видящих своей целью составление «сборной страны по литературе» (как «Большая книга») и ее пополнение (как «Дебют»). Теперь, к концу 2000-х, профессиональная легитимация литератора невозможна в обход подобных премиальных инстанций, как невозможна она и в обход крупных издательских корпораций, в течение этого десятилетия научившихся превращать писателя в издательский «бренд». Премиальная «сборная» лишь отчасти

совпадает с издательским «пулом», но вместе они и создают у публики желаемый имидж «настоящей русской литературы», канонизируемой как «новая классика». Налицо балансирование на канате госзаказа на «большую литературу»: пока в роли «большой литературы» общими усилиями литературной корпорации удастся представить действительно качественных писателей (имена называть не буду, они у всех на слуху).

Словом, в 2000-е литература научилась вырабатывать мейнстрим, в том числе и в поэзии, хотя последняя осталась за рамками вышеописанного процесса. Существование поэзии для общества — все еще проблематично, несмотря на то, что само поэтическое сообщество, выполняя по отношению к литературе в целом роль неангажированного пространства, своего рода «андеграунда», в течение 2000-х выработало механизмы своего расширения — за счет многочисленных фестивалей, модерлируемых неутомимыми кураторами, и интернет-общения. Именно кураторы, а не премии играют в поэтическом сообществе роль отборочных и легитимирующих инстанций. Появившиеся в 2000-е поэтические премии — «Московский счет», Anthologia и «Поэт», несмотря на то, что последняя выступает в функции «общенациональной» и назначающей «главного» поэта в большом медийном пространстве, — в основном имеют дело с уже готовыми репутациями, а не создают новые.

Деятельность кураторов привела к тому, что к концу 2000-х и в поэзии появился свой «пул» достойных авторов, представляющих разнообразные стратегии современного поэтического письма. Собственно, именно в поэзии, как в поле наименее ангажированном, происходило в основном рождение новых (а не реставрация старых) стилей и смыслов, в том числе и за счет того, что авторы, которые обрели известность в 90-е и даже раньше, в 2000-е получили как бы «вторую жизнь». Таким было возвращение А.П.Цветкова, прервавшего долгое молчание, такова была новая, обретенная после Беслана, манера Елены Фанайловой, таков был взлет Бориса Херсонского на вершину литературной иерархии. Отчасти таким неожиданным выходом к новым рубежам стало обращение к крупной форме Марии Степановой («Проза Ивана Сидорова» и «Вторая проза Ивана Сидорова»). На протяжении 2000-х актуальная поэзия прошла путь от «новой искренности» Дмитрия Воденникова к «новому эпосу» Федора Сваровского, то есть от поиска нового языка для новой субъективности — и значит — новой интонации, к расширению «лирического события», когда субъективный опыт, отраженный в поэзии, становится опытом исторического и социального «бытия-в-мире», истоком «нового поэтического зрения». Даже у таких, считающихся традиционными, поэтов, как Ирина Ермакова и Мария Галина, именно сочетание предельно индивидуальной интонации, предельно напряженного лирического переживания, захваченного рассказываемой «историей», и сюжетности, объективированности самой истории создает ощущение острой новизны.

Однако чрезмерная интенсивность событий на поэтической сцене вызвала своего рода «истончение слоя». Мелькание одних и тех же лиц на одних и тех же клубных площадках, вытеснение прочих модусов литературной жизни жанром «книжной презентации» плюс отсутствие «внешних зрителей» привели к тому, что к концу десятилетия поэтическая сцена испытывает «кризис новизны» — не вбрасывает в сообщество новые имена, а ротирует старые, уже известные. Происходит, с одной стороны, превращение ее в собственно эстраду — за счет привлечения публики популярными, «майнтримными» фигурами, создающими популярную же версию актуальной поэтики, вроде Верочки Полозковой, и, с другой стороны, — в площадку анализа и эксперимента, вовсе не нуждающуюся в зрителях. Презентации должны смениться чтением и обсуждением новых стихов, и, скорее всего, происходить такие обсуждения будут уже не в клубном пространстве.

Словом, литература на рубеже 2000—2010-х (вся в целом — и ее «прозаический», и ее «поэтический» цеха — каждый на свою аудиторию) работает как хорошо отлаженный презентационный механизм, сигнализирующий вовне о своем благополучии и о своей «полезности». Вечера, премиальные циклы, выставки, биеннале идут

своим чередом, по штатному графику. Но чтобы система действительно функционировала нормально, в ней должен быть ресурс обновления, поставляемый элементами внесистемными. Не просто молодые, амбициозные авторы, жаждущие признания «старших» (таких сейчас много), но молодые амбициозные авторы, не признающие «старших», желающие навязать миру не просто себя, но и новую систему эстетических координат. Литература от вопросов цехового обустройства и функционирования должна вновь обратиться к вопросам эстетическим, которые давно уже перестали быть предметом обсуждения на литературной сцене, к метафизическому и философскому самообоснованию и обрести глубину. Каковой в последнее время ей явно стало не хватать.

*Евгений Ермолин, литературный критик,
зам. главного редактора журнала «Континент»*

Не вдоль, а поперек

Русский писатель начала нового века осознает себя в ситуации тотального социального и культурного поражения и гражданского унижения. Россия по итогу XX века — трижды исторический банкрот.

Похоронена и отпета историческая Россия, культура которой в значительной степени строилась на христианской традиции и которая в момент слабости Русской Церкви, смилившейся с русским рабством, дала разгон литературному несмирению, обеспечив писательскому слову статус почти пророческий.

Зашел в тупик, провалился на экзамене истории метаисторический советский коммунистический эксперимент, выродившись попутно в деспотию азиатского стиля. Время, когда писатель юродствовал, если не состоял на службе.

Наконец, и демократическая революция рубежа 80—90-х годов оказалась неудачной. Так и не был найден простой секрет более-менее приличного, гуманного социального устройства.

Подсчитали — прослезились. Россия во многих отношениях уже во второй половине века все более явно становилась мировой периферией, культурным захолустьем, где шумят и пируют пигмеи. По-прежнему великое в России возможно лишь на путях личной святости и творческого подвижничества одиночек. Собственно, писателю и остается компенсировать своим трудом отсутствие убедительности в других сферах русской жизни. Вопреки ничтожеству исторического момента и поперек социального мейнстрима.

Мешанина современной жизни, связанная и с собственным бредом нашего общества, лишившегося какой бы то ни было почвы, и с тенденциями развития мировой культуры, дает писателю одно: максимум творческой, духовной свободы. И эта свобода, которая в жизни часто оборачивается беспределом как нормой патологической социальности, в литературе ведет к чрезвычайной пестроте литературного ландшафта, и к эксцессам варварства, и к игровому релятивному авантюризму, и к творческим прорывам к сути вещей. Начало нового века отмечено в значительно большей степени волей к такому прорыву, стремлением литературы к настоящему, подлинному. И это в принципе воодушевляет.

Это качество литературы пару лет назад позволило мне впервые определить литературную ситуацию понятием «трансавангард», введенным в конце минувшего

века европейским теоретиком культуры А. Бонито Оливой как характеристика искусства Запада.

Одно направление трансавангардной литературы — это новый журнализм, это фиксация простой социальной правды в режиме очеркизма, социальной аналитики-расследования (в том числе исторического), культурно-исторического эссе, публицистического репортажа (ввиду специфики социума обычно — фельетона, памфлета, часто в модусах сентименталистской дидактики или иронического стеба), социального прогноза (в формате антиутопии)... Это то, что обычно и имеют в виду, когда говорят о расцвете нового реализма. (Я пытался дать этому понятию другое значение, но мои предложения оказались гласом вопиющего в пустыне. Так тому и быть.) К числу ярких свершений в пределах этого направления относятся и стихотворный фельетон Быкова и Емелина, и «Елтышевы» Сенчина, и «Легкая голова» Славниковой, и «Русскоговорящий» Гуцко, и эссеи Пьецуха, и многообразные примеры антиутопического свойства, от «Маскавской Мекки» Волоса до «Атипичной пневмонии» Фомина, до «Сахарного Кремля» Сорокина, и успешные опыты писательской биографии... Это (при всей разности писательских индивидуальностей и творческого стажа) проза Курчаткина и Юзефовича, Дмитриева и Зорина, Рубиной, Бабаяна, Кузнецова-Тулянина, Славы Сергеева и Гришковца, Новикова, Мамаевой, Садулаева и Прилепина, Чередниченко, Шаргунова, Кошкиной и Ключаревой...

Многим эта честная правда нравится, но не всем до конца. Да и не всегда она ведет слишком уж далеко. А когда ведет, то уже и размыкается в иные горизонты. Иногда продуктивные, иногда сомнительные.

Это и разного рода ретроностальгия (от поиска исторической России Рахматуллиным и Балдиным до оккультного реабилитанса ржавого совка у Проханова или Елизарова).

Это путешествия за настоящим по мировой карте или по картам духа. Это апелляция к сакруму, богоискательство или даже богостроительство (как отчасти получилось в популярном «Даниэле Штайне» Улицкой).

Это выстраивание смыслов следом за гением и в творческом контакте с ним (Малецкий в «Конце иглы», Евгений Кузнецов, Сергей Щербаков, Юрий Екишев — за Толстым; Иличевский в «Персе» — за Хлебниковым и т.п.; поэтическая работа в традициях Бродского, Мандельштама, Ахматовой и т.д.).

Это масштабные социальные обобщения, выходящие за пределы правды факта, великолепные у Маканина (обычно — диагностика героя нашего времени).

Это сатира на философской подкладке Пелевина.

Это, наконец, нащупывание экзистенциалов разного свойства (часто опыт смерти и смертности), в том числе и просто исповедь больной и болящей души, пусть и обращенная часто к «неведомому богу» (в поэзии или, например, у Шишкина, Палей, Павлова, Георгиевской).

Если бы мне все-таки предложили определить «сухой остаток», главное в литературе десяти лет, то я бы честно признался, что с поэзией у меня некоторые трудности по этой части, а в прозе список готов. В нем — «Физиология духа», «Конец иглы» и «Анти-Штайн» Юрия Малецкого, «Испуг» (с примыкающими рассказами в журналах) и «Асан» Владимира Маканина, лучшая эссеистическая проза Вячеслава Пьецуха, «Священная книга оборотня» и «Числа» Виктора Пелевина. Это также «Быт Бога» и «Жизнь, живи» Евгения Кузнецова, «Карагандинские девятины» Олега Павлова, «Елтышевы» Романа Сенчина, «Русскоговорящий» Дениса Гуцко, «Письмовник» Михаила Шишкина (при критичном отношении к более ранним его романам), лучшая короткая проза Леонида Зорина, Ольги Славниковой, Дмитрия Новикова, Юрия Екишева, Сергея Щербакова, Марины Палей... Ну и — «Жизнь по понятиям» Сергея Чупринина, критика Натальи Ивановой, Аллы Латыниной, Самуила Лурье, Валерии Пустовой и еще некоторых моих коллег.

Павел Крючков, литературный критик

«Горели библиотеки, на помойках находили домашние архивы»

Начну с печального. Самым, думаю, серьезным событием в минувшем десятилетии стала кончина Александра Солженицына, писателя, изменившего и весь культурный мир и меня лично. Это событие разделило само время на две части — *до* и *после*. Сегодняшний постепенный выход из печати его Собрания сочинений, включение в школьную программу книги «Архипелаг ГУЛАГ» — из весомого *после*.

Уходов за это десятилетие было немало. И человеческой и читательской травмой стали для меня недавние смерти поэтессы Елены Шварц и поэта Всеволода Некрасова. В начале десятилетия скончался выдающийся литератор и переводчик Семен Липкин, возможно, последняя наша прямая связь с Серебряным веком. Сиротеет филология — вспоминаю Михаила Гаспарова и Александра Чудакова. Издательское сообщество потеряло незаурядного человека (и яркого литератора) Илью Кормильцева. Умер, вероятно, самый яркий поэт моего поколения Денис Новиков.

Горели библиотеки, на помойках находили домашние архивы литераторов. Нелегкие времена переживают литературные музеи — как мемориальные, так и экспозиционные. Еще меня тревожит некая общая (воспользуюсь удачным термином критика Сергея Костырко) и, увы, развивающаяся «рапповщина» в литературном процессе. Но это отдельный разговор.

Из хорошего. Возросло издательское дело. В моей судьбе важным событием стал выход 15-томного собрания сочинений Корнея Чуковского — поэта, литературного критика, лингвиста, специалиста по творчеству Чехова, Некрасова, англо-американской литературе. Одиннадцатитомник Бориса Пастернака и продолжающееся издание собрания Николая Лескова — без них десятилетие для меня непредставимо. Немало качественных книг вышло в «молодогвардейской» серии «Жизнь замечательных людей» (тот же «Иосиф Бродский» Льва Лосева, к примеру). Поток пошли архивные, мемуарные книги.

Возродился и укрепился институт литературных премий, из которых наиболее значимыми считаю (почившую, к сожалению) премию детским писателям-прозаикам — «Заветная мечта» и здравствующую премию имени Чуковского — детским поэтам. Что до поэзии вообще, то за минувшее десятилетие она давала о себе знать — графическая линия, что называется, поползла вверх. Вышли новые сборники и у многолетне любимых мною стихотворцев — Юрия Кублановского, Светланы Кековой, Бахыта Кенжеева, Инны Лиснянской, Геннадия Русакова, Сергея Стратановского...

Прозаическими открытиями десятилетия стали для меня публикации Дмитрия Шеварова, Александра Иличевского, Петра Алешковского и Михаила Бутова. Они близки мне и поколенчески. Книга Мариам Петросян — счастливое событие. Меня радует и то, что происходит в книгоиздательстве для детей. Отдельная статья — возрождение связки «писатель-художник книги».

...Нельзя не думать о книжных выставках-ярмарках — «Нон-фикшн» стала любимой. Летний книжный фестиваль на Крымском Валу в Москве — тоже обещает. Родились и укрепилась литературные интернет-порталы, а «Журнальный зал», уже не вмещающий всех желающих, понемногу окружается альтернативными площадками, скажем, «Мегалитом». Тенденция, однако.

В России, наконец, воздвигли памятники великому поэту — Осипу Мандельштаму. И началось это дело с монумента во Владивостоке... Тут я вспоминаю об Андрее Битове и редакторе тихоокеанского альманаха «Рубеж» Александре Колесове, уси-

лиями которого в закрывающий десятилетие чеховский год был выпущен научно комментированный М.Высоковым «Остров Сахалин» (800 страниц!).

Вопреки многообразным прогнозам институт толстых литературных журналов выжил и продолжает существовать. Традиция не прервалась. Правда, я пишу эти строки в те дни, когда существование старейшего из них — «Нового мира» — находится под угрозой: здание, которое редакция занимала в течение 46 лет, выставлено московским комитетом по имуществу на торги. Не вдаваясь в юридические обстоятельства дела и надеясь на лучшее, замечу: когда-нибудь на этом здании (или на том, которое появится на его месте) откроют мемориальную доску: «Здесь с 1964 года располагалась редакция...»

Ольга Лебедушкина, литературный критик (г. Балашов)

Время тихих мятежников

Речь даже не о тенденциях, а о художественных языках, о том, какие новые, именно литературные возможности получила русская словесность за эти 10 лет. Здесь-то на первый взгляд казалось, что дела обстоят совсем плохо: удача была на стороне не желающих рисковать, выбирающих беспроектные и безопасные варианты: затертое до дыр убого-«реалистическое» письмо, популярные биографии популярных людей. В общем, писали эти 10 лет скромненько и со вкусом. Зато надежно. Бунтарей и особых прорывов именно в отношении художественном не наблюдалось.

Но это только на первый взгляд, потому что выдавали себя за бунтарей и что-то постоянно декларировали именно те, кому в смысле литературном абсолютно нечего сказать. А те, кому сказать есть что, просто тихо делали свое дело, подрывая систему всеобщего единообразия. Так что прошедшее десятилетие можно назвать временем тихих мятежников. И таких оказалось немало даже по самым скромным подсчетам.

1) За эти годы жанр травелога и геопоэтическая эссеистика прошли путь от единичных и потому особенно замечательных случаев («Остров» Василия Голованова и проект «Путевой журнал» Андрея Балдина) до мейнстрима и «Большой книги» Андрея Балдина в 2009 году за сборник эссе «Протяжение точки» (причем первое место по результатам читательского голосования — еще более важный показатель, чем мнение профессионального жюри). С 2006 года существует серия издательства «Новое литературное обозрение» «Письма русского путешественника», в которой вышли «Пространства и лабиринты» Василия Голованова, путевые очерки Петра Алешковского «От Москвы...» — диапазон от Сахалина до Армении, «Миграция» Игоря Клеха (впрочем, и недавние «Хроники 1999 года» — тот же травелог, время, явленное через пространство), «Фердинанд, или Новый Радищев» Сенькина-Толстого — абсолютно карнавальное путешествие по Пушкинским местам и всей русской литературе. А еще в той же серии были «На пути в Итаку» Сергея Костырко и «Четыре сезона» Андрея Шарого, «Записки русского бедуина» Дмитрия Панченко. Вне серий — «Message: Чусовая» и вообще занимательное «ураловедение» Алексея Иванова, Андрей Балдин не только с «Протяжением точки», но и новой книгой «Московские праздные дни».

Понятно, что за этим торжеством травелога стоит некая новая потребность «масштабной философской рефлексии, умножения пространства сознания» (Андрей Балдин). Не случайно именно отсюда родом та разновидность большой прозы, которую условно можно назвать «геопоэтическим романом»: от «Ташкентского рома-

на» Сухбата Афлатуни до «Перса» Александра Иличевского. И это, похоже, только впечатляющее начало.

2) Наступления «времени сказок» в этом десятилетии тоже никто не декларировал. Ожидать его следовало, пожалуй, только от Людмилы Петрушевской — главной сказочницы русской литературы и неизменно «сказочной» последней полосы «НГ-Ex Libris'a» в начале и середине 2000-х. Но дальше были и Александр Кабаков — «Московские сказки», сказки Людмилы Улицкой, «Русские инородные сказки» серии ФРАМ уже в 8 томах, «Сказки для Марты» Дмитрия Дейча, «Институт сновидений» и «Обратная сторона Луны» Петра Алешковского и, наконец, замечательные «Сказки не про людей» Андрея Степанова, которого, правда, жюри премии «НОС», призванной как раз выделять новые тенденции и создавать тренды, почему-то посчитало первопроходцем. В общем, одним из самых эффективных языков описания современной реальности стали сказки, по делу названные сказками, и выдаваемые за сказки несказочные истории, а вовсе не изображение «типических характеров в типических обстоятельствах».

То же можно сказать и о фантастике, которая, как многократно было замечено в критике, «вышла из гетто», то есть из сферы масскульта переместилась в так называемую высокую словесность. Начиналось-то все с как раз противоположного. Литературно-кинематографический проект «Дозоров» Сергея Лукьяненко в 2000-х изначально задумывался как масскультурный, но чтобы уж «на века». Но выяснилось, что как-то быстро все устарело и обветшало после нескольких лет стихийного и направляемого культа. А вот «СЭС-2» и «Малая Глуша» Марии Галиной или проза Елены Хаецкой, вошедшая в недавний сборник «Тролли в городе» — это настоящая литература и, если говорить прежде всего о Галиной, — одно из главных событий финала десятилетия. О «Доме, в котором...» Мариам Петросян мне уже случалось писать как об «итоговом тексте десятилетия», поэтому повторяться не буду. Просто вспомню, потому что нельзя не вспомнить этого замечательного автора в нашем итоговом списке «тихих мятежников».

3) В 1999 году премию журнала «Дружба народов» получил рассказ Константина Плешакова «Kremlinsat.com», очень традиционный по форме, но, кажется, впервые в русской литературе коснувшийся человеческого измерения новых технологий. За прошедшее время язык и технические возможности интернета уже успели стать не только темой современной литературы, но и частью поэтики. Очень интересно было бы провести линию от рассказа Плешакова до «ICQ» и «YouTube» Валерия Печейкина («Урал», № 9, 2008; № 9, 2009). Здесь можно вспомнить и «Побег куманики» Лены Элтанг, который вырос из ЖЖ главного героя, и совсем новый интернет-роман «Арбайт» Евгения Попова.

4) И еще два имени, под знаком которых прошли эти 10 лет.

Во-первых, конечно, Анатолий Гаврилов, который по-прежнему в нынешней литературе держит высокую планку художественности почти на пределе возможного. 2002-й год — «Берлинская флейта», 2007-й — книга «Весь Гаврилов», 2010-й — сборник «Берлинская флейта» в серии «Уроки русского» издательства «КоЛибри» и подборки рассказов в «Новом мире» и «Знамени». Каждый короткий (или не очень) текст Гаврилова совершенен. По-другому не скажешь. Особенно потому, что прозу писателя, о котором речь во-вторых, совершенной никак не назовешь. Я имею в виду Александра Иличевского. Его романы всегда производят впечатление не то что бы незавершенности, но некой «недоработанности», состояния полурукописи-получерновика при всех их очевидных (и — премиями отмеченных) достоинствах. Эти два писателя — своего рода два полюса той части современной словесности, которая по-прежнему делает ставку на не слишком прибыльное и очень трудоемкое дело — приращение новой художественности. Гаврилов как автор антологический, готовый классик, и Иличевский как пример постоянного становления. Чем, наверное, и в новом десятилетии будем живы.

Алла Марченко, литературовед, критик

Прибавление или вычитание?

Что случилось, что стало в пространстве отечественной словесности за «нулевое», вялое и скучное десятилетие? На предварительные итоги не претендую, но кое-какие соображения на сей счет все-таки осмелюсь высказать.

Обозначившись еще в конце миновавшего века, в скучные эти годы окончательно самоорганизовалась и самоутвердилась группа (прослойка) хорошо и надежно обеспеченных потребителей т.н. «интеллектуальной» литературы. Жесткой, веселощичной, без гуманитарных тонкостей и психологических нюансов, выставочные образцы какой-то безостановочно выдает на гора Виктор Пелевин. Георгий Циплаков (см. «Битва за гору Мидл», «Знамя», № 8, 2006) называет специфическую эту публику «офисными интеллектуалами», а прозу, их обслуживающую, «Мидл-литературой». Издательские войны за гору Мидл, то бишь за усреднение и слова, и соображения, и воображения (результат равнения на средний класс и среднюю линию, а значит, и коммерческий успех), сняли — вывели с поля своего сражения как произведения, превышающие среднюю норму сложности, так и авторов, неходовой товар предлагающих. Взять хотя бы феномен Алексея Иванова, сочинения которого в течение многих лет, несмотря на острый дефицит новых имен, не принимали в печать по той лишь причине, что в рассуждении выделки предлагаемые им тексты не укладывались в мидл-формат. В конце концов, все-таки издали. Правда, с подачи уже обласканного столичным ареопагом земляка. Леонид Юзефович, автор блестящего исторического *вместоромана* «Самодержец пустыни», не мог, видимо, не оценить уникальный дар автора «Сердца Пармы» — способность не только воссоздать давно прошедшую жизнь в истинности страстей и правдоподобии обстоятельств, но и угадать-учуять состав ее воздуха — духа истории. Да, конечно, счастливый случай, когда все вдруг сошлось. И неожиданный успех уральцев (Рыжий, Славникова, Сахновский и т.д.), и Леонид Парфенов со своим амбициозным телепроектом «Хребет России», без Иванова он бы не состоялся, и зачавшая в *Юртин* пастернаковская тусовка. Словом, по стечению обстоятельств *Горб Уральского хребта* стал столь же притягательным местом, как некогда *Хребет Кавказа* для литераторов лермонтовской поры, а книги Иванова — модным путеводителем по нему. Пермскому «неудачнику» чудом и персонально повезло, а скольким таким, как он, не попадающим в формат, не повезло и никогда не повезет?

Больше того. Неприятие неординарного, в чем бы оно ни проявлялось, к середине десятилетия сделалось столь агрессивным, что даже не желающая усредняться читающая публика пересмотрела (сузила) круг своего чтения. В чем только не обвиняют кураторов премиальных инициатив! На очередном телешоу у Михаила Швыдкого («Культурная революция», последний ноябрьский выпуск 2010 года) сюжет был развернут так: премии губят литературу или, наоборот, помогают ей выживать? Вопрос, по-моему, нарочитый, и ответа на него я не знаю, а вот за результатами (списками) премиальных сшибок слежу с интересом — они куда информативнее, чем мнения и рассуждения их организаторов. Скажем, такой факт. За пять лет существования «Большой книги» первую премию дважды получили сочинения в биографическом роде: «Пастернак» Дмитрия Быкова (2006) и «Уход Льва Толстого» Павла Басинского. Отмечены именно сочинения, а не авторы, поскольку ни Быков с объемистым «ЖД» (2007), ни Басинский с бойким «Русским романом» (2008) дальше шорт-листа не продвинулись. Можно, конечно, объяснить сей казус тем, что среди добравшихся до финала прозаиков у Быкова в 2006-м не было соперников, но это не так. В том шорт-листе были и Алексей Иванов с удивительным «Золотом бунта», и Ольга Славникова с холодно-ярким «2017»-м, недаром в том же премиальном сезоне она станет

лауреатом «Русского Букера». Чем руководствовалось большое жюри «Большой книги», я, разумеется, не ведаю. Не исключено, что попросту рассчитывало на сногсшибательный эффект гремучей смеси трех миллионов с двумя громкими именами, но объективно выбор «Большой книги» совпал с выбором интеллигентной, воспитанной на классике, в том числе и советской, гуманитарно ориентированной публики. В начале «нулевых» «люди книги» еще не только читали, но и собирали (коллекционировали) прозу лауреатов престижных премий. Но очень скоро перестали это делать. Лауреатские тексты, даже Букеровских кондиций, не давали того, без чего чтение слов превращалось в глотание пустот — возможности собеседничества, а значит, и прибавления жизни. Помните, у Кушнера: «Даже беды великих людей дарят нам прибавление жизни...»? Ну, а кроме того, великий или хотя бы замечательный человек — всегда и прежде всего характер, в современной романной прозе, за редчайшими исключениями, отсутствующий. (Изгнан мнимым величием авторского замысла за строптивость и непредсказуемость, как характерный актер из режиссерского театра, как мастерство живописания из якобы актуальных арт-проектов.) А если нет характера, то нет ни сочувствия, ни сопереживания. Ни со стороны автора, ни со стороны читателя.

И все-таки, как мне представляется, состояние нашей словесности не так безнадежно, как кажется, поскольку, в отличие от прозы и критики, поэзия скучного десятилетия явление замечательное и вполне состоявшееся.

Лиза Новикова, литературный критик

Бумажный ключ к железному замку

Хорош или плох роман, но чуть ли не к каждому действительно настойчиво подбрасывает «соответствующие» сюжеты. Тимур Кибиров рассказывает в «Ладе» (2010) сентиментальную историю дружбы бабушки и дворняжки, оставшихся в вымирающей деревне — новостная лента выдает сообщение о том, как одинокую подмосковную старушку загрызла подаренная собака. Александр Иванов романтизирует пьяного «географа, который глобус пропил» (2003) — а нынче подобных «учителей» судят за то, что погибли дети, которых они отвели в неположенное для купания место. Совпадения, может быть, и случайные, но ощущение диссонанса надежно закрепляется. Однако и автор, смиренно подождавший прихода информационного повода, тоже остается внакладе. Ольге Славниковой в «Легкой голове» (2010) удалось страницы, описывающие теракт в московском метро, но не всегда разберешь, то ли это заслуга автора, то ли просто твое сердце обливается кровью при упоминании кошмара, для разговора о котором и слов-то не подберешь. Даже «Мир и хохот» (2003) Юрия Мамлеева, с его безошибочным описанием жутковатой притягательности русской почвы, «потаенной Москвы», как-то померк после нынешнего августа, когда москвичи убедились на своем горьком опыте, что за городом надо как-то следить и ухаживать, иначе подобной жаркой «метафизики» надолго не хватит.

Впрочем, это личные переживания одного отдельного читателя. На самом деле все это десятилетие наша литература продолжала кружить своих новых персонажей в бесконечном танце. И уже сами читатели могли ощутить себя отражением, тенями этих героев. От маканинского Петровича — до акунинского Фандорина, от шишкинского переводчика — до риэлторов Волоса, от «афганцев» Ермакова — до шаргуновских «хороших плохишей», от левкинских «големов» — до быковских бедолаг, от бизнесменов Архангельского — до ученых Иличевского, от латынинских капиталистов —

до сенчинских мужиков, от тридцатилетних Владимира Козлова — до их ровесников Гарроса и Евдокимова, — вся эта публика действительно характеризовала жизнь 2000-х. Да, еще «ежики» Кучерской и «оборотни» Пелевина. Собственно, они и были той отечественной продукцией, которой у нас выпускается так мало. Некоторая ее бледность и непрокрашенность объясняется тем, что ожидания были слишком велики. Груз всех неизготовленных или плохо сделанных уютов, пылесосов, телевизоров и детских велосипедов, непостроенных научных институтов, больниц и забытых детских площадок — с таким не справятся не только писатели. Тут в выигрышном положении находится только выносливая салонная литература, она все 2000-е и была «на коне»: Минаев и Робски передали эстафету Садулаеву и Гиголашвили. За искренность, живой голос и психологизм отвечали «Крепость сомнения» Антона Уткина, «Приключения женственности» Ольги Новиковой, рассказы и романы Анны Матвеевой. За гротеск, политическую заостренность — Владимир Сорокин. А главные и самые опасные узелки завязали Виктор Пелевин в романе «t» и Михаил Шишкин в «Письмовнике». У одного изображены собратья-писатели, которые буквально питаются человеческими душами, у другого зияет та пустота, в которую может провалиться общество, слишком превозносящее «русское слово», как сакральное, так и литературное.

Ключевой образ русской действительности на самом деле — никакая не «хтонь», те, кто так говорит, отчаянно лукавят. Материал, из которого и выстроилось наше бытие, совершенно четко определял еще Гоголь, говоря о «железных несмягченных пороках». В политической и социальной жизни дверца прочной клетки 2000-х захлопнулась. Но, возможно, спасительный ключик остался у литературы. Глядишь, не проворонит?

Андрей Рудалёв, литературный критик (г. Северодвинск)

Можно ли говорить об исходе реализма?

Рассуждая о десятилетии на небольшом пространстве, не хотелось бы заниматься перечислением имен, симптомов, ставить диагнозы. Попробую, уже не столько оглядываясь назад, обозначить развитие принципиальной для меня тенденции, которая проявилась в «нулевые».

Важно, что литературный новый век начал развиваться под флагом возвращения реализма в традиционном для русской культуры понимании. Конечно, здесь в первую очередь вспоминается творчество «молодых», заступивших в литературу в это десятилетие, «новый реализм» тридцатилетних, сформировавшихся на разломе эпох. Хотя реализм «нулевых» — это не какой-то поколенческий признак, а категориальное качество литературы, которая просто не имела права отгородиться от жизни и уйти в свою локальную искусственную резервацию и заняться игрой в бисер.

Теперь о развитии реализма. Буквально за последнее время приходилось слышать несколько реплик о его убывании. Роман Сенчин отметил, что он вновь становится редкостью, ведь «писать реалистично — сложное дело, и многие писатели, начавшие с него, уходят в какие-то вымышленные пространства, в параллельности, заглядывают в прошлое и будущее». Ирина Мамаева, дебютировавшая в середине десятилетия с отличной повестью «Ленкина свадьба», в интервью мне сказала, что после активного черпания реальности пойдут новые тексты «уже о чем-то над-реальном». Она также считает, что «реализм уходит из литературы».

Култук — байкальский свежий и холодный ветер, продувающий насквозь, — так обозначила нижегородский прозаик Елена Крюкова русскую реалистическую прозу

«новой волны»: «Долго жить на ветру нельзя: ты превратишься в плакат». Социальное и «не только», как у Достоевского в «Братьях Карамазовых», — «секрет дальнейшего движения нашей литературы».

Честно говоря, я не разделяю эти опасения об исходе реализма. Бытописанием и фактографичностью в русской литературе он никогда не исчерпывался. В его продуваемом ветре «нулевых» был смысл подготовки разговора о важном. Здесь я могу апеллировать к мнению Германа Садулаева, которое он высказал, когда формулировал «группу 7.0»: предыдущий период или «нулевые» можно воспринимать в качестве романтического этапа, времени «эмоциональных выплесков». Сейчас идет преодоление этого через самодисциплинирование по «направлению к эстетическому совершенству», и социальное здесь будет идти параллельно с метафизичностью.

Напитавшись реальностью в «нулевые», отечественная литература должна пойти в народ, чтобы ухватить эстафету русской литературы. Необходим новый извод производственного романа в синтезе с деревенской прозой. Начало этому положили «Елтышевы» Романа Сенчина. Семья Елтышевых была исторгнута из малого города на обрыв мира, на склон жизни. Это постдеревенская проза, когда деревни уже нет, а вместо нее уже кружат осколки, становящиеся смертельными.

Умирание деревень, стягивание человеческого пространства к городам, убывание могучей витальности в людях, теряющих свою укорененность, — в общих чертах общеизвестный лейтмотив деревенской прозы прошлого века. Сейчас эта динамика свертывания человеческого пространства в России продолжается. Тенденция такова, что по сравнению с ней затухание деревень — скромный сюжет.

Если сопоставить с 70-ми годами прошлого века, пространство страны сейчас стало все больше стянутым и в то же время раздробленным. Центростремительный магнит свертывает его в одну точку, зачищает. Практически совсем ушли в небытие русские деревни, о которых тосковали почвенники. Теперь пришла очередь за малыми городами. Кондопога, Пикалево — локальные вспышки в информационном пространстве, которые лишь скупо намекают на проблему. А таких по телу страны сотни. Сейчас некоторые из них получили приставку «моно», которая является пропуском в своеобразную «Красную книгу». Советская индустриализация канула в Лету, ее города-вешки по стране — уже не более чем обуза. Они, как деревня в свое время, совершенно не конкурентоспособны, истощаются людьми. При этом все активнее муссируются разговоры о миллионных агломерациях, которые придут на смену прежнего административного деления страны и поставят крест на провинциальной городской системе.

Новый «производственный» роман — фиксация этой уходящей Атлантиды. Разлом страны особенно сильно прошелся по ней. Города-заводы были спаяны шестеренками в системе разлетевшейся империи. Именно об этом феномене, который может стать равносильным деревенской прозе XX века, сейчас, на мой взгляд, должна говорить литература. Там кладовая образов, тем, примеров проявления человеческого характера. Это уникальный факт, как поколение 30—40-летних людей, заставших и впитавших в себя ушедшую страну, но живущих среди новостроек свежей и еще не совсем понятно какой... Это будет логическое следствие прививки реализма в первом десятилетии века и поднимет саму литературу на должный уровень, изменит ее инерцию констататора уходящего момента, погруженного во вчера.

Александр Мелихов

Дрейфующие кумиры

Гениальность не собственное качество писателя, но его социальный статус. Как бы ни восхищался его творчеством круг ценителей литературы, мир согласится назвать гением лишь того, кто служит его собственным, мирским целям. Издевки Писарева насчет того, что поэта можно назвать гениальным ничуть не с большим основанием, чем повара или маркера, именно это и имели в виду: не может быть гением тот, кто занимается пустяками, какой бы виртуозности он ни достиг.

Писарев был не прав только в том, что считал красоту незначительным украшением блюда, которое и без нее остается столь же питательным (или непитательным). Тогда как стремление ощущать себя красивой частью красивого мира является фундаментальнейшей человеческой потребностью. Работая с людьми, пытавшимися добровольно уйти из жизни, я не раз убеждался, что убивает не само несчастье, а унижительная его некрасивость. Тот, кому удастся создать красивый образ своего поражения, своей утраты, вновь обретает гордость, а следовательно, и силу.

Но обычные люди этого не замечают, как не замечают своей нужды в витаминах, они превозносят писателей за возможность использовать их для поддержки или низвержения тех коллективных сказок, борьба которых составляет главный конфликт эпохи. А когда сказки умирают, обычно умирают и гении, чье творчество их концентрировало. Вернее, с угасанием сказки, на волне которой они поднялись, вчерашние гении дрейфуют из практического мира тревог и битв в мир чистого искусства, где их ждет общественное забвение или в лучшем случае почтенная, но уже далеко не такая громкая социальная роль.

Так писатели дрейфуют от роли к роли, но статус гения, как правило, им больше не светит, поскольку умершие социальные грезы редко поднимаются из могилы. Но даже и в этих случаях воскресшие сказки обычно находят другого выразителя, который и становится новым гением на час.

Настоящие писатели всегда понимали суетный характер очень уж громкой славы. Тургенев говорил, что толпа и знатоки всегда ценят книгу по противоположным причинам. Хемингуэй повторял, что писателей чаще всего выдумывают критики ради поддержания каких-то своих теорий, что писатели становятся знаменитыми, благодаря не лучшим, а худшим своим качествам. Когда Толстому передали, что он (изображающий его актер) включен в «шествие мудрецов» на Всемирной выставке, Лев Николаевич только хмыкнул: «Они из всего сделают комедию».

Современный мир — действительно царство пошлости, утилизации высокого, стремления все бессмертное поставить на службу преходящему. Это не всегда плохо, преходящее тоже бывает очень важным и даже благородным, покуда оно не пытается подменить собою вечное. Цветаева называла чернью тех, кто считал Маяковского плохим поэтом за то, что он служил советской власти, а Гумилева великим поэтом за то, что советская власть его расстреляла.

Чернь подчиняет вечное суетному — это ее определяющее свойство, и временами мы все ведем себя как чернь. Боюсь, претензия на беспримесную аристократичность, полную сосредоточенность на бессмертном сродни претензии на сверхчеловечество...

Я на сверхчеловечество не претендую, а потому, мне кажется, отчасти могу

понять, по какой причине литературные кумиры моей юности дрейфовали от славы к забвению и от забвения к славе, от роли к роли и от функции к функции.

Отстоявшие свободу

После воскрешения Михаила Зощенко в 1958 году его «Избранное», как и всякий дефицит, оказалось прежде всего в семействе нашего начальника продснаба, и я с некоторой завистью прислушивался, как они перебрасываются потешными цитатками, приговаривая: Михзощенко, Михзощенко...

О том, что Зощенко не просто забавник, но обличитель, я узнал лишь в середине шестидесятых в суперинтеллигентном столичном доме. Западническом, сказали бы сегодня. Там он воспринимался как разоблачитель советской кондовости, как цивилизованный человек, с изумлением вззирающий на повадки дикарей.

При старом режиме в юбилейных статьях полагалось сначала отметить, чем писатель приблизил «новую жизнь», а потом помечтать, как он был бы счастлив в эту жизнь окунуться. Вот и задумаемся: как Зощенко оценил бы новую Россию, смело шагнувшую на Запад и даже его перешагнувшую?

Запад у Зощенко маячит нездешней эlegantностью: любая личность **оттуда** обладает ослепительным гардеробом, одеколоном, фотоаппаратом, брюкодержателем и так далее. А качество продукции там такое, что хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай. А у нас что? Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит... Делает что-то руками. Петух ходит.

Да и в городе не лучше. Если не считать, конечно, каких-нибудь государственных деятелей или, скажем, работников просвещения...

А веселого читателя, «который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам». Сам же автор «просто не рискует сочинять небывлицы о тамошней иностранной жизни».

Тем не менее иногда он все-таки позволяет себе заграничные зарисовки, объясняя, почему у них, у буржуазных иностранцев морда более неподвижно и презрительно держится: без такой выдержки они могут ужасно осрамиться — там уж очень исключительно избранное общество, кругом миллионеры расположились, Форд на стуле сидит, опять же фраки, дамы, одного электричества горит, может, больше как на двести свечей...

Как же Зощенко оценил бы нынешний гламур, если даже его первоисточник годился лишь для пародирования? После сталинского удара, обрушившегося на голову невинного, казалось бы, юмориста, его жена написала лучшему другу писателей длиннейшее письмо, в котором среди излиятий любви к вождю и оправданий своего суженого упомянула и о том, что Зощенко всегда отказывался от заграничных приглашений, «так как не видел для себя никакого интереса в этих поездках».

В конце письма заступница выразила робкую надежду, что Зощенко когда-нибудь все-таки сумеет изобразить красоту и величие наших людей и нашей неповторимой эпохи — теперь он ясно осознал необходимость «положительной» литературы, «воспитывающей сознание наших людей, особенно молодежи, в духе наших великих идей». Вряд ли Сталин поверил в способность Зощенко воспитывать молодежь в духе сталинских идей, но продолжение могло его заинтересовать: «Если же такая работа окажется выше его сил и возможностей, может быть, он напишет... сатирическую комедию, осмеивающую жизнь и нравы капиталистической эпохи».

После этого продовольственную карточку Зощенко восстановили («Европа нам поможет!»), а комедия получила название «За бархатным занавесом» (с намеком на занавес железный), и действовал в ней миллионер барон Робинзон, который, опасаясь покушений, завел себе двойника по имени Браунинг; тот же, не будь дурак, подменил миллионера собственной персоной.

Комедия была отвергнута из-за недостаточной злобности, но насмешка над

шикарной европейской жизнью и там была неподдельной. Ибо не только о брюкодержателях, но и о европейских писателях Зощенко отзывался с явной иронией: «Кругом полное благополучие. Герои все как на подбор красивые. Ходят в шелковых платьях и в голубых подштанниках. В ваннах чуть ли не ежедневно моются. А главное — масса бодрости, веселья и вранья».

Разумеется, и это пародия, но в подтексте опять-таки истинное чувство: живите собственной жизнью, никакие бубны за горами ничего серьезного вам не откроют. А потому все, кто в Советской России корчил европейца, да еще, скажем, носил имя Мишель, в мире Зощенко оказывались особенно жалкими. Тогда как его естественные обитатели жалкими не были.

Зощенко населил советский космос уморительными куклами, как и у Гоголя, лишенными внутреннего мира, — что позволяло потешаться над ними, не испытывая сострадания. Все их жизненные силы отданы борьбе за хоть какое-то подобие нормального («мелкобуржуазного») человеческого существования, борьбе, в которой они всегда проигрывают. Но — **никогда не приходят в отчаяние**.

В их мире прозвучали бы странной нелепостью любые пышные иностранные имена — скажем, **лорд Байрон**. При том что Зощенко куда больший пессимист, чем Байрон. Байрон презирает людей с высоты неких идеалов — в мире Зощенко идеалисты ломаются первыми, превращаясь в хамов и жуликов, а то и в троглодитов. Байрон хотя бы в истории видит величественные фигуры, а у Зощенко и вся история заселена тем же суетливым жлобьем. Зощенко оскорбляет не столько власть тиранов, сколько вообще власть материи над духом, «анатомическая зависимость». По обыкновению изображая простачка, он оскорбляется вещами более чем серьезными — почему, например, человек главным образом состоит из воды, что он, гриб или ягода? Да и все остальное в высшей степени посредственное, уголь, кажется...

На юбилее Евгения Шварца Зощенко произнес очень грустные слова: когда-то я хотел от людей доблести, потом порядочности — теперь же хочу только приличий.

Он хотел от людей очень немного, но не получил и этого...

В тараканьем царстве Зощенко все настолько микроскопично, что в нем почти невозможно разглядеть тот самый тоталитарный мир, который послужил источником мрачного вдохновения патетическому Оруэллу. Хотя и тот, и другой изображали мир тоталитаризма, мир Зощенко предельно далек от мира Оруэлла, в котором есть какое-то мрачное величие. В мире Оруэлла возможна трагедия: любовь, восстающая против власти лозунгов, критическое мышление, посягающее на тотальный контроль, — в мире Зощенко нет ни лозунгов, ни любви, ни мышления, его герои сходятся и расходятся в силу примитивнейших житейских обстоятельств, а лозунги в их речь проникают лишь в пародийном обличье. В этом мире нет места идеологии, царит там лишь одна тотальная власть — власть куска хлеба и уголка жилплощади. Если туда и проникает история — скажем, юбилей Пушкина, — то на обитателях этого мира он сказывается единственным образом: их выселяют из чудом добытого закутка, который поэт «осчастливил своим нестерпимым гением».

И все же Зощенко был почти любим властью, покуда его сатира воспринималась как обличение «мещанства», «родимых пятен старого мира». Однако к концу войны Сталин понял, что под пером Зощенко не только рядовые «положительные герои», но и самый человеческий человек — Владимир Ильич Ленин обретает черты забавной марионетки. И Сталин подал сигнал. Он правильно углядел, откуда исходит угроза его теократии — от иронического снижения, а не от патетической ненависти.

Тогда-то в августе 46-го в докладе Жданова Зощенко и был назван пошляком и подонком, проповедником гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, а заодно лишен «рабочей» продуктовой карточки; издательства, журналы и театры стали разрывать заключенные с ним договоры, требуя возврата авансов...

Стараясь хоть немного «отмыться», Зощенко написал Сталину поразительное по наивности письмо: **«Я никогда не был... человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас»**.

Но Сталин и не предполагал, что Зощенко трудится на благо помещиков и банкиров — достаточно было того, что мироощущение и даже сам язык Зощенко были несовместимы не только с коммунистическим, но и **ни с каким другим пафосом, без**

которого никакая теократия невозможна: «Жизнь, на мой ничтожный взгляд, устроена проще, обидней и не для интеллигентов».

В этой жизни нет места ни подвигам, ни буржуазным иностранцам. Как бы, интересно, ему глянулось нынешнее их море разливанное столичного разлива? Провинциальные-то барышни, вероятно, глядят на них теми же влюбленными глазами, что и простодушная Мария Кондратьевна на Смердякова: «Я иного нашего щеголочка на трех молодых самых англичан не променяю», — но истинных героев и героинь Зоценко, я думаю, не взять ни Иосифом Сталиным, ни Максимом Галкиным. Именно они, эти несгибаемые тараканы и божьи коровки, а вовсе не интеллектуалы и одолели тоталитаризм, не допустив идеологию в глубину повседневности, пропустив утопические валы у себя над головой. Пережили деспотизм — переживут и плюрализм.

А вот нам демократия дала куда более суровый урок: жизнь устроена не для интеллигентов. В чем Зоценко наверняка убедился бы снова. Но эта его социальная роль, роль пророка-пессимиста, и сегодня мало кем замечена — для одних он по-прежнему забавник, а для других — обличитель советского строя, пострадавший за свою смелость. Он и на памятнике в Сестрорецке сидит с печальной, но все-таки улыбкой. Сидит и у библиотеки его имени, и на собственной могиле, стиснутой ординарными советскими оградками.

Байрона небось никто не стал бы так изображать...

Владыкой мира будет — что?

Когда на рубеже 90-х на нас обрушились фантазмагии «Котлована» и «Чевенгура», Платонов был воспринят как дедушка перестройки, еще на рубеже 30-х готовивший пришествие демократии и свободного рынка. Ибо городок Чевенгур, где кучка большевиков объявила вредоносной буржуазностью и труд, и ум, порождающие опасность угнетения, — этот Чевенгур выглядел жесточайшей сатирой на коммунистическую химеру. А все, что не коммунизм, то либерализм — иного не дано.

Платонов первым показал, что фашист есть примитивный человек, загоревшийся великой идеей. В «Котловане» советский проект представал рытьем гигантского котлована для общего дома всех трудящихся, у подножия которого крестьяне устроили склад гробов, не надеясь пережить подступающее блаженство...

Землекопы и впрямь к строительству не приступают, а направляются истреблять «зажиточность» в деревню, где судьбу крестьян, недостойных войти в колхозную Землю обетованную, решает не идейный рабочий, а медведь-молотобоец. Рабочих же представляет излюбленная мифотворцем Платоновым пара — не ведающий сомнений богатырь Чиклин и печальный философ Воцев. Такие русоподобные фамилии можно встретить разве что у русских персонажей американских писателей (Карков у Хемингуэя или Субьенков у Джека Лондона) — да еще в диковинном и, вместе с тем, невероятно достоверном мире Платонова.

В конце концов всех нечистых сплавляют на плоту по реке в морскую пучину, но мудрый подкулачник успевает произнести пророческие слова: вы по всей стране уничтожите частное хозяйство, но само-то государство все равно останется частным владением; вы уничтожите нас, другие уничтожат вас — в конце концов в коммунизм войдет один ваш главный человек.

Это фирменное изобретение Платонова: с видом деревенского простачка, начитавшегося советских агиток, ронять косноязычные реплики, исполненные поразительной глубины. Из-за этой сверхвысокой концентрации юродствующей мудрости, из-за этой смеси казенного с простонародным Платонова невозможно перевести на другие языки, не знавшие слияния пропагандистского штампа с рабоче-крестьянским образом. Гибрида, порожденного браком квазинаучной утопии с народной сказкой. Ибо для Платонова марксистская утопия была вовсе не избыточно, а недостаточно сказочной: она не мечтала о воскрешении «соплевших людей», о покорении космоса.

В юности Платонов и не скрывал своей зачарованности марксистской грезой о пролетариате, чей труд с исторической неизбежностью породит рай на земле. Его

первый (и последний) стихотворный сборник «Голубая глубина» (1920 г.) прямо-таки фонтанирует захлебывающимся энтузиазмом:

Мы усталое солнце потушим,
Свет иной во вселенной зажжем,
Людям дадим мы железные души,
Планеты с пути сметем огнем.

В автобиографии 1922 года двадцатитрехлетний гений в творчестве и чудаковатый энтузиаст в миру писал: «У нас семья была одно время в десять человек, а я — старший сын — один работник, кроме отца. Отец же, слесарь, не мог кормить такую орду. Кроме поля, деревни, матери, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машины, поющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится».

Он и в зрелые годы любил изображать живое как механическое, а механическое как живое, его изначально оскорбляло противопоставление высокого искусства и обыденного труда: «Отлить, выверить и проточить цилиндр для паровоза требует такого же напряжения высших сил человека, как и танец балерины». Его механики всегда поэты.

Платонов и после неопубликованных «Чевенгура» и «Котлована» полагал во вполне материалистическом духе, что писатель должен практически трудиться «на стройке наших дней», что все возвышенное рождается из житейской нужды, однако публикация в журнале «Красная новь» повести «Впрок» сделала его имя полузапретным. Хотя жестоких сцен у Платонова куда меньше, чем, скажем, в увенчанной Сталинской премией «Поднятой целине», но — колхозное строительство у Платонова выглядит затеей чудаковатых мечтателей.

И Сталин это раскусил: лучше кровь, чем дурь. На полях «бедняцкой хроники» сохранились горестные заметы сталинского сердца: балбес, пошляк, болван, подлец, мерзавец. В мае 31-го отлившиеся в политкорректное резюме: «Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головоотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. И. СТАЛИН. P.S. Надо бы наказать и автора и головоотяпов так, чтобы наказание пошло им "впрок"».

Прозревший редактор «Красной нови» Фадеев развернул сталинскую лапидарность в статью «Об одной кулацкой хронике»: под маской юродствующего «душевного бедняка» дышит-де звериная кулацкая злоба. Хотя политическим намеком в повести выглядит, пожалуй, только артель бывших героев гражданской войны, захвативших старинную усадьбу и более никого к себе не допускающих, Фадеев больше возмущался паноптикумом «дурачков и юродивых». Один изобретает электрическое солнце; другой заготавливает крапиву для порки капиталистов; бедняк Филат, вступив в колхоз, умирает от счастья... Про машину для аплодисментов Фадеев не упомянул.

Каясь перед коллегами-писателями, Платонов признался, что его художественной идеологией с 1927 года была идеология беспартийного отсталого рабочего, проникнутого буржуазным анархизмом и нигилизмом, но на самом деле это был народный юмор, не позволяющий себя подмять **никакой** идеологии, ни «буржуазной», ни «пролетарской», здравый смысл человека, вынужденного каждый день одолевать житейскую нужду.

Тем не менее обреченный на молчание как прозаик-мыслитель, Платонов в цикле критических статей о тогдашних западных писателях — Хемингуэй, Олдингтон, Чапек — неизменно упрекал их в том, что они не идут к человеку труда.

Платонов через всю жизнь пронес веру в детскую сказку: владыкой мира будет труд! Как будто создатель непременно должен быть и хозяином...

Но таковы даже самые мудрые из нас: мы все склонны глобализировать наиболее неизгладимые детские впечатления. Тот, кого потрясла грызня, провозгласит, что жизнь — борьба, тот, кого впечатлило сотрудничество, будет считать главной силой взаимопомощь...

Даже на моем собственном веку солью земли были то солдаты, то ученые, а

какие отпечатки налагает на сегодняшних детей нынешняя жизнь, я просто не представляю. А ведь именно эти образы разрастутся в завтрашние социальные теории, которые станут править миром...

Ясно лишь, что героем этих сказок уже не будет человек труда, ибо наши дети и внуки не наблюдают ни машин, ни потной или непотной работы. А значит, Платонов будет чужд завтрашнему миру, как он чужд уже сегодняшнему.

Хотя сегодняшний мир этого не замечает. Немногие ценители наслаждаются нигилистической составляющей платоновской фантазии, но даже и из них мало кто догадывается, что имеет дело не с ниспровергателем, а с необузданным мечтателем, последним мамонтом умершей пролетарской сказки.

Так, видно, тому и быть.

Тайный властитель

Эренбург в последние годы его жизни был несомненно уже не реальным человеком из плоти и крови, но легендой. Особенно среди прогрессивно настроенной провинциальной интеллигенции. Это был образ даже не борца с режимом, а скорее олимпийца: власть постоянно осыпала его критическими стрелами, а он продолжал творить и печататься, демонстрируя тем самым, что он пребывает за пределами их досягаемости.

Это был представитель культурного Запада в Советском Союзе, бесстрашно предложивший распространить принцип мирного сосуществования на сферу культуры. И, вместе с тем, последний дореволюционный интеллигент, которого не сумело уничтожить серое советское чиновничество. Как-то забывалось, что главный советский плюралист и космополит, по его же гордому признанию, сам когда-то готовил революцию в качестве подпольщика. Правда, после положенных отсидок и высылки унесши ноги в канонический Париж, социал-демократический Павел внезапно преобразился в декадентского Савла со всеми положенными метаниями от религиозности и эстетства к тотальной мизантропии: «Я пью и пью, в моем стакане Уж не абсент, а мутный гной».

Однако с первыми же известиями о «бархатной» весенней революции Илья-лохматый, как его называл сам Ленин, устремился в Россию, уже в первые ее окаянные дни принявшись слагать православно-имперские «Молитвы о России» — хоть сейчас в пропаганду КПРФ:

С севера, с юга народы кричали:
«Рвите ее! Она мертва!»
И тащили лохмотья с смердящего трупа.
Кто? Украинцы, татары, латгальцы.
Кто еще? Это под снегом ухает,
Вырывая свой клоч, мордва.

Но уже в 21-м Эренбург (с советским паспортом в кармане) снова оказался за границей и в течение одного летнего месяца написал свой первый и лучший роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Эренбург наконец-то нащупал главный свой талант — талант скепсиса, талант глумления над лицемерием и тупостью всех национальных и политических лагерей. Да и над собой тоже: герой-рассказчик по имени Илья Эренбург — «автор посредственных стихов, исписавшийся журналист, трус, отступник, мелкий ханжа, пакостник с идейными задумчивыми глазами». При этом, если из двух слов «да» и «нет» потребуется оставить только одно, дело еврея держаться за «нет». С этим лозунгом Эренбург мог бы сделаться советским Свифтом, но эпоха требовала не издеваться, а воспевать себя, к чему Эренбург был наименее приспособлен природой своего отнюдь не бытописательского дарования. Он, если угодно, был певец обобщений, что настроено воспрещалось в эру идеологически выдержанного неопереводимости.

В 1922 году в книжке «А все-таки она вертится!» (Москва—Берлин) Эренбург в

совершенно футуристическом и едва ли даже не фашистском духе воспел «конструкцию», волю и душевное здоровье, граничащее с кретинизмом. Но — человеческую душу невозможно насытить никакой фабричной продукцией, тут же явственно давал понять «Романтизм наших дней». Особенно душу еврейскую («Ложка дегтя»): «Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины — религиозные, социальные, философские... этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов».

Все двадцатые Эренбург, подобно Вечному жиду, пропутешествовал по Европе, издавая сразу на многих языках книги превосходных очерков о королях автомобилей, спичек и грез (Голливуд), неизменно скептической интонацией давая понять, что пекутся все они о суете, — не прилагая этот скептический кодекс к тоже не вполне одетым королям Страны Советов: в стране восходящего солнца Беломорканала тревогу и брезгливость у него вызывает отнюдь не террор и подавление всех свобод, а все больше «мелкособственническая накипь», поданная в манере крепкой очеркистики. Культура же изображается расслабляющим наркотиком (а большевики — схематичными, хотя и честными болванами).

Эренбург и в тридцатые беспрерывно колесил по Европе, но пафос его очерковой публицистики и публицистической прозы становился все проще: фашизм наступал, и Эренбург становился все менее и менее требовательным к его противникам. Как всякий эстет, сформировавшийся в благополучное время, он долгое время ощущал своим главным врагом пошляка и ханжу, но когда на историческую сцену вышли свободные от лицемерия убийцы, при слове «культура» не только хватаящиеся за пистолет, но и стреляющие без всяких раздумий, Эренбург понял, что время капризов и парадоксов миновало, и принял за верой и правдой служить наименьшему злу.

А после Двадцать второго июня превратился в ветхозаветного пророка: «Мы поняли: немцы не люди». «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», — призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике «для себя» говорил не об отдельном немце — о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтобы ты ползла на куче пепла...

«Если дорог тебе твой дом» — таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село — Русский Брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают «мыслящий тростник», гений Пушкина, Шекспира, Гете, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот космополитизм, возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал «сомнительного» Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещающий пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга. Он получал тысячи писем от фронтовиков и скрупулезнейшим образом отвечал на каждое: в те годы Эренбург был гением советского просвещенного патриотизма.

После войны — «борьба за мир», загранпоездки, выступления, статьи, неизменно «отмеченные высокой культурой» и даже во многом справедливые, если забыть, что разоружаться предлагалось лишь одной стороне. В 47-м Сталинская премия за толстенный и скучнейший соцреалистический роман «Буря», в 52-м — год расстрела Еврейского антифашистского комитета — международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Высочайший авторитет в еврейских кругах, Эренбург был против любых еврейских объединений, хоть сколько-нибудь напоминающих гетто, но когда после «дела врачей» в 1953 году над русским еврейством нависла опасность какого-то качествен-

но нового витка гонений, он сумел приостановить руку «красного фараона», — которую тут же перехватила сама смерть. Сигналом к атаке должна была послужить публикация в «Правде» некоего письма, подписанного всеми знатыми советскими евреями: советская власть-де дала евреям все, а они платят за это черной неблагодарностью, сохраняя приверженность буржуазному национализму...

Однако Эренбург в роковую минуту догадался сделать гроссмейстерский ход — мгновенно настучал письмо Верховному Режиссеру, сумевши найти безупречные идеологически, но при этом и убедительные прагматически дипломатические формулы, которых ему и посейчас не могут простить ни сионисты за отрицание самого существования еврейской нации, ни благородные интеллигенты из самопровозглашенного министерства праведности за приятие языка советской пропаганды. Еврейской нации нет, писал Эренбург, а коллективное письмо, авторы которого объединены только происхождением, может навести отсталые элементы на мысль, будто она есть. И этим письмом наверняка воспользуются клеветники за границей, чтобы опорочить движение за мир...

Дело было сделано: тысячи судеб были спасены.

«Люди, годы, жизнь» без преувеличения составили эпоху в нашем постижении Двадцатого века (в отличие от серенькой «Оттепели», которая «только» дала эпохе имя). С точки зрения властей там все было не так — не та жизнь, не те люди... Сплошные модернисты: Модильяни, Шагал, Матисс, Мейерхольд, — Эренбург первым ввел эти имена в широкий культурный оборот и в тот исторический миг казался равным этим тузам. Но — падение советского социального небосвода породило и новые претензии к книге: теперь ее начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно: Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое действительно обошел. И что еще хуже — кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе: планомерное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовой ошибке, когда артиллерия бьет по своим. Это у Сталина-то были свои!

С точки зрения министерства праведности еще менее красиво выглядит многолетняя служба Эренбурга в качестве представителя Страны Советов в интеллектуальных западных кругах, — Эренбурга стали подавать как классического конформиста. Эренбург и впрямь сделал очень много для улучшения образа СС в глазах Запада. Но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую мечту — мечту сделаться европейцами, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира. И Эренбург до самой своей смерти был одним из таких владык.

Сегодня мы катаемся в Париж как в Киев, мирное сосуществование советской культуры с культурой Запада закончилось почти полной маргинализацией всего советского, модернисты и даже постмодернисты чувствуют себя в Москве как дома — интересно, признал бы Эренбург, что мечты его сбылись?

И сохранилось ли хоть что-то от его художественного творчества, когда его социальная миссия оказалась исполненной? Боюсь, ничего. Даже эпатажирующий цинизм его лучшего романа сегодня кажется пресным и наивным. В мире царят глупость и лицемерие — да кому же неизвестен этот трюизм?

(Продолжение следует)

Цавэт танем

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Как могли три изверга, даже с целой оравой
головорезов, уничтожить миллионы людей?..

Люди не любят считать себя обманутыми.
Они не виноваты. Они — тоже жертвы... Люди в
лагере — словно бы представители одного народа...

После мученической смерти моих Арамянов
я имею право думать об убийцах что угодно...»

Зорий Балаян. Без права на смерть

Свое право думать так, как он считает нужным, Зорий Балаян доказал многолетней работой в журналистике и литературе, в газетах Камчатки и Арцаха, в московской «Литературке», доказал своими читавшимися по всей стране книгами, из которых я назову некоторые из тех, на какие он, оглядываясь на свой путь, ссылается сам. «Между адом и раем», «Сердце не камень», «Бездна», «Очаг», «Противостояние». Уже названия говорят о характере повествователя: о крае бездны, до которого доходит в жизни странник, о том, чего ему стоит возвращение к очагу, о том, какая каменная заплата нужна сердцу при таком противостоянии.

Характер — цельный и сильный. Такова и репутация писателя, образ его в памяти людей, чуть не полвека читающих его тексты.

И все-таки в итоговой, долго и мучительно писавшейся книге «Без права на смерть» этот образ входит в такие мучительные ситуации, где силовые линии бытия скрещиваются намертво, и возникает неожиданное для такого сильного человека пронзительное, пронизывающее душу ощущение несводимости концов...

Я начну с физической формы рассказчика, потому что так мне легче подступиться к более сложным материям.

Перед нами человек со стальными мускулами. Гиревик. Штангист. Мастер спорта.

И он же — в расцвете сил падает с разрывающимся сердцем, так что врачам приходится вытаскивать его с того света.

Так что тут реальность: стальная выносливость или нежная ранимость?

А я раскрою контекст, в котором сцепляются сила и слабость.

Контекст силы: Чемпион Нагорно-Карабахской области по двухпудовым гилям, чемпион по штанге среди курсантов военно-морских учебных заведений, чемпион Балтийского флота по тяжелой атлетике. Автор рекордов Андижанской области Узбекистана в жиме, рывке, толчке и в сумме троеборья (335 кг), «о чем из печати знал весь Андижан». А мы узнаем из его книги.

Наивный читатель может заподозрить тут элементарное честолюбие. Но тут другое — неотступное желание вписать свои достижения в общественное бытие,

¹ Армянское присловье: Боль твою возьму на себя.

найти свое место в социуме, хоть гирей, хоть штангой внести в этот мир личный вклад.

Контекст слабости. После того как землетрясение 1988 года обрушило Спитак, американцы приняли на лечение покалеченных армянских детей; в их отправке за рубеж участвовал и Балаян. Через три месяца он встречал этих детей в аэропорту уже подлеченными: дети шли на костылях и с палками, но были на своих ногах — и они улыбались! Бросившись обнимать и целовать их, он почувствовал ком в горле... пожар в груди... «Нельзя же умереть от счастья», — успел подумать...

Умереть не дали американские хирурги: успели положить на операционный стол.

И сила, и слабость берут начало в общественной ситуации. Они сталкиваются, высекая искры. Наверное, это особенность сознания, которое не то что натывается на взлетающие и падающие, жалящие и потрясающие ситуации «на миру», — а прямо-таки ищет такие ситуации, то и дело рискуя попасть в капкан неразрешимости.

Это — лейтмотив судьбы.

Интересно, знали ли депутаты того судьбоносного съезда Верховного Совета СССР, в работе которого принял участие и Зорий Балаян, — что в памяти людей их работа намертво свяжется с распадом страны? Их ли действия повели к распаду, или повело что-то еще, следствием чего был сам распад, — это вопрос, так сказать, запредельный. Но в пределах интеллекта тех людей, которые пробились тогда в депутаты, — они ведь «мозг нации»! — было хотя бы предчувствие? Предвидеть то, к чему ведут их действия, они могли? Или это опять все тот же фатальный узел сцепившихся тенденций, из которого неспособны вырваться умы, увлекаемые ходом событий... бегом событий... скачкой событий... кувырком событий?

«Я абсолютно уверен: ни Сахаров, ни Солженицын... не хотели распада СССР... И не уверен, что большинство населения великой державы... желало развала великой державы...»

Кто ответит за то, что получилось?

За ответом надо обращаться то ли в небеса, вряд ли доступные крику, то ли во времена, едва доступные памяти?

«Мы после XX съезда КПСС наивно полагали, что достаточно, подобно пророку Моисею, сорок лет водить народ по пустыням переходного периода, чтобы все, как один, выжали из себя раба, как воду из губки».

Сорок лет еще не прошло с той памятной сессии Верховного Совета?

А если на сорок лет сдвинуться назад, в эпоху нашего отрочества, и попробовать определиться насчет воды и губки?

«Как-то раз наш директор Амазасп Вартанович освободил меня от последнего урока и отправил домой, ничего не объясняя. Позже я узнал, что после уроков наш класс принимали в пионеры, и из газеты «Советакан Карабах» пришел фотограф, который снимал детей, завязывающих пионерские галстуки. На следующее утро меня у дверей встретил старший пионервожатый и потащил в кабинет директора. В присутствии Амазаспа Вартановича старший пионервожатый завязал мне галстук».

Это что? Театр абсурда? Этим детей, завязывая галстуки, в «рабство» определяют, так ведь? Тогда почему юного Зорика избавляют от этой фатальной процедуры?

«Уже после того как Амазаспа Вартановича арестовали и сослали в Алтайский край, наша легендарная учительница математики Софья Амбарцумовна рассказывала мне, что некоторое время детей врагов народа не принимали в пионеры и в комсомол в торжественной обстановке. Этот перегиб, как говорили, длился недолго».

А если все-таки попытаться разогнуть этот перегиб к логике? Есть хоть какое-то объяснение абсурда, который откладывается в душе пионера: в торжественной обстановке («явной») принять нельзя, а в неторжественной («тайной») можно?

Есть у меня объяснение. *Явно* нельзя, потому что родители — «враги народа». А *тайно* можно. И даже нужно. Потому что люди этого *хотят*.

Так где истина? Детей врагов народа надо изолировать? Или не надо? Они — враги? Этот абсурд что-нибудь реальное означает?

Означает. Пока война и в стране военное положение, лучше эту систему жути не трогать. Не страгивать. Чтобы не рванула. И все понимают, что это — только пока война. Но вот война кончается. А сдвинуться с жути еще страшно. Все уже хотят, но еще боятся. То есть все нормальные люди в окружении десятилетнего Зорика хотят, чтобы он стал пионером. И он хочет. И его принимают. Тайком. Потому что по закону еще опасно. По закону военного времени. Которое отходит, но еще не отошло. Ибо отходит оно... вот именно: *по капле*.

Каким бредом должно запомниться это тайное вдавливание «рабства» в душу юного пионера! Или ему (как и всему нашему поколению) на роду написано выпутываться из узлов абсурда?

«И я, без отца, без матери, голодный, писал стихи о счастливом детстве в родном Степанакерте, по улицам которого, даже после Великой победы, конвоировали сотни людей, отправляя их в небытие...»

Отец сгинул в ГУЛАГе. Мать вслед за ним отсидела в лагере лучшие свои годы. Вернулась. Получила жилье, дождалась реабилитации своей и мужа (мужа — посмертно) и получила по месту его последней работы 3800 рублей («старыми деньгами») — за что же? За его «вынужденный прогул».

Вы слышите?! Это был «вынужденный прогул»! И деньги ей выплатили в том самом кабинете райисполкома, из которого мужа в 1937 году увели навсегда!

«Надо же придумать такое!»

И придумывать не надо. Надо только успевать оглядываться по сторонам, когда тебя ведут получать... то ли срок, то ли деньги за срок.

Не поискать ли в этой череде абсурдов чего-нибудь повкуснее? Можно.

Вот эпизод из студенческого периода, когда сын «врагов народа» учится в Рязани (туда перевели Третий Московский мединститут). Жизнь в студенческом общежитии веселая и беспечная. В том числе и потому, что из Андижана, где все еще остается сосланная туда мама, сыну идут от нее регулярные продовольственные посылки. Так что приятели-студенты интересуются, когда в очередной раз поступят от мамы узбекские дыни.

Приходит, кроме дынь, упаковка с яйцами. Дюжина десятков, или десяток дюжин. Что с ними делать? Хранить такое количество нигде. Решено изжарить яичницу и устроить пир «на всю Гагаринскую» (так называется улица, на которой располагается общежитие).

Изжарили. В ванночке, которую взгромоздили на конфорку. Для пира повыносили из комнат кровати. Сдвинули столы.

«Водки оказалось просто-таки невиданное количество».

Как и полагается, в ходе массового застолья никто никого не слушал. Всем было очень хорошо. *В крови бурлил адреналин*. По ходу бурления некоторые студенты оказались в милиции. Организатора пьянки Зория Балаяна вызвали в ректорат держать ответ.

Погодите. Про ответственность чуть позже. А пока — о самом пиршестве. Все ж надо учесть, что никакого продовольственного благополучия в стране нет, раны, нанесенные войной, еще сказываются, чума еще саднит в памяти — особенно при взгляде на магазинные полки.

И в это скудноватое время в «рязанской периферии» сын «врагов народа» устраивает такой пир! Если это не абсурд (а все это правда), то как такое объяснить?

Объяснение Зорий Балаян дает вполне здравое.

«Все это происходило на фоне постоянного недоедания, сменявшегося редким и опасным перееданием: то мясо пришлют из деревни, то...» и т.д.

Так что яичница из 120 яиц — вовсе не абсурд. Абсурд — другое. Разбирательство у ректора.

Нависает отчисление. Проштрафившийся студент к этому и готовится. Тем более что сын «врагов народа» именно от них, врагов, получил посылку.

И вот что тут выясняется.

Ректор не просто не дал хода этому обстоятельству биографии студента (мог бы из тайного сочувствия закрыть на это глаза), нет, ректор об этом ничего вообще не знал.

Не знал! Ни что отец — жертва культа личности, ни что мать много лет провела в лагерях.

Значит, сын «врагов народа», беспрепятственно окончив школу в родном Арцахе, благополучно поступил в столичный институт (мускулы помогли — мастеров спорта тогда особенно ценили), и получил высшее образование, и...

Так есть ли хоть какая-то логика в этой последовательности абсурдов? Репрессии — были? Или их выдумали сталинские (антисталинские) идеологи и пропагандисты? А если были, — можно все это в конце концов хоть как-то объяснить или так и оставить в мираже массового безумия?

Я подхожу к самой страшной точке в книге Зория Балаяна. К теме репрессий. К пронзительному повествованию о матери, почти до нового тысячелетия дожившей после «срока» и все силившейся понять, почему все произошло. К истории отца, могилу которого Зорий Балаян искал долго, и архивы гэбэшные пропахал, и землю коми-пермяцкую проутюжил, — и раскопал, и нашел, и восстановил... и описал теперь гибель отца — кровью сердца описал. И попытался объяснить.

Подступаясь к этой теме, я должен кое о чем предупредить читателя.

Уже полвека, начиная с «Одного дня» Солженицына и «Колымских рассказов» Шаламова, потрясших меня когда-то и врезавшихся в сознание на всю жизнь, по мере того, как копится в литературе летопись репрессий, — постепенно охватывает (меня во всяком случае) ощущение накатывающегося безумия, из которого душа ищет выхода и не находит. Сберегая душу от разрушительного отчаяния, мой жалкий разум воздвигает над этим ужасом хоть какое-то подобие покрова — в попытке объяснить происходящее. Чтобы оно не оставалось бесконечным невменяемым помешательством.

Простите, я пытаюсь найти в этом круговом остервенении хоть какие-то следы объяснимости. Иначе душа не выдержит.

Начну с первого из троих извергов, символизирующих у Балаяна подлость эпохи (эти трое: Ленин, Сталин и Берия).

И отнесусь к тому вопросу, который глубже всех других саднит в армянской душе, — к отчленению Арцаха. Именно Ленин, «вступив в преступный сговор с Ата-тюрком», обеспечил на территории исторической Армении (входившей в состав Российской империи) создание мусульманской социалистической республики Азербайджан. Для чего? Для экспорта революции на Восток. «Ленин потворствовал мусульманам...»

Отодвигаясь в прошлое на целый век, Зорий Балаян напоминает, что его предки совместно с русскими воинами проливали кровь в девятилетней войне (1804—1813 гг.), чтобы присоединить Карабах и всю Восточную Армению к России.

Все так! Россия эти земли завоевала, отняла у турок. Но и Турция их завоевала за четыре века до того, отняла у греков. Так что никакой законности, кроме звериного права силы, отсюда не извлечь. А вот «логика» драки — извлекается! И накрывает эта вечная драка — весь XX век. Звериным чутьем Ленин чувствует, что в одиночку России с Западом в этой свалке не справиться, весь ход Первой мировой войны это подтверждает, никакой марксизм тут нас не спасет, надо искать геополитических союзников, китайцы — далеки и малопредсказуемы, Ата-тюрк — близко и, кажется, предсказуем, к нему и оборачивается с объятиями вождь мирового пролетариата.

Можно сказать, что быстрая реакция у вождя работает, а вот с дальним геополитическим чутьем плоховато. Уповает он на союз русских с немцами (против «англичанки», которая, как известно, только и делает, что «гадит»), а получается все наоборот: в англо-германском противостоянии, расколовшем Европу, именно британский союзник окажется на нашей стороне, а Германия — дважды! — против нас, и Турция — дважды же — примкнет не к нам, а к немцам — против нас.

Не помог нам Ата-тюрк. По логике отчаяния в смертельной ситуации мы к нему кинулись. Сталин (второй изверг в списке Балаяна) эту ленинскую политику просто унаследовал. И с тем же обратным результатом. Пятясь от Запада, он искал опору на

Востоке. Чтобы армяне «не путались под ногами», готов был росчерком пера перевести Армянскую союзную республику «в лучшем случае в автономное образование в составе Грузии или Азербайджана». Без разницы, где там христиане и где мусульмане. Мусульмане просто оказались поближе все в том же смертельном противостоянии с Западом (почти сплошь христианским). Дико искать у Сталина, по первоначальному воспитанию — православного пастора, — изначальных симпатий к исламу, и никакого *потворства* там не было. А был все тот же расчет.

Оправдался ли он? Не подвело ли Сталина геополитическое чутье, при безусловном чувстве звериной опасности? Именно на мусульман сделал ставку Гитлер, и пришлось Сталину по ходу драки перестраиваться, давить возможное сопротивление, вырывая из северокавказских племен мусульманские ветви, так что до сей поры у сосланных и вернувшихся тлеет ненависть к тем, кто обрек их на изгнание.

За все, знаете ли, надо расплачиваться. В том числе и за отчаяние при гитлеровском нашествии, когда Россия искала спасения от гибели. Расплатились за наш страх — северокавказские мусульмане. С ними мы теперь расплачиваемся за горькие дела наших отцов. За изгнание, которое было и незаконно, и безжалостно, и неоправдано. Но не беспричинно.

Непосредственно изгнанием руководил Берия. Третьего изверга, по счету Балаяна, мы шлепнули без особого суда и следствия — пристрелили в каком-то застенном углу. А Ленина и Сталина оставили в спасителях страны. Теперь разбираемся, кто лучше, кто хуже.

Слепа логика смертельной драки. Тут каждый собирает черепки сам. И черепа. Это я про тех Арамянов, которых зверски убили в Сумгаите во время резни — через треть века после того, как пристрелили Берию, и через четверть века после того, как Сталина выкинули из Мавзолея. Вот когда Балаян сказал: «*Имею право думать об убийцах что угодно*».

Имеет право.

И не только Арцах кровотоцит в его судьбе и памяти. Сама зверская безжалостность извергов и головорезов, мечущихся в глобальной драке, вызывает у него гнев и отчаяние.

Можно подсчитать вслед за ним, сколько раз Ленин в записочках употребляет слово «расстрел». Можно взвесить, много ли уважения к русским в ленинских образных характеристиках: «русский человек — рохля, тютя». Можно спорить о фразе «у нас каша, а не диктатура»: все-таки у нас была диктатура, а не каша. Но что в каше могла (и должна была) погибнуть Россия — нечего спорить. Смертельно опасная варилась каша. И «тютя» в этой каше был обречен вместе с «рохлей». Так что «расстрелами» Ленин бросался направо и налево из вполне реального убеждения, что в безумии гражданской войны найдется у него достаточно много охочих до того исполнителей-расстрельщиков и что расстреливать готовы все, сообразить бы только кого, — вопрос только в том, кто окажется безжалостней и как эта каша доварится.

И Ленин-то еще попал, как выяснилось, в «передышку». А в настоящую драку пришлось влезать Сталину. Чудесный грузин в нее и влез. Изверг унаследовал извергу. И тут жестокость дошла в народе до почти самоубийственной черты.

Террор сталинских лет свирепствует прежде всего в верхних эшелонах системы. Партия уничтожает единомышленников? Да это как сказать. О единомыслии кричат все: и палачи, и жертвы. Особенно в моменты, когда они меняются ролями. И все постоянно думают — о заговорах и предательствах. Даже на самом верху. А не даром. Новейшие архивные исследования показывают, что готовность сменить генсека, он же Верховный главнокомандующий, доходила в некоторые моменты до 70 процентов в составе тех самых высших чинов госбезопасности, рвением которых осуществлялся террор. Разумеется, поймать с поличным кого-то из этих головорезов не представлялось возможным — у них работало-таки чутье. Но чутье и главному головорезу диктовало постоянные чистки на всех уровнях, включая высшие. По чутью на кровь он был чемпион.

А если бы его все-таки схарчили хоть в 1927, хоть в 1937 годах? Кого бы стерпели на его месте? Троцкого? Тухачевского? Так был бы тот же самый террор, хотя и с другой очередью расстрельных списков. Но с той же сверхзадачей: выстроить все

так, чтобы смерти тут, от «своих», боялись больше, чем там, от чужих, «за Вислой сонной». Чтобы штрафбат казался справедливым приговором. И чтобы готовность к штрафбату пронизала народ сверху донизу.

Донизу — ибо внизу его настоящая почва. Разумеется, когда Совнарком (или ГУЛАГ) разверстывает свои потребности и разнарядки на аресты спускаются до областей и ниже, чтобы обеспечить лагерные стройки притоком рабсилы, то система кажется апофеозом подлости и лжи. Но когда снизу поднимаются встречные планы арестов, «перевыполняющие» верхнюю разнарядку, — это уже апофеоз правды, более страшной, чем любая ложь (про коммунизм, капиталистическое окружение, ленинское наследие и проч.) Тут-то и работает пронизавшее всю толщу народа чувство обреченности на мобилизацию и готовности к жертве и к гибели, из которых выпрыгнуть можно только перенося законы ГУЛАГа на все уровни — от барака до Кремля. Иначе в XX веке не воевали. Только всем народом. Без разделения на вооруженные силы и мирное население. Мирного населения больше не было.

Поэтому самый главный изверг, которого боялись все, сам боялся больше всех. До самой смерти боялся: ждал удара от охраны, заговора от соратников, бунта от населения. Этим страхом объясняется и то, что в 1947 году он терзался страхами 1927-го и 1937-го, — а чего ему еще ждать, если отсидевшие выйдут на свободу?..

«По большому счету сам Сталин был жертвой».

Опробовав «большой счет» таких умозаключений, надо набраться решимости и... *назвать убийцу убийцей?*

Или так: назвав убийцу убийцей, набраться решимости и задать себе все тот же проклятый вопрос: а как все это оказалось возможно?

Что — «все это»?

Всеобщее остервенение, толкнувшее в самоубийственную драку великие народы, самые культурные нации земного мира. Ведь не только в гитлеровской и сталинской системах царил поголовная готовность к насилию — война-то была мировая. Да такая, что на весь век осталось ощущение, что мира вообще не бывает и не будет...

«Войны нет... и мира нет тоже... И правды по-настоящему нет».

Уйдут ветераны, их внуки и правнуки постепенно забудут доводы сторон. Выветрятся причины, истлеют доказательства той или этой «правды». Что останется? Что осталось от Троянской войны? Прелести Елены Прекрасной? А от двух мировых войн? Что оставит человечеству в качестве «правды» этот наш проклятый век? Ощущение неизбежной вселенской беды? Когда забудутся конкретные причины, что останется? Смутное ощущение провала истории в какой-то необъяснимый ужас. Для нового слепого Гомера.

«История — это не все», — цитирует Балаян Альбера Камю (который цитирует древних историков).

А что — все? Что делает историю такой какова она есть? Вы хоть что-нибудь вспомните? Что толкало к вражде троянцев с ахейцами? Спартанцев с афинянами? Греков с персами? Земли было мало? Да кто и вспомнил бы, какой кому земли не хватало, если бы Гомер не увековечил кровавые тяжбы в их слепой картинности? А история происходит — на земле. Чингизу для пастбищ травы не хватает. Гитлеру без Волги жизненного пространства не хватает. Человечеству — чего не хватает, когда обнаруживается в его природе маловменяемое зверское начало? Так, может, и отвесть животному инстинкту главное место в цепочке причин, окровавивших проклятый век? А чего ждать в будущем? Того же самого? А кому жаловаться, если жаловаться надо на себя самих? К небесам вознести молитвы и ждать ответа о причинах вечной вселенской беды?

Не будет с небес ответа. Потому что от разума, а не от души это отчаяние.

«Тот, кто желает видеть живого Бога, пусть ищет его не на пустом небосводе собственного разума, а в человеческой любви».

О любви тоскует «поколение несмышленишей», к каковому относит себя Зорий Балаян. Поколение обманутых и обреченных, каковым он его видит. Поколение свихнувшихся на вере в разум, поверивших во всемирное улучшение человечества, добавил бы я. Ибо я имею честь принадлежать к этому же поколению «последних идеали-

стов», — это наш разум был отштампован верой в коммунизм, это наша душа разорвалась от крушения химеры разума.

История с ее кровью — конечно же «не все». Но и все, что обнаруживается в подпочве истории, тоже не все. И подпочва — не все. И вообще «все» — это не все.

Так затягивается чертова бездна туманом самогипноза, напускаемого разумом на непостижимое бытие-небытие.

А потом какая-нибудь деталь бьет в тебя из этого тумана, молнией прожигает в момент казни... и палач оживает в памяти именно как палач, и жертва еще раз умирает как жертва, и корчится душа, оставленная разумом наедине с вопросом:

— А все-таки — почему?

Почему хватают и тащат энкавэдэшники тридцатитрехлетнего коммунистического выдвигенца Гайка Балаяна, наркома просвещения Нагорно-Карабахской Республики, и *черным вороном* отправляют в небытие? Это ж не рядовой наробразовец и не малозаметный советской работник (перед арестом его перекинули руководить райисполкомом, но, кажется, именно затем, что с той должности проще было забрать). Но все-таки: за что? Ни оппонентом режима он не являлся, ни рядовым обывателем, это именно тот молодой строитель нового общества, каковыми оно и держится. А сам он, внук священника, сменивший веру в Бога на марксистское безбожие, он-то понимал, что строит? В партию вступил — не вслепую же! И в Москву, в Коммунистический университет народов Востока имени товарища Сталина поехал не вслепую, а был выдвинут и отобран, потому что искренне принял советские идеалы. И окончил университет с блеском, и потому стал наркомом (министром, — уточняет Зорий Балаян для нынешних непосвященных).

Так он осознанно строил то государство, которое его угробило? Он понимал, что строит? Или этот вопрос только повторяет ту абсурдизацию бытия на всех уровнях, которая охватывает людей в проклятые эпохи?

Жена его, на пятнадцать лет моложе, юная выпускница сельской школы, имела куда больше прав «не понимать». Боготворила мужа — за интеллект, за энергию, за убежденность. Ей, может, еще горше было — оставаться женой «врага народа», с двумя младенцами на руках, одному чуть более года, другому чуть более двух... и этот-то, старший, всю жизнь положил, чтобы понять произошедшее и найти могилу отца.

Нашел?

Нет. Не нашел. Хотя исколесил Сибирь и Север, отыскивая след отца в мерзлых концах ГУЛАГа. Не нашел могилы. Однако судьбу «врага народа» проследил. До последнего смертного часа. И знаете, как кончил дни его отец? Нет, не в шахтном отвале, засыпанный породой, не в лесоповальной чаще, прибитый стволом, не при разводе, где за шаг в сторону стреляют без предупреждения, и не в расстрельном подвале по приговору торопливой «тройки».

Умер Гайк Балаян в лагерной больнице под ножом хирурга, который пытался спасти ему жизнь.

Это что? Смесь помраченной законности и противозаконного просветления? Или очередной абсурд: система пытается спасти того, кого она же обрекла на гибель? Это вообще можно ли свести к какой-нибудь логике, кроме логики слепой живодерни? И как быть, если, выйдя из нее живым, пытаешься понять, почему все это возможно?

Кто кому должен это объяснить? Мать — сыну? Сын — матери?

Мать, десять лет отрубив в лагерях и ссылке, — доживает не только до XX съезда партии, снявшего с нее клеймо, не только до XXII съезда, вынесшего Сталина из мавзолея, — она доживает до времени, когда саму Советскую власть выносят из страны ногами вперед (между прочим, усилиями все того же Верховного Совета). Что мать ответит сыну, когда тот никак не решит: то ли допытываться у матери ответов на проклятые вопросы, то ли замкнуть уста, чтобы не добивать вопросами ее душу?

Мать размыкает уста и роняет два слова... как до нее — поколения исстрадавшихся армянских женщин:

— ЦАВЭТ ТАНем.

Summary

SUKHBAT AFLATUNI. The Year of the Sheep.

Four strangers-passengers and the driver of a second-hand foreign car are stuck in the barchans on their way from Bukhara to Urgench. Night is going down and no help is being expected from nowhere. To calm down and while away the time the fellow-travellers begin telling to each other stories of their lives and bit by bit it becomes clear that what becomes clear the reader will know from the writing the genre of which the author has defined as «makams» which are medieval Arab picaresque stories telling of the tricks of talented and educated swindlers.

OLGA TRIFONOVA. Tarnished Biography.

In this long short story love, arts, politics, history and geography are tied in such a tight knot that only life itself is capable to tie up.

In the Search of New Values. Materials of a «round table».

Culture is ruling the world but nobody or nearly nobody realizes it. The meaning of Culture for modern societies is underestimated by authorities and peoples, it is not apprehended by societies all over the world, in all countries irrespective of their standards of life. This is the subject of discussion at the «round table» «Where the Russian culture is moving to?»

ALEXANDER MELIKHOV. The Drifting Idols.

Thus the well-known prosaist and essayist from St-Petersburg A. Melikhov named the protagonists of his «portrays», the famous writers Zostchenko, Platonov, Erenburg, Bulgakov, Solgenitzin, Tvardovskij So different in their ideologies and esthetics, why have they become the ruling influences for their contemporaries?

«Literary First Decade»: Residence and Post.

The leading today's literary critics and specialists in the study of literature gathered around one round table are discussing the main tendencies, events, books and names of the first decade of the new age.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhiba/>

Сдано в набор 19.11.10. Подписано в печать 20.12.10. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 4633. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>